

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

- [М.А.Астуриас](#)
-

М.А.Астуриас

МАЙСОВЫЕ ЛЮДИ

ГАСПАР ИЛОМ

I

- По твоей вине, Гаспар Илом, я, земля Илома. не смыкаю глаз.

- По твоей вине, Гаспар Илом, мне, земле Илома. рубят топорами веки...

- По твоей вине. Гаспар Илом, у меня, земли Илома, опаляют

кустарник ресниц пламенем,
выбелившим луну, как старого
муравья...

Гаспар Илом качал головой. Он не принимал наветов земли, на которой спала его тень, его циновка, его жена, спал и сам он, словно в земле, где покоятся его предки, и не мог вырвать из брюха, оторвать от тела змею о шестистах тысячах колец, свивавшую глину, луну, леса, горы, ручьи, птиц и грохот грома.

- Земля осыпается со звезд и открывает глаза там, где были лесистые горы, а нынче безлесые холмы, в которых птицы поют, словно плачут лощины, рыщет муравей, летает ястреб, стонет

голубка и спит на циновке, рядом с женой и тенью, тот, кто должен бы в ключья раздирать веки рубящим деревья, палить ресницы обнажающим гору, морозом сковывать тело осушающим реки, что бегут во сне и ничего не видят, пока не остановятся в запрудах и не увидят все сразу своим глубоким взором...

Гаспар потянулся, сжался, покачал головой, отгоняя наветы земли, скованной сном и смертью и змеей, шестьсот тысяч раз обвивавшей его лесами, глиной, луной, птицами, ручьями и грохотом грома.

И услышал воронками ушей:

- Желтые кролики в небе,
желтые кролики в чаще, желтые
кролики в водах помогут тебе,
Гаспар. Ты пойдешь в битву, Илом,
влекомый кровью, рекою и своей
тенью, свившейся в слепой узел...

Слово земли, горящей светлым,
как солнце, пламенем, чуть не
сожгло уши желтым кроликам неба,
желтым кроликам чащи, желтым
кроликам речки; но Гаспар
становился землею, падающей
оттуда, откуда ей положено падать,
погружался в сон на жаркой земле
Илома. в светлое, как солнце, пламя.
Желтые кролики, насмехаясь над
ним, приникли к сосцам деревьев,
обратившись в плоды папайи,

прикипели к небу, обратившись в звезды, и ушастыми отблесками света рассыпались в реке.

Гаспар стал голой землей, бессонной землей, усеянной сном, как зернами маиса, и падал оттуда, откуда ей положено падать. Он стал землей, омытой реками воды, а вода эта пахнет дурно, потому что долго не спала и окрасилась зеленью лесов, принесенных в жертву ради маиса, из которого созданы люди. Пришли иные люди с пламенем и топорами, чтобы уничтожить тенистые, древние сейбы. двести тысяч юных, тысячетлетних сейб.

На пастбище - мул, на муле - человек, в человеке - мертвец. Глаза

его - его глаза, руки его - его руки, голос - его голос, ноги - ноги, и все это ему пригодится, когда он пойдет в битву, освободившись от змеи о шестистах тысячах колец, свитых из луны, глины, лесов, тор, ручьев, озер, птиц и грохота грома. Но как же освободиться, как оторваться от поля, от жены, от дома, от очага, от веселых соседей? А не оторвешься - не пойдешь в битву, держа в руке пучок цветущей фасоли, обвив шею теплыми фестонами плодов чайоте.

Воздух Илома благоухал свежесрубленным деревом, благоухал пеплом деревьев, сожженных, чтоб сеять маис.

Водоворот глины, луны, лесов,

гор, ручьев, озер, птиц и грохота грома кружился, кружился, кружился вокруг иломского касика. И пока ветер кидался на лицо его и тело, пока кидалась на него земля, взметенная ветром, беззубый месяц проглотил его с воздухом, словно рыбку.

Земля Илома благоухала свежесрубленным деревом, пеплом дерева, сожженного, чтобы сеять маис.

Желтые кролики в небе, желтые кролики в чаще, желтые кролики в водах.

Он не открыл глаз. Он их и не закрывал. Они комьями лезли из-под век. Удары дальнего лая мучали его.

Он не смел шевельнуться, плотннуть
слюну, тронуть голое тело - он
боялся, что оно остыло и в нем,
остывшем, змея прожгла слюной
глубокие ямы.

Ночь была светла, и капли
желтого света шелестели в
тростниковых стенах. Жена
свернулась на циновке лицом вниз и
мерно дышала, словно она и во сне
раздувала огонь.

Гаспар, изъеденный до дыр
змеиной слюной, сполз рывком с
циновки и направился к тыкве с
водкой. Он полз совсем тихо, только
скрипели суставы, изъеденные
лунной болью. Во мраке,
испещренном, словно пончо,

полосами света, сочившегося сквозь стены, желтело его лицо. Он сел как божок, припал к тыкве, как к груди, и пил большими глотками, как изголодавшийся младенец.

Он выпил всю водку, и лица его коснулся желтый кролик. Солнце, палящее в тростниках, обожгло его изнутри. Оно обожгло голову, и ему показалось, что на ней не волосы, а пепел; обожгло губы, чтобы он не говорил во сне; обожгло язык - он стал тряпкой, и зубы - они стали острыми, как мачете.

Гаспар ткнулся руками в клейкую от холода землю, вцепился пальцами в твердую, глухую глубину, и ногти вонзились в нее, словно пули.

Как зверек ищет падаль, он искал тут, рядом, вокруг свое отделившееся от головы тело. Он чувствовал, что полная водки голова висит, словно тыква, на кольшке ограды.

Но лицо ему не опалило, волосы были целы. Не водка сразила его и обезглавила, а воинское зелье. Он пил, чтобы его обожгло, сразило, обезглавило - в битву идут без страха, без шкуры, без головы, без тела.

Так помышлял Гаспар. Так говорил он голове, оторванной от тела, горячей, носатой, обернутой в седые тряпки лунного света. Пока он говорил, он состарился. Голова его упала на землю, как черепок, усеянный мыслями. Старый Гаспар

говорил о деревьях. Он думал, он вспоминал о лесе, а не о своих волосах. Мысли ползли у него из ушей, а он слышал, как по нему, по его голове ступает стадо. Облака на копытах. Сотни и тысячи копыт. Добыча желтых кроликов.

Жена его, Вшивая Краса, задвигалась под его телом, под мокрым и горячим майсовым початком. Ток его крови уносил ее туда, где нет их обоих, где он - не он, она - не она, а племя, род, река вожделенья. Он сжал ее сильнее. Она забилась, застонала. Сон ее лился на циновку, как и полотнище волос, пробитое, словно гребнем, Гаспаровыми зубами. Невидящие

глаза налились черной кровью. Она сжалась, как слепая курица, и пригоршня семян рассыпалась в ее утробе. Пахло мужчиной и дыханием.

Наутро Гаспар сказал:

- Вот что, Вшивая Краса, скоро начнется драка. Я очищу землю Илома от тех, кто рубит деревья, выжигает лес и осушает реки, которые бегут во сне и ничего не видят, пока не остановятся в запрудах. Разделаюсь со всеми, кто растит маис на продажу. Из-за них больше нет тени, ибо земля, падая со звезд, звенит, ударяясь о голую землю. Разделаюсь, или сам жив не буду. Собери старых тряпок перевязывать раны и приготовь

лепешек, вяленины, соли, перцу - всего, что берут в поход.

Гаспар поскреб муравейник бороды пальцами, которые еще остались на правой руке, взял ружье, пошел к реке и убил из-за кустов первого же торговца. Звали его Ихиньо. На другой день, в другом месте, он подстрелил второго. Того звали Доминго. Потом он прикончил еще Ихиньо, еще Доминго, Клето, Баутисту, Чалио и очистил от злых торговцев лес.

Лианы злы, а торговцы - злее. Лиана сосет и сушит дерево много лет, торговец рубит его, расчищая землю, и сжигает много деревьев за несколько часов. Деревья - одно

другого лучше, целебные, ценные, а он их навалит кучей и сожжет. Он с ними воюет, убивает их, как людей. От них остаются дым, угли, зола. И ведь не с голоду он, не из корысти, не для себя - для хозяина, который поделится с ним, а то и не поделится. Земля от маиса беднее, никто не станет от него богаче - ни хозяин, ни работник. Растишь маис для еды, он - священная пища человеку, созданному из маиса. Растишь маис на продажу, он - голод созданному из него человеку. Красный початок, священная пища, из которой созданы и женщина с ребенком, и мужчина с женщиной, не будет расти там, где по злой воле вырублен лес. Земля

остается голой, а торговец уйдет, унося семена, и сам, как выцветшее семя, усохнет в плодородных землях, где только бы и сеять себе на потребу, а не бродить никчемным бродягой, который от бед и неудачи теряет вкус ко всему - к тростникам на жарких равнинах, где воздух тяжело давит банановые рощи, к деревцам какао, беззвучно сыплющим на землю благоуханные бобы, не говоря уже о прекрасных, sprysnutых кровью землях, на которых растет кофе, и о светлых пшеничных полях.

Воды молочных небес и маслянистых рек смешались в первом зимнем ливне, который падал

без толку на голую землю, целый год не рождавшую маиса. Жалко было глядеть, как сыплются с неба дары в жаждущую, жаркую пасть покинутых полей. Ни зернышка, ни борозды, ни одного торговца. Чистыми, словно дождь, глазами всматривались индейцы в их домики. Домов было сорок. Утром мало кто решался пройти по мощеной улице - боялись, что подстрелят. Гаспар и его люди различали человека, а если ветер дул в их сторону - слышали, как на площади, на большой сейбе, кричат и дерутся черные птицы.

Гаспара не победишь, сказали старики. Его охраняют кролики - длинные уши, а для желтых кроликов

нету ни тайн, ни угроз, ни расстояний. Кожа у него - кора мамея, кровь - золото, он и плясун, и воин. Когда он смеется, зубы его - пемза, когда он скрежещет ими и кусает, они - камень. Он силен и честен, враги его - трусы. Только желтый кролик узнает след его зубов на плоде и след его ног на дороге. Так сказали старики. Когда идет Гаспар, слышно, как идут другие. Когда он говорит, слышно, что говорят другие. Гаспар идет за всех, кто шел, идет и будет ходить. Гаспар говорит за всех, кто говорил, говорит и будет говорить. Так сказали старики деревни злым торговцам. Буря била в барабан под кровлей

сизых голубок, под простынями туч.

Через два дня на третий узловатое слово стариков оповестило деревню, что скоро прибудет карательный отряд. Поле, поросшее желтыми цветами, взывало об опасности к тому, кого охраняли кролики, у которых уши подобны листьям майса.

Когда ворвались в деревню всадники, в котором часу? Торговцам казалось со страху, что это сон. Они застыли, окаменели, как стены. Кони черными змеями мелькали перед ними, и смутно виднелись лица, темные, как горелый пряник. Дождь уж не лил, но ум мутился от запаха мокрой земли и вони вонючек.

Гаспар сменил место засады. В глубокой синеве иломской ночи шныряли от звезды к звезде кролики, гонцы опасности, и вся гора пахла желтым опахалом. Гаспар сменил место засады, зарядил ружье семенами тьмы, семенами смертной тьмы - порохом, укрепил у пояса мачете и оглядел свои богатства: тыкву с водкой, кисет, перец, соль, лепешки, два лавровых листка, чтобы приклеить слюной к ушам, скляночку миндального масла и баночку львиной мази. Велика его сила, он и плясун, и воин. Сила его - цветы. Пляска его - тучи.

Вверху была галерея сельской управы. Внизу виднелась площадь,

вздувшаяся от ливня. Во влажном пару ее дыханья дремали оседланные кони, подпруги их и уздечки свободно болтались. С тех пор как в деревню пришел отряд, здесь пахло мокрым конем.

Начальник конного отряда ходил по галерее. Во рту он держал сигару, китель его был расстегнут, шея повязана белым шарфом, на ногах красовались галифе, краги и походные ботинки.

В деревне, кроме отряда, почти никого не было. Тех, кто не убежал, поубивали индейцы, спускавшиеся с гор Илома под началом мятежного предателя-касика, а кто остался жив - сидели по домам и улицу

переползали осторожно, как ящерицы.

Когда объявили, что прочитают приказ, все вышли на улицу. Приказ раздавался по всей деревне. «Полковник Гонсало Годой, начальник отряда, сообщает, что по указанию властей он, со всеми полномочиями, прибыл в деревню Писигуилито во главе ста пятидесяти всадников, вооруженных винтовками, и сотни пехотинцев, вооруженных мачете, которые готовы уничтожить засевших в горах индейцев...»

Тень темных туч. Отблески солнца. Зеленая гора. Желтые, как смоква, небо, дома, воздух. Человек,

читающий приказ, народ на каждом углу, как будто все ют же, караул с барабаном и юрном - казались не людьми, овощами, съедобными растениями.

После приказа местные власти явились к полковнику Годою. Они пришли на переговоры. Дон Чало, не вынимая сигары, сидел развалясь в гамаке, подвешенном к столбам галереи, и смотрел светлыми круглыми глазами куда угодно, кроме гостей, пока один из них, потоптавшись, не шагнул вперед и не начал речь.

Полковник посмотрел на нею сверху вниз. Как выяснилось, госги решили устроить в его честь

серенаду с маримбами и тарой.

- А программа, сеньор полковник, будет такая, - говорил представитель властей, - «Жженая горчица» - первая часть первой части, «Черное пиво» - вторая, «Умерла малютка» - третья.

- А вторая част? - сухо оборвал ею полковник Годой.

- Второй не будет, - вмешался, выступая вперед, самый старый из гостей. - Тут у нас в Писшуилиго только это и играют, и все я сочинил. «Малютка» - последняя, я ее сочинил на похороны доньи Крисантиной дочки, а больше у нас ничего и нет.

- Что ж, приятель, сейчас бы вам надо сочинить ганец «А я вот заново

родился». Не приди мы сегодня, индейцы спустились бы наутро с гор и от вас ото всех мокрого бы места не осталось. Раз - и нету!

Сочини гель песен глядел на полковника Годоя (лицо у старика было как древесная кора, хохолок надо лбом словно обсосок манго, а глаза еле виднелись в щелочках век), и все молчали, чувствуя, как крадутя индейцы, под началом Гаснара Илома, не потерявшего склонности тянуть чужое, и скот, и водку, и псов, и даже одеколон из аптеки, которым они вытирались, чтобы перебить пот.

Индейский воин пахнет зверем, который его охраняет, а одеколоны, притирания, мази, соки перебивают

этот запах, чтобы враг не учуял и не напал на след.

Если воин пахнет кабаном, он, чтобы сбить врага со следа, умастит себя фиалковым корнем. Гелиогроповая вода отбивает запах оленя, и ею оботрутся те, кто потеки оленьим потом. Тем, кого охраняют холодные ночные птицы, подойдет настой туберозы, а настой простого жасмина нужен тем, кого охраняют змеи, - такой воин почти не потеет в битве. Розовое дерево поможет пахнувшим сенсотлем. Ночная красавица спасает охраняемых колибри, а райский жасмин - подопечных шустрого кинкажу. Тому, кто потеет по-ягуарьи, поможет

дикий ирис; тому, кто пахнет попугаем, - стебель руты, а другим попугаем, большим, - запах табака. Тапира скроет лист смоковницы, птицу - розмарин, рака - цветок апельсина.

Гаспар, желтый цветок в колебание времени, и его индейцы - каменные пятки, каменное сердце - крались в тишине, разделившей сочинителя песен и полковника Годоя.

- Вы уж мне поверьте, - сказал наконец полковник, - всех вырезают, все берут, ничего не забудут. Тоже мне деревня - негде лошадь подковать!

Люди полковника Годоя,

дремавшие на корточках, рядом с лошадьми, вдруг очнулись на минутку от испуга. Какой-то пес, весь в парше, влетел на площадь, как шутиха, и заметался, вывалив язык, выпучив глаза, истекая слюной.

Люди задремали. Они сидели на пятках целый день напролет и сейчас впали снова в свой бессонный сон. Если пес ищет воду, решили они, он не бешеный. А пес катался по земле, кидался к домам, терся черной измазанной спиной о стены, о ствол сейбы и о старый, облезлый столб.

- Что это с ним? - спросил из гамака полковник, который в каждой деревне попадал в эту сеть, чтобы поваляться после обеда.

- Беда какая-то, - ответил адъютант, глядя на пса и не меняя позы. Он стоял скрестив ноги у одного из столбов, около гамака, где лежал полковник. Подумав немного, он добавил: - Наверно, жабу проглотил, вот его и разбирает.

- Иди проверь, может, он бешеный.

- Где тут проверить?

- и аптеке, идиот, где же еще?

Адъютант надел сандалии, побежал в аптеку.

А пес все бегал и катался. Лай его будил гривастых коней и спящих на корточках пришельцев. Вдруг он остановился и принялся рыть землю, словно закопал когда-то свой след, а

теперь его отыскивал. Он тряс головой, будто хотел оторвать ее, но хотел он выхаркать то, что засело у него в глотке. Из пасти, не задевая зубов и языка, хлынула слюна, пена и еще что-то белое Пес залаял, очищая морду, и побежал искать целебную травку. Он внюхивался, петляя, в тени, в деревья, в камни, снова искал и блевал, изрыгая жгучую известь. Потом бежал, как вода под ветром, и наконец встал на месте, выпучив глаза, вывалив язык и зажав хлыстик хвоста между слабыми, дрожащими лапами. Больше идти он не мог - он двинулся было, пошатнулся, словно стреноженный, его занесло вбок, он упал на спину, лапами кверху, и

забился, не желая умирать.

- Отбегал свое... - сказал один из тех, кто сидел на корточках. Пришельцы были внушительны с виду. У того, кто говорил, лицо было изжелта-белое, и рубец от мачете перерезал ему бровь.

Пес лязгал зубами - они стучали, как трещотка, - и жизнь цеплялась за клетку ребер, за шкуру, паршу, кишки, срамные части, задний проход. Верьте и не верьте, а жизнь крепче всего держится за тощее тело, когда сознание гасит та боль без боли, которая подобна тьме и зовется смертью. Так думал другой из дремавших, не выдержал и сказал:

- Еле движется, а никак жизнь

из него не уйдет. Да, создал нас господь такими вот, смертными... Что, как бы дал нам вечно жить? Подумать страшно!

- Я и говорю, хуже нет, чем получить пулю, - подхватил первый, со шрамом.

- Да я не о том. Пуля не самое страшное. Вот если б нас оставили жить навечно, повертелись бы мы...

- Уж хуже некуда!

Адъютант вернулся на галерею. Полковник лежал в гамаке, как рыба в сети, выпучив глаза и распушив усы.

- Аптекарь говорит, сеньор полковник, пес чего-то поел, оттого и помер.

- А чего именно, ты не спросил?
- Чего-то такого...
- Ну ладно, а что там было?
- Битое стекло и яд.
- Какой яд?
- Сейчас сбегаю узнаю.

«Пойду-ка я сам», - решил полковник и слез с гамака. Глаза его были голубыми, как битое стекло, и думал он о том, чем отравить мятежного касика.

- А ты, - приказал он адъютанту, - иди разыщи этих, с песнями, чтобы вечером приходили петь.

Вечернее небо пожелтело. Гора прорезала тучи, которые сожжет буря, словно голый маисовый початок. Всеми своими колючками

плакали кактусы. Птицы стонали в оврагах. Неужто и желтые кролики попадут в западню? Неужто цветок, светлый, как дневная звезда, не пересилит Гаспарова запаха, не скроет следа его зубов на плоде, следа его ног на дороге, которую знают только желтые кролики?

Пес перебирал всеми лапами, не поднимая головы, маялся в смертной тоске, мочился, падал. Брюхо у него раздуло, шерсть на спине встала дыбом, член напрягся, словно он учуял суку, морда покрылась белой пеной. Где-то вдалеке начинался ливень. Пес закрыл глаза и вытянулся на земле.

Полковник опрокинул ногой

тростниковый треножник, стоявший перед самой управой, на котором в ознаменование серенады жгли сосновые ветки в глиняном горшке. Тот, кто разжигал огонь, тоже пошатнулся от удара, и адъютант, вышедший на галерею с керосиновой лампой, получил свою долю. Местные власти удивились. Раздались крики: «Гасите огонь!», «Сыпьте землю!» И, словно корни, потянулись к полковнику руки, чтобы заверить его в полном послушании его воле. Ближе всех был Томас Мачохон. Он стал между полковником, высшей военной властью, и Вакой Мануэлей - высшей из всех властей, своей женой.

Мачохон и полковник удалились, тихо беседуя. Сеньор Томас, по сути дела, был из подданных Илома... Он был индеец, но его жена, Вака Мануэла Мачохон, переделала его на испанский лад. Женщины-испанки, истые змеи, отбивают ум у мужчин. Пока не подвесишь их за ноги, они не изблюют клейкую, лживую слюну покорных жен, которые всегда добьются своего. Так и донья Вака переманила мужа к злым торговцам.

Лил дождь. Горы под вечерним дождем пахли погасшими угольями. Струи звенели по крышке сельской управы, словно плакали все торговцы, убитые индейцами, и швыряли с неба пригоршни маиса -

потоки ливня, не заглушавшие гулких звуков маримбы.

Полковник позвал погромче сочинителя песен.

- Вот что, приятель, эту вашу песню про пиво назовите-ка лучше «Целебное средство». А мы под нее спляшем с доньей Мануэлей.

- Если велите, мы название изменим. Танцуйте, мы вам «Целебное средство» сыграем сей же час.

Донья Вака и Годой плясали в темноте, в такт маримбе, как призраки, встающие из рек дождливыми ночами. Полковник сунул в руку своей даме скляночку с целебным средством, чтобы, как он

сказал, индеец покрылся паршой.

II

Солнце облысело. В землях касика Илома, встречая лето, смазывали сотовым медом ветви деревьев, чтобы слаще были плоды, украшали цветами бессмертника головы женщин, чтобы женщины больше рожали, и вешали на дверь мертвых барсуков, чтобы умножилась мужская сила.

Светляки-колдуны, рождаясь там, где большие кремни ударялись друг о друга, усыпали семенем искр ночной воздух, заменяя зимние

звезды, освещающие путь. Светляки-колдуны и кремневые искры. Светляки-колдуны, обитающие в палатках из шкуры девственной лани.

Потом загорелись очаги, с которыми можно потолковать о зное, иссушающем землю, когда он вольется в нее всей своей желтой силой, о клещах, истощающих скот, саранче, закрывающей влажное небо, и о руслах без воды, где глина, ссыхаясь год от года, становится похожей на стариковское лицо.

У очагов сгущался мрак темным навесом из птиц с черной грудью и синими крыльями - тех самых, которых воины приносят в жертву на Месте Изобилия, - и сидели на

собственных пятках люди в патронташах. Они молчали и думали о том, что воевать летом индейцу труднее, чем всаднику, но придет зима, и они свое возьмут; и кормили огонь колючими ветками, ибо в огне у воинов, в пламени битвы, плачут и колючки.

Сидя у очагов, мужчины чистили ногти на ногах лезвием мачете, и кончик его, залезая под затвердевший, как скала, ноготь, вгрызался в многодневную грязь. А женщины, смеясь, считали родинки и звезды.

Больше всего родинок насчитала мать Мартина Илома, новорожденного касикова сына. У

нее было много родинок и много вшей. Вшивая Краса, жена Гаспара, мать Мартина.

В ее подоле, горячем, как форма для пирога, завернутый в тонкие от старости тряпки спал мальчик, похожий на новую глиняную игрушку. Чепец из неплотной ткани прикрывал ему лицо, чтобы кто не сглазил, а дышал он шумно, как вода, струящаяся в рыхлую землю.

Матери с детьми и мужчины с женщинами. Свет и тепло очагов. Женщины подальше, на свету, и поближе, в тени. Мужчины поближе к свету и подальше, в тени. Все - в бурной пляске огня, в боевом пламени, от которого заплачут и

колючки.

Так говорили старики, мерно качая головой под роем светящихся ос. Они говорили, качая головой: «Прежде чем сплели первую веревку, женщина заплела косы», «Прежде чем свились женщина с мужчиной, женщина заплела косу на затылке, Авилан-таро [Так называют индейцы Педро Альварадо (1486 - 1541), завоевателя Гватемалы.] вырвал золотые серьги из ушей у важных господ. От боли господа взвыли, а тому, кто вырвал серьги, дали драгоценные камни». «Жестокые были люди. Мужчине - одна жена, такой у них был закон. Дикие люди, хуже зверя, хуже змей. Зверь лучше

человека, который не хочет дать семени, если женщина ему не жена, и хранит, не дает свое горячее семя».

Мальчишки, похожие лицом на нераскрашенную тыкву, играли среди стариков, среди женщин, мужчин, очагов, светляков, воинов, стряпух, запуская тыквенные ложки в горшки с похлебкой, свининой, куриным супом, чтобы наполнить фаянсовые миски, которые непрестанно протягивали гости, и всякий раз знали, кому положить свинины, кому налить супу, кому похлебки. Те, кто стоял при блюдах с перцем, поливали перечной кровью миски рыжего варева, в котором плавали половинки колючек,

неочищенных, плодов гуискиля, жирное мясо, плоды пакая, разваренная картошка, завитые раковиной древесные тыквы, стручки бобов, корень чайоте, все на славу приперченное, подсолненное, сдобренное томатом и чесноком. Сбрызгивали красным перцем и мисочки риса, и суп из курицы - из семи, из девяти белых кур. А женщины, колченогие от сидения на корточках, снимали с раскаленных жаровен маисовые лепешки с мясом, завернутые в лист банана, скрепленный веткой, и отгибали этот лист в двух или трех местах. Другие, разносившие лепешки, потели, словно на солнце - так пышет жаром

от теста и от ярко-красной начинки, из-за которой трудно есть лепешку, пока не оближешь пальцы - потому что едят ее руками - и не сдружишься с соседом. Гости чувствуют себя просто, без зазрения совести откусывают от чужой лепешки или просят еще. Простодушные индейцы Илома просили шнырявших мимо женщин, пытаюсь при этом их пощупать, хотя те и шлепали их по руке: «Дай-ка мне лепешечку!» Лепешки были на любой вкус: огромные, красные - с перцем, черные - с индюшатиной; сладкие - с миндалем; украшенные пучками белых маисовых листьев, розовыми цветочками, петушьими гребешками,

колючими веточками, свистульками, цветами тыквы; лепешки с анисом и с бобами, нежными, как молодой початок. «Дай-ка лепешечку, красotka!» Женщины и для себя пекли лепешки на разведенном молоке, разукрашивая их и посыпая чем-то пахучим. Стряпухи отирали лоб тыльной стороной ладони, а другой рукой сморкались, потому что от дыма у них свербило в носу. Те, кто стоял при жарком, обоняли дивный запах нежирного оленьего мяса с горьким апельсином, солью и солнцем. В огне олень словно оживает, шевелится. Были и другие угощения: жареная тыква, юкка с сыром, плоды рабо под соусом,

сладкие как мед. Вариво из помидоров, перца и тыквы. Чилате - напиток из маиса, перца и какао, такой вкусный, что, выпив его, люди запрокидывали тыкву, и казалось, что они в маске. Подносили и атол - маисовый напиток, кисловатый и красноватый. И пахнувший молодым маисом атол с творожной сывороткой, и атол из дробленых зерен. Политые кипящим маслом простые лепешки и жаренные целиком бананы, которые ели женщины, трещащие, как сороки, над рисом в молоке, посыпанным корицей, над сладкими сливами и плодами койоля в меду.

Вака Мануэла Мачохон встала с

кучки тряпья, на которой сидела. С тех пор как вместе с мужем, сеньором Томасом, она поселилась в деревне, она носила много юбок. Сейчас она пришла в горы, к Гаспару на праздник, и встала, чтобы поблагодарить за приглашение Вшивую Красу, державшую в подоле касикова сына. Вака Мануэла Мачохон слегка согнула колено и сказала, склонив голову:

- Я укрою тебя под мышкой, потому что ты кротка, как голубь. Я посажу тебя к себе на лоб, где гнездятся ласточки мыслей, и не убьют тебя на белой циновке ногтя, если поймаю в темной чаще волос, потому что я ела твоё угощение и

слышала твое слово, ласковое, как вода и тень, как лучистая звезда, как древо жизни, чей сок ал, словно кровь.

По тыквам разлили сладкий напиток, благоухающий маисом и какао, и такой горячий, что сосуд нельзя взять рукой. В чашки налили розовой воды, в чашечки - кофе, в рюмочки - чичу, в тыковки - водку, и рты могли в свою волю поговорить и пожевать.

Вака Мануэла Мачохон не повторила льстивых слов. Словно камень с горы, Вшивая Краса ринулась во тьму, схватив ребенка.

- Она убежала с твоим сыном, - крикнула Гаспару донья Вака. Касик

Илома мирно ел, а вокруг него плясали искры, которые живут в шатрах из шкуры девственной лани и пища их - мясо зверька тепескуинтле.

Тот, кто видел во тьме лучше дикой кошки, тот, чьи глаза сверкали желтым, встал, прерывая светляков, звеневших, как молоточек по серебру.

- С вашего разрешения, - сказал он сеньору Томасу и Ваке Мануэле, которые пришли на праздник с вестью из Писигуилито.

Одним прыжком он настиг Вшивую Красу. Она увидела, что он мелькнул среди деревьев и, как ее сердце под платьем, рухнул вниз, упал перед ней на черную медовую дорогу. Пальцы его торчали

смертоносными стрелами. Сквозь веки, кое-как сметанные ресницами (в щелку эту вылетали бабочки - ведь он не умер, и гусеницы слез обращались в бабочек), он видел жену. Он говорил с ней, овладевал ею, как овладевает зуб плодом питайи. Он был зубом, она - десной, сладостной, словно плод.

Вшивая Краса приняла было тыкву, которую он держал в руке. Светлячки-колдуны и воины уже настигли его. Но тыквы она не взяла, пальцы ее застыли в воздухе - она увидела, что он выпил страшной водки, тяжкого зелья, где отражаются два белых корня, и кинулась от него, как вода со скалы.

Все замерли от страха. Лица мужчин и женщин дрожали, словно листья срубленных деревьев. Гаспар поднял ружье, приладил к плечу, прицелился - и не выстрелил. На спине у жены был горб. Его сын свернулся гусеницей у нее за спиной.

Когда Вака Мануэла подошла со льстивой речью ко Вшивой Красе, та вспомнила, что видела сон и проснулась в слезах, - и заплакала, потому что теперь это был не сон. Она видела, что белые корни, отражаясь в мутной воде, тянутся вниз, из зеленой земли в черную, из мира, освещенного солнцем, в подземный мир. Там, во мраке, сидел на пиру человек. Гостей она в лицо

не видела, только слышала звон шпор, треск бичей, свистенье плевков. Человек на подземном пиру держал тыкву с ярко-желтым напитком, в котором отражались два белых корня. Он их не заметил, выпил, побелел, взмахнул руками, упал и забился. Утроба его разрывалась, изо рта хлестала пена, язык посинел, глаза остекленели, и ногти на желтых, как луна, пальцах стали черными.

Вшивая Краса бежала со всех ног, неслась вперед, топча тропки, ломая стебли, срубая стволы дорог, прорезавших злую ночь, которая поглощала далекие отблески праздничных костров и голоса

гостей.

К утру Гаспар Илом выпил целую реку, чтобы утишить жажду. Яд палил утробу, но касик промыл кишки, промыл кровь, осилил смерть, стащил ее через голову, как старую рубаху, и пустил по реке. Он блевал, плевал, плакал, плывя среди камней, высовывая из воды залитое слезами лицо. Как мерзостна смерть, его смерть! Холодно, сводит живот, сводит ноги, руки, шею, а из глаз, из ноздрей, со щек текут пот и слезы.

Утром Гаспар Илом - живой, высокий, пожелтевший, как глина, - вернулся домой. Волосы его блестели, словно черный лак, зубы белели, словно мякоть кокоса, рубаха

прилипла к телу, а початки грязной воды, ила и листьев падали на землю. Он победил яд, победил смерть, но всадники застигли врасплох и перебили всех его людей.

На голубом и светлом утреннем небе сонно сияла луна-беглянка, а на ней примостился желтый кролик, отец всех кроликов, живущих на мертвой луне. Желтели горы, смолистые потоки бежали в долину, и слабо сверкала утренняя звезда.

Торговцы снова вступили в леса Илома. Одни ударяли в деревья железными лезвиями, другие разжигали огонь, чтобы выжечь землю и посеять зерна карликов, что упорно борются тысячелетиями,

стремясь освободить пленника белых колибри, которого человек держит в камне и в зрачке маисового зерна. Но пленник может вырваться из земной утробы в свет и зной поля и битвы. Темница его непрочна, а если огонь на воле, какой смельчак посмеет с ним бороться, когда от него бегут все, кто не знает страха?

Гаспар понял, что погиб, и бросился в реку. Он знал, что вода, оживившая его и спасшая от яда, умертвив, спасет и теперь от вражеских пуль. Стало тихо, только москиты жужжали в тишине.

МАЧОХОН

Мачохон простился с отцом, которого труд и старость вконец извели за эти годы, и мачехой, которая давно сменила ему мать и звалась Вакой Мануэлей.

- Прощай, - неласково сказал сеньор Томас, не вставая с кожаной скамейки и не оборачиваясь к двери. - Будь поосторожней. - Но, услышав, что сын удаляется, позвякивая шпорами, съежился, словно тепло покинуло его тело, и смахнул когтистыми пальцами слезы.

Вака Мануэла обняла любимого пасынка и приемного сына, перекрестила, благословила и велела

быть добрым мужем - ни сладким, ни горьким, ни мягким, ни жестким.

И сказала, стоя в дверях:

Ты объездил три сотни с лишним коней - справишься и с женою. Надень на нее узду из ангельских волос, пришпоривай ее, Да не слишком, и попону накинь потолще, чтобы не убилась. Не натягивай повод и не отпускай - жестокость женщину озлобит, а баловство испортит.

- Будь по-вашему, сеньора, - отвечал Мачохон, надевая шляпу, большую, как площадь в Писигуилито.

Друзья и односельчане, темные лицом, как лепешка, ждали его,

чтобы проститься. Они не понимали, зачем сеньор Томас, который и сам побродил по свету, отпускает единственного сына в дальний край. Кто постарше, недовольно переговаривались, не входя в дом, а кто помоложе, смеялись вместе с Мачохоном и махали ему шляпами.

Мачохон ехал свататься. В жены он себе выбрал дочку доньи Чебы из семьи Рейноса, что жила неподалеку от Сабанеты, по той дороге, по которой ездят на сретенскую ярмарку. Водка и сыр лежали в его переметной суме. В шляпу он положил узелок с пахучими травами на случай, если он заночует у невесты, и шляпа благоухала - где бы

он ее ни оставил, запах будет стоять восемь дней.

Друзья проводили его верхом до поливной земли Хуана Росендо.

- Уехал, - крикнул один из соседей, когда за пылью трудно было разглядеть и свиту, и скачущих коней, и лающих собак, и самого наследника Мачохонов.

Сеньор Томас курил до ночи, чтобы унять тоску. После смерти Гаспара Илома колдуны-светляки прилетели на гору глухих и плакали там пять суток напролет, а язык у них был проколот шипами. Наутро шестого дня они молчали, кровь во рту запеклась, а на седьмой провозвестили беду.

Расставшись с сыном, старый Мачохон слышал слова, одно за другим, их проклятья и холодел от страха:

«Мы, свет племени, свет рода, свет потомства, говорим тем, кто дает человеку яд белого корня. Птица беды будет лететь по левую руку от них, и семя их умрет в утробе их женщин, и на потомство их упадут искры. Мы говорим вам: свет племени, свет рода, свет потомства - поколений и поколений - угаснет для тех, кто дает яд белого корня. Так говорим мы, желтые головы, кремневые верхушки, обитающие в легких шатрах из шкуры девственной лани, бьющие в барабан бурь,

спасающие из зерна огненный глаз колибри. Мы говорим вам, ибо вы убили того, кто заарканил пламя, плакавшее по лесам Илома, изловил его своим словом, привязал к ограде, чтобы оно не губило деревьев на потребу корыстным торговцам».

Сигара обожгла пальцы сеньору Томасу, и старческий кашель развеял серую гусеницу пепла. Из других домов доносились хриплые голоса, они что-то пели, на ощупь переходя из лада в лад. Видно. Вака Мануэля угощала народ в честь Мачохона.

Сеньор вздохнул. Жена его крепка, красива, покладиста и чиста, а детей не рожает, словно самка мула. Проклятие сбывается. Птица

беды всегда летит от него слева, жена бесплодна, остается одно: чтобы искорка светляков упала на его сына. Соседи пели то так, то под гитару. Жаль, он с ними не потолковал, хотя и толковал порою. Жаль, не сказал, что над родом Мачохон тяготеет проклятье. Жаль, не послал вдогонку - вернуть домой сына.

Сеньор Томас пошел к двери - зад у него обвис от старости, - завернул за дом, чтобы никто не видел, оседлал коня и двинулся в путь.

Певец все пел свою песню, а другие прихлопывали в такт. Пел он с чувством, вникая в слова. Кто ж это такой поет?

Злое время
даже розу иссушает
Исцеляет
погибающих ручей
Ты как роза
что всегда благоухает.
Погибаю,
исцели меня скорей!
Стонет птица,
день и ночь она страдает.
Добрый ангел
прилетает с неба к ней.
Ты как ангел,
что несчастных утешает.
Я страдаю,
прилети ко мне скорей!

- Куда это вы на ночь глядя,
сеньор Томас? - крикнул Хуан

Росендо.

Сеньор Томас придержал коня и рассказал о своих тревогах, едва различая, с кем говорит.

- За сыном еду. Видели, он проезжал? Или за новой женой, чтобы еще мне родила...

Сосед подошел поближе, выступил из темноты.

- Что за женой ездить, сеньор Томас! Сойдите с коня, их и тут много.

Оба посмеялись. Потом Хуан Росендо сказал старику:

- Дон Мачо еще с утра тут проехал, со мной и не попрощался. Потом уж я узнал, что он едет свататься к дочке Чебы Рейносы. На

что вам дети, сеньор Томас, - внуками утешитесь.

Томас Мачохон нахмурился. В носу у него похолодело, он чуть не заплакал. У сына детей не будет. В куски изрубили колдунов-светляков на горе глухих, но куски их тел, клочки окровавленной одежды, совиные лица, проколотые языки твердили, твердили, твердили все проклятье целиком. Его в куски не изрубишь.

- Не убивайтесь вы попусту, сеньор Томас, сходите с коня и поешьте тут с нами. Утро вечера мудренее.

В доме пахло самым лучшим медом, который только собрали на

Этих землях, нежно звучали женские голоса, жилет у сеньора Томаса был толстый, золотая цепочка и часы весили немало, к ботинкам он не привык, ужин подали на белых блюдах, еды было много, все с редькой и зеленью, кувшины наполнились свежей водой, под столом сидела собака-попрошайка, ползали дети, шло тепло от ног, и как-то понемногу сеньор Томас забыл о горе глухих, о птице беды и о сыне. Мачохон не мальчик, а страхи - стариковская блажь.

По дороге, ведущей на сретенскую ярмарку, шло и ехало теперь меньше народу. Кресты, украшенные
выцветшими

бумажными цветами, имена, написанные сосновым углем на придорожных камнях, пепел угасших костров под смоковницами, колья, к которым привязывали коней, сухие маисовые листья - вот и все, что осталось от паломников, проходивших тут каждый год с белыми свечами в сопровождении цветущих кустов исоте.

Гордость и краса Мачохонов тоже проехал по этой дороге в канун Сретенья, когда в реку паломников, идущих издалека, вливаются ручейками местные жители, выходящие с проселочных дорог. Звенели песнопения, сверкали шутихи. Люди пели, дети кричали,

собаки лаяли, нищие тянули свое. Шляпы у паломников были украшены маленькими желтыми плодами, в руке они держали посох, а за спиной у них, в мешках из грубой ткани, лежали одеяла, еда и свечи.

И он со своей невестой, названной в честь Девы Марии на Сретенье, шел вместе с ними. Она была босая, он обут; она была бела, он - темнолиц; у нее на щеках были ямочки, его усы свисали по сторонам рта; от нее пахло свежей водой, от него - козлом и водкой; она грызла веточку розмарина, он курил, щурясь от счастья, ничего не слыша и не ощущая, потому что он шел с ней.

Крик. Толкотня. Цветы и свечи.

Четки из конфет, словно патронташи на груди у подростков. Разноцветные сахарные фигурки в коробах с угощением. Сладкие хлебцы с кунжутом.

Мачохон вспомнил, что ему приходилось снова и снова развязывать узелок, где хранились деньги, и покупать угощение и подарки для Марии Канделарии. А сейчас - от плеч всадника до копыт коня - сплошной сгусток тьмы двигался по равнине. Белые звезды на конских боках вздрагивали в такт рыси, а всадник глядел на звезды, небесные шпоры. Но то были не звезды, а светляки, колкие, как шпоры зеленого света, и крупные,

как цветы чореке.

Саранча налетела, подумал Мачохон и наклонил голову, чтобы закрыть лицо от светящихся насекомых. Светляки облепили ему шляпу, натянутую до ушей, словно сверху сыпался крылатый золотой град. Конь пыхтел, как мехи в кузне, пробиваясь сквозь гущу искр. Мачохон увидел слева птицу беды и перекрестился, не выпуская поводьев.

Птица беды закричала, и лесные голубки жалобно завторили ей. Все летучие твари кинулись куда-то, чтобы скрыться от смертоносных светляков, подобных туче саранчи. Вразнобой завывали койоты.

Поскакали в стороны зайцы, и лунные олени убежали в негустую тьму.

Мачохон попытался схватить рукой летающие искры. Они прибывали, нечем было отмахнуться, защитить лицо. У него уже болел затылок. Конь, седло, овчина, переметная сума, в которой он вез подарки, - все горело без пламени, запаха и дыма. Со шляпы за уши, на шею, за вышитый ворот рубахи, по рукавам, по волосатым запястьям, между пальцами, словно холодный пот, ползли светляки - первозданный свет, при котором видно все и все расплывчато.

Мачохон, весь смоченный

светом, почувствовал, что челюсть у него дрожит, как слабая подкова. Руки дрожали еще сильнее. Он выпрямился, чтобы видеть дорогу, лицо его открылось врагу, и белый огонь хлестнул его по глазам. Он пришпорил коня, как мог сильнее, и вдавился в седло, чтобы не упасть на землю...

Он не упал и остался навсегда фейерверком в небе. У самой земли из муравейников выползала ночь.

IV

Вака Мануэла, люди с земель Хуана Росендо, братья невесты,

алькальд Писигуилиго - все пришли вместе, чтоб не страшно было.

Сеньор Томас закрыл глаза, когда ему сказали, что сын исчез. Его словно опушило. Он молчал, но сердце истекало кровью.

Вака Мануэла, опухшая от слез, снова и снова прижимала платок к плоскому носу. Алькальд давил носком сапога какие-то песчинки на кирпичном полу. Кто-то вынул пригоршню сигар, и все закурили.

- Земля его проглотила, - сказал алькальд потише, чтобы не причинить сеньору Томасу лишней боли, и прибавил, выпуская сквозь ноздри благоухающий смоквой дым: - Где мы только не искали: все

обшарили, все лощины исползали, под камнями смотрели, под водопад подлезли, который за жнивьем, на белых камнях!

- Одно утешенье: мир поглядит, - вставил слово один из братьев невесты. - Я знал такого, он по миру бродил, почти что голый, весь оброс, и соль ел, как скотина, все просыпался. В чужой земле и сон не в сон, там не отдохнешь, не выспишься, как дома. А на родной земле, в которую ты и мертвым ляжешь, спать хорошо, спокойно, свободно, силы гак и прибывают.

- Вздор вы говорите - оборвал его сеньор Томас. - Околдовали сына моею, а нам теперь надо разыскать,

где его птицы клюют, и похоронить
ею тело.

- Сеньор полковник тоже так
думает, - сообщил алькальд,
домахивая, как а приличествует
власти посохом с черными кистями и
приосаниваясь при упоминании о
начальнике отряда. Чало Годое. - А
сам к нему курьера послал с вестью
о Мачохоне, он велел мне передать,
чтобы я был поосторожнее - нам еще
долго с индейцами воевать.

- Что правда, то правда... - веско
сказал сеньор Томас, но жена
перебила его, рыдая в платочек:

- Ой, господи милостивый,
пресвятой!...

- Что правда, то правда, только

не нам. Кончились Мачохоны. Не воевать им. Мой был последний, так и знайте, самый распоследний... - И голосом, обдиравшим нос изнутри, сморкаясь и рыдая, он добавил: - Кончилось наше семя, кончился род за то, что один из нас сделал злое дело.

Неподалеку, на галерее, крестник хозяина - мальчик с заячьей губой - обдирал молодые початки на разостланную шкуру, и зерна шуршали, словно крестный брил ему голову машинкой. Падающие зерна стучали по шкуре, хрюкали свиньи и шумели куры, которых он отгонял, обнажая зубы под раздвоенной губой:

- Пошел отсюда, боров... кыш, куры!

Вака Мануэла вышла, велела ему замолчать, и в доме стало тихо, будто все вымерли. Друзья, братья невесты и алькальд ушли, не прощаясь с сеньором Томасом, который глотал слезы, сидя в кожаном кресле спиной к дверям.

А у себя на галерейке, выходящей на дорогу, замерла невеста, держа в левой руке нож, в правой - колбасу. Всякий раз, как братья забивали свинью, она выставляла там на продажу мясо и всякие из него изделия. Сейчас остатки туши, истекая кровью, висели на веревке, натянутой от

столба к столбу. Колбасы лежали на тростниковом прилавке, куски жареной свинины - на листе воска, а сало - в жестяной банке.

Мальчик, которому Мария Канделария продавала колбасу, смотрел не нее, но она, застыв на месте, слушала женщину, стоявшую внизу, на дороге. Лицо у той было темное, волосы - сбитые, платье - засаленное, но зубы ослепительно сверкали.

- Да, красавица, - говорила женщина, - пошли они лес выжигать и, верь не верь, увидели в огне дона Мачохона. Весь в золоте едет: и шляпа, и плащ, и седло, копыта у коня и те золотые. Загляденье!

Говорят, они его узнали, потому что едет уж очень хорошо. Сама помнишь, какой он был на коне. Одно слово - мужчина. Ох, мать божья!... Позавчера ходила я к сеньоре Баке, а она меня и выгнала. Только тебе, говорит, померещится, что Мачохон будет там, где лес жгут. Так и сказала. От водки это все, говорит, бога побойся. Ну, это я не знаю, а ходила туда я сама и видела его, покойника, прямо в огне и в дыму. Шляпой помахал, попрощался и коня пришпорил. Весь как есть золотой. Все на пути сметал. А огонь - за ним как пес мохнатый, дымом-хвостом помахивает

- Близко это было? - спросила

Мария Канделария, не отрезая мальчику колбасы, и губы ее побелели, как лепестки исоте.

- Поначалу - далеко, а потом и тут, близко. Им, покойничкам, нет ни близка, ни далека Вот я к тебе и пришла, ты за него помолись, все ж, я думаю, не вконец его забыла.

Нож отрезал от колбасы жирный кус. Мария положила его на лист банана и дала мальчику, поджидавшему с монеткой в кулаке.

С тех пор как исчез Мачохон, лицо у его невесты было белое, как тонкая пыль на дороге, которую облаками поднимает ветер.

Она смотрела только глазами Мачохона - зачем же смотреть

теперь, когда его глаз нет? По воскресеньям она бродила одна по краю дороги, зажмурившись, но, заслышав вдалеке стук копыт, подымала веки. А вдруг это Мачохон? Вдруг люди правду говорят, что он отправился посмотреть свет, проскакать по всем дорогам?

- Благослови тебя господь, что мне это сказала, - ответила она женщине, получив монету от мальчика, который удалился со своей покупкой, поднимая пыль, в сопровождении собачки и вошел в свой дом, а другой голос произнес:

- Ave Maria! Свининки не продашь?

Женщина исчезла с дороги, и

нигде не было видно ни сбитых волос, ни засаленного платья, ни белых, как сало, зубов. Широкой ложкой Мария набрала полфунта зубов женщины-призрака, полфунта зубов в белом сале и немного шкварок. Она положила на плетеные весы самодельную гирю и сало на банановых листьях и, выбирая шкварки, рассказала покупательнице, своей знакомой, что Мачохон является там, где выжигают лес под маис, на коне и весь золотой - от шляпы до конских копыт. Говорят, одно загляденье, прямо апостол Иаков.

Покупательница лизнула шкварку, сжевала ее и, зная, что

влюбленным и сумасшедшим
перечить нельзя, кивнула, не
размыкая губ.

Спускался вечер, на склонах гор
пылало пламя. Небо оставалось
синим, и отсюда было видно, что
там, где выжигают лес, горит
светлый, как солнце, огонь. На
галерейке, над прилавком со
свининой, Мария Канделария
закрывает глаза. Как и каждый вечер,
дорога исчезала во тьме, но не
совсем. Белые дороги, скелет
умирающих под ногами дорог. Они
видны, ничто не берет их. Мясо их
истлело, по ним движутся
паломники, путники, стада, повозки,
торговцы, всадники, мулы, но никто

не погребет их, они еще нужны, чтобы по ним могли проходить неприкаянные души, бродящие по миру, добрые короли, короли карточные, святые, к которым мы взываем, пленники, стража и злые духи...

Мария Канделария закрыла глаза, и ей примерещилось, что с горы, где жгут деревья, спускается Мачохон на коне без поводьев. В переметной суме у него - сыр и водка, а шляпа такая, что возьмешь ее на колени, и восемь дней все тело пахнет.

Парни прорубали в горном лесу просеки такой ширины, чтобы можно было три раза распростереть руки. Просеки эти, как известно, задерживают пожар; гигантскими ремнями протянулись они с холма на холм, с поля на поле; по одну их сторону стояли деревья, обреченные огню, по другую - те, которым предназначалась роль свидетелей.

Сеньору Томасу Мачохону не сиделось дома. Его тянуло туда, где выжигали леса под маис. Земли он без лишних слов уступил торговцам, когда узнал, что сын является на выжигаемых участках, верхом, весь золотой, как луна: и шляпа, и плащ, и рубаха, и сапоги, и стремя. Шпоры

его сверкают, как звезды, а глаза - как солнце.

Облысевший, оборванный, сморщенный, с сигарой во рту или в руке, сеньор Томас шнырял, как двуутробка, вынюхивая, когда и где будут выжигать деревья, и приходил туда с теми, кто должен был следить за пламенем и тушить его ветками, если искры слишком далеко летели по воздуху и могли подпалить весь лес.

Ноги у него ослабели, под глазами были мешки. Как зверек, попавший в ловушку, глядел он на сверкающий, безумный огонь, гонимый ветром и льющийся золотой рекой меж кустов, сосен и сейб.

Огонь подобен льющейся воде, его не удержать. Пена - дым воды, дым - пена огня.

Дым обволакивал иногда сеньора Томаса, и никто не разглядел бы старого отца, который ищет в пламени сына. Он исчезал. словно сгорел сам, но появлялся в другом месте и пристально глядел в огонь. Лицо его потемнело вконец, ресницы и брови обгорели, и он потел по ночам и на рассвете, словно его коптили.

Утром он возвращался домой и пил из колоды, из которой пила скотина. В чистой воде отражались худое лицо, опухшие глаза, красные от огня и дыма, скулы, нос,

подбородок, уши и черная от золы рубаха.

Вака Мануэла всякий раз встречала его одним вопросом:

- Видел его, отец?

Сеньор Томас, потеряв пальцем зубы и сплюнув воду, которой ополоснул рот, качал головой.

- А другие видели?

- Я и сам их что ни утро спрашиваю. Видели, говорят. Один я не вижу. Вот наказание! Знал бы я, сам бы яд выпил. Все ты натворила. Гаспар мне другом был... Подумаешь, преступленье - свою, землю от торговцев проклятых защищать! Жаль, всех не перестрелял. Мы колдунов изрубили,

а что толку? Как они сказали, так и есть. Наш Заячья Губа и то сегодня видел. «Вон, - говорит, - глядите, это сеньор Мачо - он!» Скачет, мне показывает: «Вон, в золоте, весь золотой!» Я и пялюсь, и лицо сжег, и дыму наглотался, а вижу один огонь, деревья сотнями падают, дым белый стоит, свет какой-то, и все.

Старик валился в кресло, и вскоре голова его опускалась на грудь или откидывалась на спинку. Он спал, как спасшийся от пожара, весь в саже, и пахло от него паленой шерстью, а штаны и рубаха были все в дырках от искр, которые там, на горе, парни гасили ветками, землей или водой из тыквенных сосудов.

Всем полегчало, когда прошла пора выжигать землю и сеньор Томас принялся хозяйничать у себя: надо было подковать жеребят, сменить два-три столба, окрестить двух-трех детей и приглядеть за утренней звездой, чтобы живей всходила.

Дожди пошли, когда маис уже посеяли. Не шли они долго, и люди стали думать, что лес выжигали зря. Земля была новая, чистая, нетронутая, смотреть приятно, как мотыга в нее входит. Когда еще сеяли, все говорили, что маис вырастет быстро и уродится на славу. Если пока мы бедны, что же, всему свой срок. Жаль, сразу не стали поддакивать старому дураку. Никто

Мачохона не видел, но догадались сказать, что видели, а старик поверил и дал земли - деревья выжигать. Они по доброте ему кивали, а он и поймался - сам к ним пристал, чтобы посмотреть, как они жгут. Разрешил им жечь в полную волю там, где нога человечья не ступала, и ничего не жалел, не мерял, бумаг не выправлял - сейте, а там разберемся.

И они говорили, что Мачохон является в пламени и в дыму, весь золотой, мерцающий, светящийся и прекрасный, как святой в церкви. Глаза у него стеклянные, поля шляпы загнуты спереди, и он вздыхает, даже с кончиков шпор срываются вздохи, рыдания, чуть ли не слова.

Одного торговца, Тибурсио Мену, выгнали. Он упорно грозился сказать сеньору Томасу, что над ним смеются, что никто ничего не видит, кроме горящих, как факел, деревьев, кровавых головней и плюмажей дыма.

Пабло Пирир подошел к Тибурсио Мене с мачете в руке и сказал ему насмешливо и грозно:

- Иди отсюда, гад, проваливай, нечего тебе на этой земле делать.

Тибурсио Мена побледнел, вспотел, а вечером, собрав свои вещи, ушел и пропал. Лучше уйти, чем умереть. Пабло Пирир убил троих, а осторожность - не трусость.

Труднее всего было ждать дождя.

Тучи ползли над холмами, и темные, зеленые воды, что с ними ни делай, только дразнили землю, только грозились, а не падали. Устав глядеть на небо, люди глядели вниз, как псы, ищущие кость, стараясь угадать сквозь землю, не высохло ли семя. Уже начинали поговаривать о том, что это божья кара за обман, и думали даже, не пойти ли к сеньору Томасу. Ради дождя не грех сказать старику, что они его сына не видели, а лгали, чтобы ему не перечить и чтобы хорошие земли получить. Конечно, тогда он отберет половину урожая, но лучше потерять половину, чем все. Пока он горюет из-за нас, дождя не будет, а еще через день-

другой и дождь не поможет. Так говорили они, так толковали.

Дождь пошел, когда они спали, завернувшись в пончо, как мумии. Сперва им показалось, что это сон - ведь истосковавшись по дождю, они часто видели его во сне. Но глаза у них были открыты, уши слышали, как хлещут струи, гремит гром, и заснуть никто не мог, всем хотелось посмотреть на пропитанную водой землю. Псы, искавшие кость, вернулись к себе. Вернулась и вода, как пес возвращается ночью. И женщины были тут - они и во сне боялись молнии и грома.

Если у благодарности есть запах, она пахнет мокрой землей. Люди

ощущали набухшую тяжесть благодарности и поминутно повторяли про себя: «Слава тебе, господи!» Когда зерно посеяно, а дождя нет, мужчины становятся злыми, изводят женщин; и женщины радовались, слыша сквозь сон, как льются на землю струи. Грудь у них была темная, как земля под дождем, сосок - черный, мокрый от молока. Тяжелая грудь, богатая влагой, как мокрая земля. Да, земля - огромная грудь, к которой припали пеоны, жаждущие урожая. Молодые побеги и пахнут женским молоком, если их надкусить. Когда льет дождь, люди мудры. Когда его нет, они злятся друг на друга. А дождь лил на славу,

истинный дар небес. Такого не бывало прежде. Каждый соберет по шестьдесят фанег. На глаз - шестьдесят, а то и больше, уж никак не меньше. И бобов будет много, они хорошо в лесу родятся, а семена были хорошие, одно к одному. И тыквы на загляденье. Много уродится, хоть выбрасывай. А может, и еще один урожай удастся собрать. Когда так везет, грех не пользоваться. Ясно, что бог не в обиде за обман. Бедному положено обманывать богатого. Гневался бы бог, не лили бы дожди в эту зиму. Нарочно таких не допросишься. Раньше, когда дождя ждали, все думали - нажарить бы молодых початков; а вот они и

жарятся на тихом огне, на большом нельзя - сгорят. «Вкусно, друг, что твоя свинина», - говорит Пабло Пирир, который прогнал Тибурсио Мену, и нежные, поджаренные зерна хрустят у него на зубах.

Солнце и не выглядывало. Спасибо, удавалось хоть одежду подсушить. Но что с того? Дождь - это благо. Те, кто один раз в год смеется зубами початка, радовались воде.

- Что нового, Каточо?

- Да ничего... Сеньор Томас все дурит. Прикончили торговцев каких-то по пути в Писигуилито, в деревне Корраль де лос Транситос. Отряд отправился в Илом индейцев

стрелять. Говорят, у убийц у этих главные - братья Текун, а правда ли, не знаю.

- Цены на маис не узнавал?

- Пока невысоки. Может, поднимутся.

- Где сказали-то?

- Я много где ходил, спрашивал, есть у них маис и почем.

- Это ты ловко надумал. Голова. Главное, чтоб на нынешний год он в цене поднялся. Я уж подожду продавать, пока дороже не станет, и тебе советую: такой урожай - один раз в жизни. Может, и привалит еще когда-нибудь, да с хозяином делиться будем, таких, как наш сеньор Томас Мачохон, больше нету, богатые - они

разума не теряют...

- У Хуана Росендо праздник был.

- Давай Расскажи. Они там плясуны, праздники у них веселые.

- Ничего я не знаю. Видел, угощались, а бабы плясали под этот... грам-ма-фон, носили его туда-сюда.

- Ну и молодец!

- Да я с коня не сошел.

- Что ж ты, они бы выпить поднесли. А не спросил, с чего пляшут?

- Крестили вроде кого-то. А вот кого я там видел... Канделарию, невесту дона Мачо. Людей сторонится, а все хороша, сам бы

женился.

- Пойдет наш маис задорого, и женишься. Богатому кто откажет? Денег возьмешь, хлебнешь для храбрости, в два счета девицу уломаешь.

- Ври больше!

- Да чтоб мне лопнуть!

- Плохо то, что она, говорят, зареклась замуж выходить, покойника помнит.

- Чего там, порода женская. Братьям лепешки печет, маис толчет, вот и память свою истолчет, с маисом сварит.

На полях, где скоро завязывались початки, появились тряпичные пугала, поубавившие

веселья у голубок и других птиц, прилетевших поклевать зерен. В жаркой тишине над созревающим маисом проносились камни из рогаток, спугивая голубей, дроздов и кискалей, прилетевших за зернами для себя и для птенцов.

Заячья Губа повел хозяина поглядеть на пугала. Сеньор Томас Мачохон, держась за его руку, ходил по полям и смеялся, как юродивый, глядя на тряпичных кукол, а недоверчивые торговцы издали кланялись ему.

Что-то он делает, думали они. Притворяется, что смотрит пугала, и ходит по полям. Может, прикидывает на глаз, какой будет урожай, или

меряет шагами землю. Столько-то шагов -столько-то зерна, половина ему. А они ведь решили ничего ему не давать.

С трудом выговаривая слова, старик спрашивал мальчика, что это за чучела без лица и без ног, у некоторых - только куртка да шляпа.

- Куклы! - кричал мальчик, обнажая зубы, словно детский смех раз и навсегда прорезал ему губу.

- А как, по-твоему, этого зовут? - не без умысла спросил старик.

Заячья Губа схватил камень и запустил им в пугало, которое щеголяло большой, как у мексиканца, шляпой.

- Зовут... это... - замялся он, и

губа его дернулась, как рыбка на удочке, но старик упорно на него глядел, и он выговорил: - Мачо-он его зовут.

И клыки, словно огромные сопли, блеснули в разрезе губы.

Сеньор Томас тупо уставился на него. Старик тяжело дышал, втягивая щеки, соленые от пролитых слез. Зубов у него не было, одни десны, и, когда он пугался или горевал, щеки изнутри прилипали к ним. Устами безумцев и детей глаголет истина. Для этих простодушных людей золотой Мачохон стал пугалом. Две палочки крест-накрест, старая шляпа, куртка без пуговиц, одна штанина целая, другая - до колена.

Мальчик помог старику встать с камня, и они пошли домой в наступающей тьме, царапаясь о кусты, которые днем убирают когти, словно тигры, а к вечеру выпускают, чтобы ранить путников.

- Тут им верхи поотбивали, - сказал старик.

В желтоватом вечернем свете видно было, что стебли маиса здесь пониже, верх у них отсечен, чтобы початки лучше сохли.

- И завтра будут бить, - продолжал он. Те, кто растят маис, употребляют это слово, но ему припомнилось другое его значение и он услышал, как оглушительно бьют в церковные колокола звонят по

усопшим. Бом-бом-бом-м!

Он остановился, оглянулся несколько раз, чтобы запомнить дорогу, вздохнул и сказал не без злого умысла:

- Завтра будут бить.

Рука, ломающая стебель маиса, чтобы початок вызрел, подобна руке, разбивающей надвое колокольный звон, чтобы мертвый поскорей дозрел.

Старик не уснул. Вака Мануэла неслышно подкралась к комнате Мачохона, куда ее муж перенес свою кровать, не увидела света и прислушалась. Сеньор Томас дышал с неправдоподобной мерностью. Жена перекрестила дверь, послала во тьму

благословение. «Господи Иисусе Христе и Матерь Божия, не оставьте его и уберегите от всякого зла», - тихо произнесла она и вернулась к себе. Она легла и прикрыла лицо полотенцем, чтобы мыши не мешали. С тех пор как исчез Мачохон, дом был так запущен, что мыши, тараканы, клопы и пауки разгулялись вовсю. Вака Мануэла погасила свечу и предала себя в руки господни. Мальчик храпел, мыши бегали так, что, засыпая, она слышала, будто кто-то двигает мебель.

Из комнаты Мачохона вышел человек - при шпорах, в большой шляпе и в крестьянской куртке. Он был пониже Мачо, не такой высокий,

но сойти за него мог. В конюшне он оседлал коня и пустился в путь. Дома никто их не услышал - конь шел по траве и песку, окаймлявшим мощеный двор. Не останавливаясь, словно тень миновал старик земли Хуана Росендо и улицы Писигуилито, где жила теперь Мария Канделария. Здесь он услышал голоса, увидел каких-то людей, но что они ему, пускай видят. Доехав до сухих маисовых полей, он их поджег. Из трута сыпались искры, когда сеньор Томас ударял огнивом о камень. Ч-ч-ч-пах! Он не сигару кукурузную раскурить хотел, которая торчала у него изо рта, а поджечь посевы. И не со зла - он хотел проехать верхом

сквозь пламя, чтобы люди подумали, будто это Мачохон. Он похлопал руками по лицу, по шляпе, по одежде, гася искры, а другие искры цеплялись за высушенную солнцем, солью, луной и звездами накрахмаленную и золотую одежду маиса. Огонь, рождаясь из искр, охватывал бороды початков, пыльные подмышки листьев, полиловевшие стебли, пустившие в землю жаждущие корни, и цветы - пестрые флажки, нужные только насекомым. Проснулась ночная роса, пытаясь поймать в свои жемчужные сети огненных мух. Она проснулась там, где потемнее, лепеча со сна, и накинула серебристую пахучую

слезную сеть на искры, обратившиеся в языки пламени и передававшие огонь дальше, без склада и лада, по наитию, как в драке, а не на войне. Ночная роса, как морозящий дождь, сыпалась на красные от огня листья, слепленные туманом, пропахшие дымом, и капли проникали до кости мертвых стеблей, одетых пористой тканью и громыхавших, словно сухой порошок. Пламя стало светляком, огромным, с холм и равнину, где готов был к сбору сухой желтоватый маис. Сеньор Томас придержал коня и посмотрел, в золоте ли его одежда и руки, похожи ли он на сына, которого видят в огне. Пылало все небо. Пламя не щадило

ни изгородей, ни калиток. Деревья сгибались в поклоне и падали в кустарник, задыхавшийся от жара, но не уступавший огню. Другие деревья пылали, как плюмажи, забыв о том, что они - растения, а не перья. Прежде на них ютились сотни птиц, теперь они сами стали сверкающими птицами с синим, белым, алым, зеленым и желтым опереньем. Из жаждающей земли сочились муравьи, чтобы сразиться с пожаром, но тьма, которая выходила вместе с муравьями, не могла уже одолеть яркого света. Что зажжено, того не погасишь. Горели стебли, летали искры, зубы початков вгрызались друг в друга. Змеи извивались и

лопались, словно нитки треснувшего шва. Загорелись сухие цветы тыкв, сухие заросли желтых цветов. Бобы тушились, как на очаге, но без котелка и без масла. Трудно было поверить, что огонь, добрый друг котлов, вырвался в дым, на волю, словно бешеный бык. Непослушный конь, кося белым глазом, метался туда и сюда, и сеньор Томас потерял кремьень - маленький камушек, из которого вылетали искры величиной с маисовое зерно и сыпались на выжженную плоскую землю и порождали огонь, губивший теперь лианы в лощинах и лес на высоких горах. Золотая пыльца, золотой воздух, живое золото летели в самое

небо со сверкающей жаровни. Поля
маиса превращались в шкурки
красных ящериц. Неспроста именно
он, Томас, сжег желтые уши желтых
кроликов - листья, спеленавшие
початок. Потому и чтят этих
кроликов как святыню. Они
защищают млечный сок молодого
початка от мелких птиц с черным
длинным клювом и синим
опереньем. Неспроста он, Томас, на
свою беду, положил ядовитый корень
в предательский напиток, который
извечно был таким неподвижным,
холодным, словно в его светлом
зеркале отражалась гнуснейшая
измена. Человек пьет тьму, когда
пьет водку, и прозрачная жидкость

чернит его, одевает в траур изнутри. Сеньор Томас, опустившийся, омертвевший, ссохшийся, как старый мох, и ничего не желавший с тех пор, как исчез Мачохон, помолодел в эту ночь и ожил. Он держал высоко голову в огромный шляпе, он сидел в седле прямо, словно на нем был корсет, ноги легко упирались в стремя, и шпоры морзянкой звезд говорили с конем. Когда дышишь свободно, угасшая было кровь разгорается в венах, из которых, словно муравьи, выползает тьма, (Обволакивающая тех, кто умер от страшной измены. Мы умираем, когда нам подло изменит водка жизни. Но дон Томас ожил, хотя уже

не дышал, и золою покрыло, как Мачохона, и всадника, и коня. Пот лил с него, дым разъедал ему нос и рот, глаза слезились от огня и воздуха, горячего, как лепешка. Языки пламени, кроличьи уши, мелькали перед ним десятками, сотнями, охапками. Кролик-огонь бежал от пламени, катился шаром, у него не было шеи, только морда, и та у самой земли, а вслед ему хмурились густые брови дыма и металась его густая борода. Уши желтых кроликов, не угасая, проносились по песчаной циновке реки, они спасались от пламени, расстелившего свою шкуру, которой нет износа, которая ни к чему не

прикасается и все сжирает, на что кинет взгляд. По мохнатым охапкам червонного пламени проносились ягуары, усыпанные сотнями глаз. Пожар ополаскивает себя пятнистыми ягуарами. Глупо светила луна, сухая и мертвая, как пепел, как проклятье светляков-колдунов на горе глухих. Торговцы кидались в огонь, прорубая просеки, они не жалели жизни, им помогали жены и дети, но пришлось признать, что пожара не потушишь. Они это признали, свалившись без сил на землю и катаясь в поту. Натянутые волокна мышц горели от ярости, мужчины ругали злой рок, не понимая толком, что видят, лежа без

сил на земле или воспрянув снова, чтобы сразиться с огнем. Женщины кусали косы, а у самых старых по морщинистым, как лепешка, лицам текли слезы. Голые дети чесали голову и зад, стоя в дверях дома, и псы у их ног лаяли неизвестно на кого. Огонь пожирал лес. взбирался на гору. Высоко, у вершины, на огненном небе, чернели силуэты тех, кто хотел спасти поля на другом склоне и начисто вырубал горящий маис. Но времени уже не хватило. Огонь быстро пополз вниз. Многих он ослепил, опалил им ступни, пожрал их, а они и не крикнули, потому что дым душным кляпом заткнул им рот. Теперь некому было

защищать поля. Всадники, прискакавшие с земель Хуана Росендо, не решились броситься в огонь. Воздух не пустит, говорили они и, сжимая в руке палку или мотыгу, тупо глядели, как горят и колья, и стебли, и маис, и стволы, и листья. Из Писигуилито прибыл отряд, самые смельчаки, но они и не спешили. «Разузнаем, кто поджег», - сказал главный над ними, а Вака Мануэла - она стояла неподалеку в шерстной шали - ответила: «Начальник ваш, полковник Годой, так и передайте. Он велел нам с мужем отравить Гаспара Илома, хотя тот не ведал страха и заарканил пламя в горах, и привел к себе, и

привязал к воротам, чтобы никого не губило». - «Я-то передам, - сказал главный, - а вы ему сами скажите, если такая смелая». - «Если он у вас смелый, - отвечала сеньора Вака, - пускай тушит пожар, помогает с бедой управиться, которую сам накликал. Ему же мы угождали. Думает, там, подальше, спасется от проклятия. Нет уж! Семь раз поля не расчистят, а он головней станет, как это дерево, как земля Илома, которой теперь гореть, от злых ли торговцев, от таинственных ли пожаров, пока останутся одни камни, пока пожары не обратят весь этот лес в тучи дыма, простыни пепла». Главный пришпорил коня и толкнул ее, она

упала. Всадники с земель Хуана Росендо вступились за нее. Мачете, маузеры, кони и люди мелькали в свете пламени. Когда кого-нибудь из всадников ранило, он рвал зубами левый рукав и перетягивал раны. Им тоже удалось ударом мачете свалить на землю двоих, и теперь людей Годоя осталось человек четырнадцать. Поля, еще не тронутые пламенем, трещали от жары, а когда огромный костер поглощал их, треск лопающихся зерен вторил свисту пуль. Перелетая из руки в руку, мачете сверкали алым, кровь раненых струилась по бокам коней и стекала на землю в лужицы. Люди как лепешки, завернутые в тряпку:

когда-никогда, а цвет проступит. От сухой шелухи пожара, носящейся по ветру, пересыхало во рту. Но люди не отступали. Кони топтали раненых. Мертвые лежали, словно пугала, их уже лизало пламя. Люди сражались, не замечая, что огонь окружил их на пригорке. Вся усадьба пылала - и дом, и конюшни, и сараи, и голубятни. Кони и скот в страхе неслись к полям. Огонь перекинулся за ограду. Проволока с красными от пламени колючками висела на обугленных столбах или болталась на ветру. Сколько народу осталось? Сколько коней? Бой прекратился сразу - некому стало биться. Маузеры не стреляли, мачете затупились,

люди боролись за коней, чтобы не сгореть заживо. Боролись рукоятками, сломанными мачете, а больше зубами, ногтями, руками, обвивавшими, как лассо, шею врага, коленями, которыми можно и ударить, и убить человека. Но все они, один за другим, падали в море огня. Кто падал замертво, кто катался от боли, кого сражала усталость, и они холодным, злым взглядом смотрели, как вырываются из огненной завесы кони с золотыми гривами. Но и коням не удавалось достигнуть другого берега. А там, где упала на землю Вака Мануэла Мачохон, виднелись лишь тонкие ноги среди юбок из пепла, голова без

ушей, прядь испепелившихся волос и покоробившиеся ногти.

ОЛЕНЬ СЕМИ ПОЛЕЙ

VI

- Не пробегал тут Олень Семи Полей?

- Не было его... а как там матушка?

- Худо, сам видел. Вроде бы еще хуже. Икает, мается, зубами стучит.

Тени, говорившие так, скрылись во тьме тростников, одна за другой. Стояло лето. Тихо текла река.

- А что лекарь сказал?...

- Что ему говорить? Велел ждать до завтра.

- К чему это?

- К тому, чтобы кто из родни попил питья и узнал, чей тут сглаз. Икота не хвороба, это на нее напустили. Так он велел,

- Ты и пей.

- Это как сказать. Лучше бы Калистро. Он у нас старший. Пускай ему лекарь велит.

- Пускай. Узнаем, чей сглаз, кто сверчка запустил...

- Молчи ты!

- Знаю, знаю. Я и сам так думаю. Из этих кто-то, которые землю под маис выжигают.

Голоса выслеживающих оленя

едва шуршали в тростнике, чтобы не спугнуть добычу. То ветер легко вздыхал в кустах, то вода пищала, как цыпленок, у края заводи. Мерно, словно качается гамак, квакали лягушки. Синели горячие тени. Темнели рваные тучи. Взлетали из-под ног козодои, шлепались где-то на землю и шурша тащились по земле. У этих ночных птиц, кидающихся путникам под ноги, есть крылья, но, когда они упадут и поползут, крылья превращаются в кроличьи уши. Получаются ушастые птицы, птицы с ушами желтых кроликов.

- А то пришел бы лекарь сегодня, мы бы и узнали, кто запустил матушке сверчка в живот.

- Это бы хорошо.

- Хочешь, я за ним схожу, а ты скажи братьям, чтобы мы собрались, когда он придет.

- Оленя упустим.

- А ну его к бесу!

Тени разделились, выйдя из тростниковой тьмы. Одна пошла по берегу дальше, оставляя на песке следы босых ног, другая проворнее зайца юркнула в холмы. Вода тихо струилась, и пахло от нее сладким ананасом.

- Разожгите живое дерево, чтобы у ночи был новый огненный хвост, желтый кроличий хвост, прежде чем Калистро отведаст напитка и узнает, кто напустил порчу, загнал через пуп

сверчка в живот сеньоре Яке.

Так сказал лекарь и когтистыми пальцами пробежал, как по каменной флейте, по глинистым черным губам.

Пятеро братьев пошли искать молодое деревце. Шум борьбы доносился до дома. Сучья не поддавались, но тьма темна, мужчины сильны, и братья вернулись из леса с охапками сломанных, ободранных веток.

Костер из живого дерева разгорелся, как велел лекарь, чьи черные, глинистые губы выговаривали слова:

- Вот - ночь. Вот - огонь. Вот - мы, блестящие перья петуха, осиная

кровь, змеиная кровь, огонь, выжигающий землю под маис и дающий нам сны, и печаль, и радость...

И приговаривая так, словно давя зубами вшей, он пошел в дом за чашкой, чтобы налить Калистро напитка, который он принес в зеленой тыковке.

- Разожгите огонь и в доме, возле сеньоры Яки, - велел он, вернувшись с половинкой тыквы, гладкой снаружи и шершавой изнутри.

Братья послушались его. Каждый взял по горящей ветке из костра, горевшего перед домом.

Один Калистро не двинулся. Он

стоял у ложа больной, в полутьме, неподвижный, словно ящерица. Низкий лоб перерезали две морщины, свисали усы в три волоска, белели крепкие острые зубы, рдели прыщи. Донья Яка, укутанная в старые одежды, то сжималась, то вытягивалась на пропотевшей, засаленной циновке в такт мучительной икоте, раздиравшей ее нутро, и намученная душа молча взывала о помощи из окруженных морщинами старческих глаз. Не помогали ни дым сожженных лоскутьев, ни соль, которую совали ей в рот, как теленку. Она лизала уксус с камня, а мизинец ей кусали чуть не до крови и Уперто, и

Гауденсио, и Фелипе - все шестеро сыновей.

Лекарь вылил питье в тыкву и дал ее Калистро. Братья молча глядели на них, стоя у стены.

Калистро выпил - питье было гнусным, как касторка, - вытер губы рукой, испуганно взглянул на братьев и прислонился к тростниковой стене. Он почему-то плакал. Костер за дверью угасал. Сменялись свет и тени. Лекарь кинулся к двери, простер руки во тьму и, вернувшись к недужной, провел пальцами ей по глазам, чтобы они впитали частицу звездного света. Он ничего не говорил, только двигался - он ведал тайны обряда, - и над циновкой

проносился бурей сухой песок, бушевал соленый ливень (слезы солонны, человек просолен слезами с самого рождения) и хищно пролетали когтистые ночные птицы.

Остановил его смех. Старший брат цедил смех сквозь зубы и выплевывал, словно огонь сжигал ему рот и горло. Скоро смолк и смех. Калистро тихо стонал, глаза его жутко выкатились, он ощупью искал, где бы выблевать зелье. Когда он отблевался в углу, упал, глаза его стали мутно-белыми, словно вода с пеплом, а из горла вырвался хрип, братья кинулись к нему.

- Калистро, кто навел порчу?
- Кто пустил сверчка в утробу?

- Говори...

- Калистро, Калистро...

Больная извивалась на циновке, измученная болезнью, иссушенная, вся в тряпках, гибкая и худая. Грудь ее ходила ходуном, глаза глядели в пустоту.

Калистро по веленью лекаря произнес во сне:

- Матушку испортили Сакатоны. Чтобы ее исцелить, надо отрубить им всем головы.

И закрыл глаза.

Братья взглянули на лекаря и, не дожидаясь толкования слов, выбежали, размахивая мачете. Их было пятеро. Лекарь стоял в Дверях и под стрекотанье сверчков,

вторивших сверчку в утробе, считал летучие звезды, желтых кроликов, которые служат колдунам, живущим в шатрах из ланьей шкуры и ведающих Дыханьем, ресницами души.

Пятеро братьев прошли по тропе, поросшей свежей травкой, и, миновав тростники, вступили в темный лес, под старые деревья. Залаяли собаки, завывали, предчувствуя смерть. Закричали люди. Пять мачете в один миг отрубили восемь голов. Убитые хватали пальцами воздух, пытаясь уйти от смерти, от страшного сна, тащившего их с постелей во мрак, и - кто без челюсти, кто без уха, кто без глаза -

рушились в сон крепче того, которым они только что спали. Клинки срезали голову, как молодой початок, собаки, воя вразнобой, пятились во мрак и тишину.

Братья вошли в заросли тростника.

- Три отрубил?

- Две...

Обагренная рука подняла над тростником две головы. Изуродованные лица утратили человеческий облик.

- Я поотстал, отрубил одну...

Женская голова висела на двух косах. Брат, отрубивший ее, волочил ее по земле, и молодое лицо ударялось о камни.

У меня, наверное, старик - легкий очень.

С другой руки свисала младенческая головка, мягкая, как плод аноны, в грубом чепчике, украшенном красной вышивкой.

Братья вернулись домой, в росе и в крови. Лица у них были злые, руки дрожали. Лекарь широко открытыми глазами глядел на звезды, больная - икала. Калистро спал, собаки не спали, растянувшись на полу.

Головы положили на восемь камней, недалеко от огня, который еще не потух. Услышав запах человеческой крови, пламя заплясало, гонимое страхом, и

приготовилось к прыжку, словно золотистый тигр.

Золотой язык лизнул два лица, младенческое и стариновское. С треском сгорели усы, ресницы и брови. С треском сгорел чепец. Другой язык лизнул косы, и они сгорели. В ясном дневном свете костер бледнел, но не гас. Огонь стал светлым, как раскрывшийся цветок. Восемь голов походили на восемь закопченных тыкв. Только скалились белые зубы, некрупные, как маис, который они так часто жевали.

Лекарю дали вола за чудесное исцеление. Больная перестала икать, когда увидела, что ее сыновья несут изуродованные головы. Ушла икота,

которую под видом сверчка
запустили ей в пуп те, кто теперь
убиты.

VII

- Видно, олень еще не был.

- Да, нету его. А как там

Калистро?

- Матушка его опять к лекарю
водила.

- Калистро ради нее ума
решился.

- Он то плачет, то говорит: у него
девять голов.

- Что лекарь сказал, сам знаешь.

- Да, леченья для него нет, разве

что убьем оленя.

- Сказать легко...

Больше месяца Калистро бродит у лекарева дома, а братья его выслеживают оленя в тростниках. Калистро ходит голый, как мать родила, волосы не чешет и руки сжимает в кулаки. Он не ест, не спит, исхудал, как тростина, и ребра у него торчат, как тростник. Мухи роем летают за ним, он от них отбивается, а ноги распухли от клещей, будто лепешки.

- Иди сюда, брат, не ищи оленя.

- Ты что, я на нем сижу.

- Иди, иди, Калистро лекаря убил.

- Не пугай ты меня...

- А что делать, когда убил?

- Как это?

- Вылез из лощины и тащит его,

голового, за ногу...

Тот, кто сидел на Олене Семи Полей, радуясь удаче и гордясь выстрелом, сполз на землю и вытянулся, безмолвный и бледный, как в обмороке. Брат его, принесший весть, стал трясти его, чтобы он очнулся. Он звал его и кричал и, выбившись из сил, воскликнул: «Гауденсио Текун!!!» - голосом земли, голосом рода, голосом беды, злым, как колючка дикобраза.

Тогда Гауденсио Текун открыл глаза, ощутил рядом убитого оленя, протянул руку и принялся гладить

рыжие ресницы, темный нос, морду, зубы, черные рога, семь серых пятнышек на загривке, похожих на выжженное под маис поле, бока и припухлость в паху.

- Да ты, я смотрю, сам спятил! Где это видано, убитых зверей гладить? Не дури, идем, матушка одна с покойником и с Калистро.

Гауденсио Текун стряхнул забытие, открыл глаза пошире и медленно выговорил:

- Калистро лекаря не убивал.

- А ты откуда знаешь?

- Я его убил.

- Я сам видел, Калистро его тащил, а ты тут оленя стерег...

- Я лекаря убил, тебе все

примерешилось.

- Ты оленя убил, а лекаря убил
Калистро. Какое там
примерешилось!... Все видели, все
признают, а ему ничего не будет - он
дурной.

Гауденсио Текун встал - он был
пониже Уперто, - отряхнул штаны от
земли и листьев, согнул руку, прижал
к сердцу ладонь и сказал слово в
слово:

- Лекарь и олень - одно. Я
стрелял в оленя, убил лекаря, потому
что они одно, так ты и знай.

- Не пойму я, ты лучше
объясни. Лекарь, значит, и олень... -
Уперто поднял руки и соединил оба
указательных пальца - получился

вроде как бы один толстый палец из двух тонких.

- Нет. Один они палец. Не два. Один. Лекарь и олень, как ты и тень, ты и душа, ты и дыхание. Потому лекарь и говорил, когда матушка сверчком мучилась, что надо нам поймать оленя, чтобы вылечить ее. И когда Калистро спятил, он опять так сказал.

- Значит, говоришь, одно...

- Как капли в воде. Вздохнуть не успеешь, а лекарь уже в Другом месте...

- Оленем оборачивался. То-то он сразу узнал, когда касик умер, Гаспар Илом.

- Лучше так, легче. Лучше ему...

Кто заболевает, его зовет, а он уже и тут с целебными травками. Пришел, поглядел и за лекарством скачет.

- А что ж Калистро его тащил?

- Вот так: Калистро (ходит там, рыщет, нашел его в лощине, а он оленем обернулся, побежал и под мою пулю угодил.

- Так-то оно так, только тут человека убитого нет. Он там, в лощине.

Это у них всегда. Если кто и зверь и человек, он, когда умрет, человеческое тело оставит, где в зверя обратился, а звериное лежит, где его убили. Лекарь обернулся оленем в лощине. Я его подстрелил, он там и лег в человеческом виде, а

тут он в зверином.

- Дела-а...

- Иди-ка посмотри, есть у него след от пули.

- Пойду. Ты меня на дороге подожди. И ружье припречь.

- Это ты верно, еще воевать и воевать.

Гауденсио поднял взор - он глядел на тростниковые заросли, которые в ясную ночь словно зеленая вода, - и прислушался, чтобы понять, как там и что в доме.

Он наострил слух и определил, где дом, потому что ветер шумно шевелил во дворе листву большого дерева. Сверчки считали травинки, травинки считали звезды, звезды

считали волосы у Калистро, а Калистро кричал вдалеке.

- И зачем я его убил? - сказал Гауденсио вслух, хотя никого рядом не было. - Знал бы, не стрелял... Ох ты, Олень Семи Полей, бежал ты себе на погибель! - И продолжал про себя: «Приду, разбужу его до полуночи. Подстроила мне судьба беду. Разбужу его или схороню».

Он высморкался, вытер о штанину пальцы, мокрые от соплей и трав, и выплюнул горькую слюну. Когда он шарил рукой в пещерке, прятал ружье, прибежал его брат Уперто, который ходил смотреть, есть ли у лекаря след от пули.

- Правда твоя, Гауденсио! -

отдуваясь, крикнул он. - У него след за левым ухом, как у оленя. Точно на том же месте, прямо за ухом! Кто не знает, скажет, поцарапался. Он весь исцарапался, когда его Калистро за ногу тащил.

- А братья наши там? - невесело спросил Гауденсио.

- Я уходил, пришел Фелипе, - отвечал Уперто. По лицу у него лился пот, так бежал он от своего дома к тому месту, где брат его прятал ружье.

- А Калистро как?

- Мы его к дереву привязали, чтобы кого не испортил. Он говорит, другой лекаря убил, да его, больного, не слушают. И видели, как он

волочил покойника.

Братья направились к дому. Уперто шел сзади, Гауденсио впереди.

- Гауденсио Текун! - крикнул Уперто, когда они прошли немного. Брат не обернулся, но прислушался. - Про оленя и про лекаря только мы с тобой знаем.

- И Калистро.

- Калистро у нас больной...

Только Гауденсио и Уперто Текун знают, кто убил оленя. Больше никто - ни братья, ни мать, ни жены, которые пекли лепешки на кухне и тараторили о том, что случилось. Они звонко хлопали по тесту, как хлопают, подзывая на улице

продавщицу лепешек. По лицу у них лился пот, оставляя борозды в грязи, глаза блестели от дыма горящих сосновых веток. У одних - младенец за спиной, другие - с брюхом, на сносях. Косы извиваются по спине. Руки - словно в чешуе от замешенных на воде толченых зерен.

- Вон вы где!... Что ж не позовете?

Стряпухи обернулись, продолжая хлопать. В дверях стоял Гауденсио Текун.

- Я вам выпить принес, не хотите ли... Они чинно кивнули.

- Стаканчика не найдется?

- Хорош! - воскликнула самая молодая, протягивая ему стакан. -

Сказал бы прямо: «Выпить хочу», а то плетет, голову морочит.

- Чего ворчать-то? Дала стакан - и молчи.

- Ух ты какой! Он мужчина, а мы, значит, дуры, прислуживай ему!

- Расшипелась, змея!

- А ты - жеребец!

- От кобылы слышу.

- Нахал!

- погоди, украду!

- Куда тебе, увальню!

- Я-то ловок, а ты у нас - голубица чистая!

- Налей нам на пальчик, раз обещал, - перебила их женщина, дробившая зерно. - А то живот болит. Хорошо бы анисовой.

- Анисовая и есть.

- И мне налей, не пожалей, - сказала младшая, пока дробильщица вытирала о фартук руки, чтобы взять стакан. - Очень я испугалась, когда Калистро увидела. Он лекаря, как пугало, волочил...

- А ты там стирала, змеюка? - спросил Гауденсио Текун. Она смеялась, глядя на него. Зубы у нее были белые, как жасмин, губы толстые, нос короткий, и после каждого слова на Щеках появлялись ямочки.

- Да, лютый змей, - ответила она, перестала смеяться и вздохнула. - Полоскала я тряпье, а он и волочит покойника. Ой, зеленые они, эти

мертвые! Налей-ка мне еще.

- Это верно, зеленые, - сказал Гауденсио, наливая ей водки пальца на два. - У нас, у людей, кровь как у зверя, когда мы умираем, она становится, как у растений, а уж потом в землю обратится.

Во двореке, где пахло сельдереем, слышались шаги Калистро. ступал он тяжело, словно во мраке тащил на спине дерево.

Уперто сидел в комнате, где положили лекаря. Тело покоилось на полу, на циновке, и было прикрыто до плеч, а лицо прикрывала шляпа.

- Матушка, - сказал Уперто. - Матушка, тяжело на мертвых глядеть.

- А мне ничего, сынок.

- Не привыкну: видел его, знал, а он мертвый. И есть он, и нету его. Они будто спят, а потом проснутся. В землю их зароят, останутся они одни...

- Лучше бы я от икоты умерла. Умерла бы, лежала, а сынок мой ходил здоровый, в своем уме. Не могу я терпеть, что Калистро сумасшедший. А смерти я не боюсь - старое тело ни на что не годно.

- Беда, матушка, истинно беда.

- Двенадцать я вас родила, шестерых похоронила, шесть живы. Ходил бы Калистро, какой был, а я бы с теми на кладбище лежала. Если у матери дети поумирали, ей и там хорошо, и тут.

- Вылечили мы вас.

- Дай вам за это господь, - пробормотала она, потом помолчала, только слезы капали в такт ее тоске, и сказала с трудом: - Одна надежда - Олень Семи Полей. Поймался бы он поскорее, чтобы к сыночку моему возвратился ум.

Уперто Текун отвел взор от матери и стал глядеть на горящие сосновые ветки, чье пламя освещало мертвеца. Он не хотел, чтобы мать - хрупкая охалка кукурузных листьев, обернутая в черные тряпки и увенчанная сединою, - прочла в его глазах про оленя.

Тут в дверь тихо заглянула женщина. Они заметили ее, когда

она, согнувшись, ставила на пол корзину, сняв ее с головы.

- Как живешь, кума? Как вы, сеньор Уперто?

- Сами видите. А ваши как?

- Тоже беды у нас. Где дети, там и хворобы - то один заболел, то другой. А я вам картошечки для супа принесла.

- Дай вам за это бог. А как наш кум?

- Какой уж день не встает. Нога распухла, все не вылечится.

- У Гауденсио пухла, ходить не мог. Тут после бога один скипидар поможет и горячая зола.

- Говорили мне, вчера прикладывала, растирала - и ничего.

Не всем лекарства помогают.

- Еще одно есть. Вы разогрейте соли на тихом огне и с сальцем намешайте.

- Это я не знала, кума.

- Поможет, вы мне скажите.

Бедный кум, такой был здоровый.

- Я вам цветок исоте принесла.

- Дай вам бог. Он и красивый, и соус из него хорош. А вы присядьте с нами, посидите.

Сидя на трех чурбачках, они глядели втроем на мертвого лекаря. В комнате было темно, плясали отблески пламени, и лекарь то появлялся, то исчезал, как будто его носило в бурю по волнам. Все долго молчали, словно в тишине они были

ближе к покойнику.

- Калистро к дереву привязанный, - сказала мать.

- Я проходила, видела. Смотришь на него - сердце разрывается. Муж говорит, еще вчера сказал: Олений Глаз его вылечит. Муж такое видел. Это, говорит, дело верное. Сеньор Калистро в разум вернется.

- Вот и мы тут толковали, когда вы пришли. Олений Глаз - это камень. Проведешь им по голове, разум и возвратится.

- Надо по вискам водить, как будто листья с маиса обираешь, и под голову класть хорошо.

- Где же у оленя этот камень? -

спросил Руперто Текун, которого звали Уперто. Он сидел и молчал, как его и не было, чтобы женщины не догадались, что он пойдет и посмотрит, не выблевал ли чудотворного камня Олень Семи Полей.

- Оленя, когда подстрелят, он камень и выплюнет. Верно я говорю, кума? - сказала мать, вынимая из кармана передника пригоршню сигар и угощая гостью.

- Да, так я слышала. Умирает и выплюнет, будто душа его камнем обернулась. Маленький, как плод койоля, когда его высосешь.

- А я, кума, и не знала, какой он с виду, ведать не ведала.

- Значит, провести им по голове, к человеку разум вернется, - проговорил Уперто. Он видел взором воображения убитого братом оленя в темных далеких зарослях, а взором глаз - мертвого лекаря, лежащего рядом, на полу. Ему было так трудно представить, что лекарь и олень - одно и то же, что он хватался за голову, пугаясь, не уйдет ли от него разум. Этот мертвец - олень, тот олень - человек. Оленем он любил олених и плодил оленят, оленьих детей. Его ноздри чужали запах олених с синеватой, теплой, как лето, шкуркой, пугливых, дрожащих, не знающих прочной любви. Человеком он когда-то давно любил и ловил

женщин и плодил человеческих детей, которые часто смеются, а защититься могут лишь слезами. Кого же он больше любил - оленях или женщин?

Пришли и другие гости. Столетний старик спросил, как сеньора Яка и как мальчики, хотя мальчики эти давно были почтенными отцами семейств. Во дворике кружил у дерева безумный. Ступал он тяжело, зарывая ступни в землю, словно тащил на спине ствол.

Другие братья Текун - Росо и Андрее - беседовали у ограды, сидя на корточках, оба в шляпах и с обнаженными мачете в руке.

- Закурить нету, Андрее?

Андрее перестал срезать стебли вокруг себя, положил мачете и вынул пригоршню больших, как палки, сигар из маисовых листьев.

- Такие хороши?

- А то нет! Огонька дай. -

Сейчас. И сам покурю.

Андрее Текун сунул в рот сигару, вынул трут, похожий на свернувшуюся змеей шкурку апельсина, и стал высекать кремнем искры. Наконец трут затлелся, и они закурили.

Андрее Текун снова взял мачете и принялся срезать верхушки трав. Сигары светились в темноте, как глаза лесных зверей.

- Вот что, Росо, - сказал Андрее,

орудуя мачете. - Лекаря не Калистро убил. У него за ухом след от пули, а у Калистро ружья не было.

- Я сам заметил, у него из-за уха кровь текла, а не догадался.

- Воюем, значит. Нам воевать и воевать. А защищаться нечем. Вот вспомнишь мое слово: всех по одному перетравят. Как умер касик Илом, так и бьют нас. Одолел его этот гад, полковник Годой.

- Истинно, гад! Его только пуля исправит, дал бы нам бог его убить!

- Довел он нас...

- А мы хороши, все терпим.

- Что ж, воевать так воевать. В Писигуилито многие не верят, что Гаспар Илом по реке отправился на

тот свет. Он как рыба плавал. Выплыл, где этим его не достать, и спрятался.

- Себя утешают, надеются. Что хочется людям, то и думают. Жаль, только было не так. Утонул Гаспар. Плавать он умел, верно говоришь, как рыба, только людей у него перебили, измолотили в куски, он и загоревал. Что говорить, он им вожак, вот и подумал он - надо ему с ними быть, с мертвыми. И в реку бросился, будто камень, а не человек. От гадов от этих ушел. Он когда плавал, сперва был как туча, потом как птица, потом - одна тень по воде.

Братья Текун замолчали. В тишине в такт дыханию свистели

мачете. Братья играючи срезали высокую траву.

- Касик одолел бы этого полковника, если б тот его людей не убил, - сказал Росо, как бы подводя итог беседе и выплевывая при этом табачинку, прилипшую к языку.

- Это верно, - подтвердил Андрее, уже не так рьяно махавший мачете. - В том и война, чтоб с людьми биться, а не травить их, как псов. Его отравили и нас перебьют, как вот лекаря: пулю пустят, и лежи, тела не найдут. Плохо, когда ружей нету. Уснешь живой, а не знаешь, проснешься ли; проснешься - не знаешь, уснешь ли. А землю расчищают, сеют маис. От бедности

все. Очень мы бедные. Хоть бы их
маисом перетравило.

Всей семье становилось как-то
легче, когда безумный переставал
ходить туда-сюда. Все жалели его. Он
останавливался надолго под
зелеными ушами, которые теребил
ветер, и нюхал ствол, с трудом
выговаривая слова. Челюсти у него
сводило, язык был шершавый, как
лист лореко, лицо - изборожденное
безумием, как поле, глаза широко
открыты.

- Красная луна! Красная луна! Я
лесной зверек, лесной зверек! Огонь,
огонь, огонь... кровавая тьма,
медовая тьма... темно, темно, темно!
...Хлоп, хлоп, хлоп - хлопал

Гауденсио Текун убитого оленя.
Хлоп, хлоп - то тут хлопнет, то там.

Он шлепал его, щекотал, щипал.

Олень не встает, разленился, и Гауденсио, притомившись, идет к реке, набрать воды. Он набирает в шляпу и сбрызгивает изо рта голову, глаза и ноги оленя.

- Может, оживет!

Деревья наклоняются друг к другу, с них взлетают птицы, и Гауденсио понимает, что скоро взойдет месяц. Так и есть, вот он, золотая картофельная кожурка.

Оленя не пробуждает и вода, и Гауденсио, отчаявшись, бьет его по загривку, по брюху и по шее.

Пролетают ночные птицы,

вороны и козодои, разрезая воздух, словно юла или лезвие мачете.

Спрыснув и побив оленя, Гауденсио обворачивает ноги, руки и голову лиловыми листьями тростника и весь в листьях пляшет вокруг зверя, пугает его.

- Беги! - кричит он танцуя. - Беги, олень, беги!

- Беги! - кричит он танцуя. - Беги на семь полей. Помню, там, далеко... Я не родился, отец не родился, дед мой не родился, а я помню, что было со светляками-колдунами, когда умываюсь дождевой водой. Спасайся, олень, беги, у тебя три светляка на загривке! Не зря тебя зовут кровавою тьмой...

не зря тебя зовут тьмой медовой, рога у тебя как мед, а сам ты, олень, горек.

Он скачет верхом на тростине, и она, на манер хвоста, торчит У него сзади. Весь в лиловых листьях пляшет Гауденсио Текун, пока не падает от усталости рядом с убитым оленем.

- Беги, олень, беги, полночь подступает, скоро загорится огонь, сгорит седьмое поле! Не притворяйся, что ты оглох или умер. Вон твоя пещера, вон твой дом, твой лес, беги олень-бедняга!

Закончив просьбы и мольбы, он вынимает из кармана желтую сальную свечу. С трудом высекает пламя, поджигает сухой лист,

зажигает свечку, становится на колени и молится со свечой в Руках.

- Прощай, олень, оставил ты меня на дне колодца, а я тебя, Укачивал, показывал, каково это умирать! Я приложил ухо к) твоей груди и ничего не слышал, я хотел послушать, дышишь ли ты, и нос у тебя был холодный. Почему ты пахнешь, как цветок апельсина, если ты не апельсин? Зима глядит из твоих глаз глазами светляков. Где ты оставил твой шалаш из шкуры Девственной лани?

По темным камышам медленно движется тень. Это Гауденсио Гекун. Олень Семи Полей - в земле, он его глубоко закопал. А ауденсио слышит,

как лают псы, как кричит безумный и, подойдя поближе, миновав тростники, - как молятся женщины о лекаря.

- Избави его, господи, от мук и дай ему покой... Избавь его от мук и упокой его...

Черный мед, тростниковый мед облепил Гауденсио руку, когда он по самую подмышку засунул ее в пещеру, где спрятано ружье. Он спокойно вынул ружье - что ему там сделается, - перекрестился, поцеловал три раза сложенную горсть и, раньше чем идти к дому, громко сказал, глядя на красную луну:

- Я, Гауденсио Текун, клянусь

душой лекаря, и моей матерью, и моим покойным отцом, что верну душу телу там, где его похоронят, а если оно воскреснет, возьму к себе пеоном и не буду обижать. Я, Гауденсио Текун...

И пошел к дому, размышляя так: «...тот мужчина, кто высекает божью волю из живого камня... тот мужчина, кто глядит на кровавую луну».

- Гляди, Гауденсио, оленя-то нет. Гауденсио узнал голос брата своего Уперто.

- А ты ходил, где он лежит...

- Ходил.

- И нету его...

- Нету.

- А я вот видел, он убежал.

- Ты его видел, Гауденсио?

- То ли видел, то ли

примерещилось.

- Значит, ожил, и лекарь оживет.

Вот мать испугается, когда он встанет, а он испугается, что молятся за его душу.

- В чем страха нет, то ничего и не стоит. Я испугался, когда полночь пришла. Свет какой-то такой, словно звезды падают. Олень глаза открыл. Я-то думал, надо его получше схоронить - все же не простой он зверь, человек он. Открыл глаза, дым золотой поднялся, и бежит, а в реке отсвечивает, как будто сон.

- Песок, значит, золотой.

- Да, у песка такой цвет и есть.

- То-то я его не нашел, где ты его убил. Я думал, может, он камень выплюнул, мать говорит, сумасшедших исцеляет.

- Нашел ты камень?

- Сперва смотрю - нет. Искал, искал - и нашел. Камень Олений Глаз. Вот матери несу, она Калистро голову потрет, и он, может, образумится.

- Повезло нам, Уперто Текун. Такой камень только у тех оленей, которые люди.

- Вот Олень Семи Полей - человек, у него и камень был. Он от разных болезней помогает. Я, как нашел, подумал: правильно лекарь

говорил, когда мать хворала, что от сверчка от этого надо поймать Оленя Семи Полей. Я его и стерег, дни и ночи в тростниках сидел, целился, а убил его ты, Гауденсио, с маху подстрелил, и лекаря ты убил. Но ты себя не вини - ты не знал. Знал бы, что олень и лекарь - одно, не стрелял бы.

Всем, кого зовут Текун, стало легче, когда безумец кончил

ходить под деревом. Все Текуны, шестнадцать семейств, обитающие в Корраль де лос Транситос, очень сокрушались, когда больной Калистро останавливался под деревом с зелеными ушами, нюхал ствол и говорил непонятные слова:

«Красная луна! Красная луна! Я лесной зверек, лесной зверек! Огонь, огонь, огонь! Кровавая тьма, медовая тьма!»

Мать потерла ему виски и темя камнем Олений Глаз. Голова у него была, как у всех, но у безумцев она кажется больше. Большая тяжелая голова с двумя макушками упала в черный подол, пропахший стряпней, и лежала там, словно ему, как ребенку, тихо приговаривая, ищутшей, а мать водила камнем и водила, пока к сыну не вернулся разум. Камень Олений Глаз соединяет кусочки души - ведь у безумных душа разбивается. Безумному кажется, будто разбилось зеркало, и он видит

в осколках то, что раньше видел целым. Все это Калистро хорошо разъяснил. Одного он не мог разъяснить - как умер лекарь. Он говорил, что видел рядом с ним убийцу, но лица не различил, и убийца этот был тень, человек, сон. Калистро и сейчас ощущал, что он был рядом, впритык, словно близнец в материнской утробе, что они были одно и не одно, когда тот убивал лекаря.

Все глядели на Калистро. Может, он и не вылечился. А Гауденсио и Руперто знали, что он здоров. Лекарство помогло. Олений Глаз - верное средство.

ПОЛКОВНИК ЧАЛО ГОДОЙ

VIII

Лейтенант Секундино Мусус, обросший волосами, зелено-лицый, пропахший горячим потом, в штанах и рубашке из мешковины (отчего под мышками у него и на задуге белели пятна от муки), в шляпе, похожей на подставку для жаровни, в крагах и с одной обломанной шпорой, еле державшейся на чешуйчатой пятке, трусил на буланом коне по сравнительно проезжим местам Дороги, чтобы нагонять начальника отряда, полковника Чало Годоя, есть

его глазами и знать, в каком он расположении духа. Полковник был крут, и не дай господи, если ему не угодишь.

Полковник и впрямь был не в духе - он долго и тщетно ждал подкрепления, а того все не было. Полковник горевал.

Потому он не произнес ни слова, хотя вообще любил порассказывать, ни слова за долгие часы, пока кони, старея от усталости и ступая все тяжелее, карабкались по мрачному каменистому склону, а всадники, ослепленные тьмой, все больше раздражались. Лейтенант нагонял его, глядел на него искоса, видел кислое лицо и снова отставал.

Но однажды, нагнав начальство, конь пошел быстрее, на беду всаднику. Заметив, что за ним едут следом, полковник обернулся, выкатив мутные рачьи глаза, и разразился бранью, как ни старался лейтенант поотстать, упираясь в стремяна и часто шлепаясь задом о седло.

- А, чтоб тебя, так перетак! Я-то думал, подкрепление, а это ты! Коню отдохнуть не дашь, приятелю своему! Где ж они, чего их нет? Жрут, наверное, воду пьют, дурака валяют. Чуть что - спешатся! Подпруга ослабла, до ветру им надо, или ухо к дороге приложат, слушают, где мы. Им что! Такие как думают?

Начальник впереди, нам
беспокоиться нечего. Спасибо, если
скот не крадут. На таких опасности
сами валятся: там - бабы, тут - куры.
Как не пожрать, не побаловаться -
они ведь плоть свою тешат,
ублажают. Спасибо, здешние их
мигом отошьют - вон отсюда, нахалы
и невежи! Отстали, видите ли!
Посмотреть бы, как они там крадут, а
их гонят. Поторопить их некому! Это
им даром не пройдет. Я тут печенки
отбивай, а они плетутся как
черепахи. Ну и местечко! Если это не
круча, что это такое, а? Пастбище?

Лейтенант молчал, но, чтобы
начальник знал, что он вникает в
каждую фразу, срывавшуюся с

полковничьих уст, он, как брыкливый козел, водил острым кадыком, не смея проглотить горькую слюну и даже вздохнуть. Ему было страшно - конь дышал все тяжелее; наверное, в горле у него совсем пересохло.

Гора все росла в светлой ночной тьме, и казалось, что в глаза попал волос, а кожа покрылась грязью. С беспокойного неба над вершиной спускалась влажная, умытая ночь. Копыта звенели по камням, как оловянная посуда. Клеенчатые тела летучих мышей бились в сухих ветвях, в паутине, среди покрытых корой скелетов, изъеденных муравьями древесных останков. Серые птицы проводили клювом по

зубцам невидимой гребенки: т-р-р, т-р-р... Голубые птицы спали, скрывая под крыльями день, а еще какие-то сыпали трелью в слепые глаза оврага.

- Ну и горка, чтоб ее!

- Еще хуже будет, сеньор полковник, хотя мы почти и на вершине. Вон она, где те дубы.

- Давно пора.

- Ас вершины мы попадем в такое место - Трясину.

- Там остальных и подождем. Может, нагонят нас, и все вместе въедем в деревню. Вот где у меня дураки и лентяи, а только они мне, гады, и попадаютсся!

- Не в этой деревне дело. Тут всюду разбой. Вот, к примеру,

недавно отрубили головы всему семейству Сакатон. Темный народ, сеньор полковник. Видят, беда им грозит, и хоть бы что. Места тут голодные, людям так и так гибель: или их убьют, или сами перемерут от бедности. Я вам скажу, их земля и карает руками индейцев. Если земля не родит, зачем тут сеять? Шли бы к морю поближе. Там сей - не хочу, не надо хорошие деревья губить.

- Трясина уже недалеко...

- Недалеко...

- И луна скоро выйдет...

- Выйдет...

- Что ты, гад, все повторяешь за мной?!

- По уставу положено, сеньор

ПОЛКОВНИК.

- А, чтоб тебя, циновка ты драная! Сколько при мне, а не знаешь моих правил! Начальству эти глупости ни к чему. Словечки нужны для баб. Зубрите вы в училищах устав и выходите - сами как бабы. Мне и даром не надо попа с катехизисом, музыканта с нотами и военного с уставом. Так и помни, а то у меня не выслужишься. Вера - одно, музыка - Другое, военное дело - третье, а они тем похожи, что главное тут нюх. Кто их знает, тот знает, а кому не дано - не поймет. Эй ты, пошел! - подогнал он коня и продолжал: - Черт те что, а не конь... Значит, я говорю: и катехизис, и ноты, и устав выдумали

Для тех, кто и сам толком не знает, к чему способен, а лезет Мессу служить, петь там или командовать. Научили, а нюху нет. Военное дело - самое тонкое, тут надо врага предупредить, обойти, тут свои законы. Я в нем собаку съел и всем покажу, хотя в жизни не учился!

Они выехали на вершину. Яркая красная луна горела, как жаровня. Всадники и кони стали похожи на распластанных в полете крабов. В глубине долины виднелись извивы реки, деревья в зеленых искрах птиц и невысокие пригорки.

- Лейтенант Мусус! - крикнул полковник, когда они, один за другим, въезжали со склона на

вершину, где светил, словно сквозь марлю, слабый двойной свет. - Равнение направо! На луне - бой!

Секундино увидел над горизонтом огромный кровавый диск и ответил:

- Леса тут жгут, сеньор полковник, вот она и красная. Если бы не жгли...

- Разговорчики! Сказано - равнение направо! Совсем рассиропились! Отдай честь луне, - вовремя оборвал его полковник.

Лейтенант обиделся, но, поскольку начальник считал, что без толстой шкуры нет военного, приложил руку к шляпе, отдавая честь луне, и поспешил ответить:

- Когда много дыму, сеньор полковник, нам видно, как будто луна в крови. Как будто раненые там, бой идет... - говорил он, не вдумываясь в слова, потому что увидел вдалеке длинную цепь деревьев, извивавшуюся меж холмов. Это место и звалось Трясиной.

Дубленое лицо дона Чало расплылось в улыбке. Больше всего на свете он любил поговорить о военных делах.

- А мне это все нравится, - сказал он, уже не сердясь на лейтенанта. - Увидишь огонь в такой час - и как будто воюешь. Хворост трещит, словно пули свистят, дым валит, сверкает что-то, как бы пушки

стреляют, где займется огонь - будто люди идут в атаку, ветер - они пригнутся. Ты вникни, я тебе разъясню. Когда выжигают лес - это как партизанская война. Мы на него отсюда, а он оттуда идет. Ну а с партизанами воевать - как играть с огнем. Почему я победил Гаспара Илома? Потому что с детства прыгал через костры в Иванову ночь и в канун Непорочного зачатия. Хитрый он был, гадюка...

- Вам виднее, сеньор полковник.

- Не сразу угадаешь, а он ведь умный был. Ум у него играл, как огонь в лесу. Надо потушить, а как его потушишь, когда этот Гаспар от роду воин?

- Вам виднее, сеньор полковник...

- Ты не думай, я правду говорю. Сам видел: он дерево свалил взглядом, одним взглядом свалил, такая была сила, взял его, как метлу, и весь мой отряд смел, как мусор, - и людей, и коней, и оружие.

- Вам виднее, сеньор полковник...

- Не знаю, правда или нет, - сказал дон Чало, глядя на дорогу, которая вела к Трясине меж камней и сухих, сожженных листьев, - а слышал я одно предание. Вот тут, где мы едем, на этих холмах, остановился тот, кто помещивает ложкой землю, хотел сменить воду

горам, своим рыбкам, а Хуракан и спугнул холмы, которые Кабракан нес в ад продавать, спугнул их, как ос, и они с тех пор видны до самого моря.

- Видны, сеньор полковник...

- Холмы хотели вернуться в мешок к Кабракану. Холмы - это осы. Тянет их обратно. А ветер морской все дует, не пускает их. Овраги - это дырки в сотах, холмы испугались, взлетели, а дырки остались. Каждая оса одну дыру оставила.

Кони начальника и адъютанта двигали ушами смотря по тому, какие звуки шли от Трясины в тесноте холмов, в спиралях обрывов, где гулко отдавался ветер, шумевший в

соснах. Когда навстречу катились глухие, однообразные звуки, конь поднимал уши. Когда звуки ползли по земле восьмерками, конь плотно прижимал уши к голове. Когда птицы шумели в ветвях, мелькали во тьме, печально били крыльями, а всадники, ехавшие почти рядом, перекликались, словно их разделяла река, конь поднимал одно ухо и прижимал другое.

- Ско-олько я тут езд-и-ил, - кричал Мусус, - а все стра-а-ашно!

- Я страха не зна-а-аю! - кричал полковник. - Объ-а-ясни, что это та-ко-о-е! Объ-а-сни-и!

Лейтенант притворился, что не слышит, - ему не хотелось отвечать,

но дон Чало, обогнавший его немного, схватил его коня под уздцы и заорал, разевая пасть до самых глаз, так громко, что от усилий у него крик полился из носа.

- Обь-я-а-а-асни-и... мне-е-е...
е-е-е... обья-а-а-сни-сни-и-и!

- Сза-ади подпека-а-ает!

- А я думал спе-ре-е-ди!

- Как ко-о-гда-а-а-а!

- Что-о-о?

- Смотря-а-а куда-а-а беж-а-а-ать! Сзади под-пе-че-от, впере-ед бе-е-ги! Спере-е-ди - беги-и наза-а-ад!

- А с двух сто-ро-о-о-н - де-е-лай
в шта-н-ы-ы!

Полковник завершил свои вопли громовым хохотом. Звонкие сгустки

смеха не пробивали шума, только видно было, что лицо его стало смеющейся маской, и конь приоживился от ударов шпор, словно понял и тоже смеется. Он чуть не сбросил всадника. Тот еле усидел, упершись изо всех сил в стремяна, чтоб не свалиться, взнуздал расходившегося коня, выпрямился, как мог, и поехал дальше, не сдаваясь.

Лейтенант Мусус отстал. Он дышал тяжело, совсем побледнел, как его белые одежды, и глаза его испуганно глядели на все, что творилось вокруг: ураган разбушевался, луна стала сгустком крови, тучи неслись, звезды гасли,

как вымокли, от темного леса пахло конем.

- Кто я такой, в конце концов, - говорил он сам с собой. - Никто... А жаль так жизнь прожить. Все в седле, холодаешь, голодаешь, убить могут чуть что, и ничего у тебя нет, ничего своего. То туда, то сюда, разве тут бабу заведешь?... Такую бабу, чтобы всегда с тобой была и ты с ней... И детей не заведешь, и дома, и гитары... такой гитары, чтобы ты играл, а она звенела, будто тыква... и шелкового платка, белого, как сахар, чтобы новый пиджак надеть, а его на шею повязать и продеть в кольцо на самом кадыке... Сбежать, что ли?... Сбежал бы со всей охотой, если не

убьют... Жизнь потеряешь - не вернешь, не то что у ящерицы хвостик - оборвут его, а он снова вырастет. Не вернешь. Это тебе не должность.

Он и сам не слышал, что говорит, такой стоял шум, когда они спускались к Трясине.

Оба всадника были видны от пояса до макушки, ниже их скрывал кустарник, и походили они на фигурки страждущих душ. Гору заливал кровавый свет; может, и огонь чистилища - красный свет луны. Когда ветер утихал, словно вода кипела, кишели насекомые, жабы прыгали в лужах и грязи, резко трещали цикады, и треск их

неумолимо обрывался, когда враг распарывал им брюхо и пожирал их живьем во тьме, кипящей, как вода на огне, в которой отражались багровые отсветы луны, висевшей между горами и темно-синим небом.

Силуэт начальника пропадал в зарослях, потом возникал снова. Он исчезал и появлялся. Мусус не сводил с него глаз, глядел на него, где бы он ни появился. Он не смел ни отстать от Годоя, ни нагнать его и, если нагонял, придерживал коня, чтобы начальник, раздосадованный тем, что не приходит подкрепление, не сорвал на нем злобу.

Лицо у дона Чало не двигалось. Голубые глаза, отсвечивавшие

зеленым в лунном свете, твердо глядели вперед; челюсть прочно, как дверь, висела на петлях костей; усы упирались концами в уголки рта, а мозг думал. Полковник размышлял. Зачем ворошить былое? Но он ворошил его и ворошил. Легко сказать - сделал, и забудь. Как забудешь, если столько наделал? Когда касик Гаспар Илом выпил яд, индейцы не защищались: было темно, они лишились вождя, напали на них неожиданно, да и на пиру они напились. Полковник не хотел их убивать, он хотел напугать их. Но люди его посыпались на них, как сухие маисовые зерна. Всех перебили, до одного. Сделал - забудь.

Оно и лучше, что всех убили, а то касик бросился в реку, чтобы унять огонь в утробе, и вымыл весь яд. Чуть реку не выпил, мерзавец! А наутро явился, жив-здоров. Были бы и индейцы живы, он бы их повел, и отряду бы конец.

Деревья лились на густые, плотные кусты, красные под багровой, как ягоды, луной. Сильный, словно в степи, ветер вздувал пузыри на жнивье, и волны, перекатываясь через всадников, разбивались в водовороте трав и колючих кустарников и вздувались пеной низких облаков, окутавших тени горных смоковниц и вершины подпорок, голых среди множества

ветвей.

Кони трусили рысью, взметая копытами листву, а с деревьев, пугая их, падала, словно камни, всякая живность, шмякалась на землю, чтобы кинуться на них, сверкнув, как вода в кустах. Зверьки были тут - струился хвост, тело вилось водоворотом, сверкали зеленые искры, зверьки скакали с ветки на ветку и верещали на скаку, они играли, падали, мчались, ползли, карабкались, летели, бежали, прыгали.

Мусус срезал первый попавшийся под руку сук, чтобы подстегнуть буланого коня, который не понимал ни слов, ни шпор, когда

груз усталости прибывал его к земле и негустая тьма, тянувшаяся за ним, нагоняла на него сон.

Чем ближе была Трясина, тем больше буйствовал ветер. У лейтенанта шумело в ушах, словно он хины наелся. Ему мерещились ужасы. Перестук и громкий шорох сострясаемых ветром стволов и сучьев - пак-пак-шш-рр... - напоминали ему о том, как скотокрад несет на спине ружья, а через минуту в него же и стреляют, и он падает, словно тюк. Вот мерзость! Чертово дело - и у скотокрадов, и у тех, кто убивает людей, которые порядка не понимают. ^

Он почесал себе уши, чтобы не

слышать шума сучьев - ш-р-р-пак-пак... - и сухого перестука стволов - пак-пак-ш-р-р...

В руке у него остался только запах от ветки - она выскользнула, словно свеча, - и он решил сорвать лиану. Стараясь не уколоться, он потянул за лиану, раздвигая ветви дерева, и вода, дремавшая в листьях, посыпалась дождем на его плечи и шляпу. Он дернул, замахнулся лианой на коня, затрясся от холодных капель, и мысли ею обернулись словами.

- Кляча треклятая! - крикнул он.
- Не можешь без кнута! Ветер гнул деревья, земля рыдала и трещала, словно разбивался кувшин, листья сыпались с неба на плотный

кустарник, и даже седло, взъерошившись от страха, кололо лейтенанта шипами. При каждом порыве ветра, при каждой встряске - в Трясине земля и впрямь тряслась то и дело - Мусус сжимал коню бока кривыми от верховой езды ногами не только со страху, но и для того, чтобы почувствовать, как мерно движется живое существо, пробираясь сквозь заросли, нависшие кусками тьмы, будто рушились дома и горы. Когда становилось совсем уж плохо, ураган утихал, сжимался, даже ветер исчезал. Ветви не бушевали, как пламя, гибкие стволы понемногу расцеплялись, а тьма, черная, словно деготь, и все же разбавленная

багрянцем луны, горевшей, словно
огненный шар, становилась тише,
спокойней, светлее и легче. Угасли
верхушки деревьев, что-то
погромыхивало под землей, блестела
свинцом чистая вода, и груды
листьев шелестели на ветру, будто
стая саранчи, разрезающая воздух.

Мусус вконец растер зад о
раскаленное, как лепешка, седло, но
судорожно сжимал ногами коня и не
отводил глаз от полковника, а тот
исчезал из виду, откидываясь в седле,
чтобы разглядеть как следует
высокие окна меж сосновых
верхушек, в которые врывались
мощные струи сверкающего лунного
света. Луна побледнела, утратила

багрянец, лишилась крови.

Начальник, откинувшись в седле, глядел вверх, на тучи и на воздушные тени сосен, прорезанные вспышками волшебного света, а подчиненный следовал за ним, иногда задирая голову, чтобы глотнуть из небесных озер, из которых пил не отрываясь начальник. И оба не заметили, хотя прежде следили за дорогой, что заросли гуате рассыпались дождем стрекочущих насекомых и сменились коврами сосновых игл, белевшими в лунном свете, словно судоходные медовые реки; что голый склон окаймляют сосны, а в клетках из стволов снова бушует ветер и скачут

тени ветвей, словно звери, спасающиеся в испуге от кнута лиан.

Ночь была светла, как день. Склон был пуст, как зеркало. Каменистая земля дымилась кустами. Мелькали беличьи хвосты, словно взбитый в пену шоколад. Медленно, как лава, двигались кроты, которые до холодов роют землю и тычутся туда-сюда. Деревья обвивали огромные цветы, белые, как фарфор и как вата. Шишки свисали с сосен неподвижными птичьими тельцами, словно кто-то развесил по обету на сведенных судорогой сучьях окаменевших от страха птиц. Без устали стонала листва, гонимая ветром. Печалилась

холодная луна. Дорога исчезала меж клеток из стволов, устланных сухими иглами, и появлялась вновь, вся в норах и в пятнах света, лившегося на землю и на всадников сквозь ветви невысоких деревьев, как потревоженная вода. Кончились ковры из игл, снова пошли заросли и плотные, густые чащи, дорога в длинном туннеле еле виднелась, словно змеиная шкура.

Ощувив капли белого лунного света, конь затряс головой. Круглые дыры, холодные цветы шиповника - побольше и поменьше - зияли в губчатой полутьме шевелящегося и плотного навеса из ветвей. Конь обмел хвостом бока, отгоняя холод

света, и задрал свой короткий хвост, чтобы выпустить наружу воздух и навоз. Треск поднялся такой, что полковник захлопал глазами. В игре света и теней казалось, что лейтенант плетет паутину, как паук. Полковник почесал нос. Лейтенант заскрипел зубами. От света и тени у него снова зачесалось между пальцами.

- Зме-я-а-а Испанская! -
закричал лейтенант. - Если вы ше-лу-
ди-и-вый, пе-ре-кре-сти-и-те ее-о-оо!

- Верно, блес-ти-ит!

- Вро-оде бы да-а-а!

- Отпугни ее-о-о! О-ри-и-и!

- Га-дю-у-ка ты! Га-а-д-и-и-на-а!

- Все-о су-е-ве-е-рия!

- Может, и суеверия, - продолжал полковник потише, - может, оно и суеверия, Секундино Мусус, но это уж точно, что Испанская Змея портит скот, нагоняет вошь на детей, сбивает с пути женщин, глухих совсем лишает слуха, а тех, у кого чесотка, покроем волдырями, если не успеешь ее перекрестить.

Испанская Змея сверкала капельками света в россыпи черных точек. Капли лунного света сыпались на дно туннеля сквозь листья на согнутых ветвях, сотрясаемых ветром, и казалось, что кто-то извивается по земле. Узкая - одному коню пройти - дорога змеей ползла вниз меж белых камней в черных

полосках тени, которую отбрасывали повсюду гибкие остроконечные сосны, увенчанные холодным пучком веток.

Всадники закрыли глаза при первом же ударе. Они закрыли их от страха и сразу открыли как можно шире. Они чуть не выхватили мачете, чуть не стали стрелять, чуть не кинулись обратно - ведь и храбрый бежит, - но поняли вовремя, что по лицу их бьют просто тени сосен, и пригнулись, чтобы укрыться от хлещущих полос света. Лунные лучи, струясь меж стволов, отсвечивали от гладкой конской шерсти, и запятнанную мукой рубаху лейтенанта украсили черные

полоски. Всадники двигались вперед, а земля и воздух складывались в темные и светлые складки, и в их мерцании, словно кузнечики, прыгали колючки и камни.

В тени и не в тени, на свету и не на свету, двигаясь и не двигаясь, кони и всадники вспыхивали и гасли. Хлестнет по глазам свет, сменится тьмой - нету ее, и есть она - опять в упор выстрелит свет, и снова полоснет мрак.

А полковник не на танцы ехал. Он был не в духе. Он сердился, что подкрепления все нет. Начальник и подчиненный не заметили из-за луны, что заросли гуате сменились

землями Трясины; и теперь, сквозь сплетенную из света и тени ловушку, где кони походили на серебристых зебр, а лейтенант в белой одежде - на канатоходца или арестанта, они опять не заметили, что в нежной, прозрачной и мшистой полумгле кустарник сменяется деревьями, становится гуще и темней, словно вся жизнь его была переходом от света к непроглядной тьме.

Дальше, внизу, бушевал ветер, а тут, где еще брезжил свет, теснились толстые, пахучие кедры, сейбы. с которых от старости слетел белый пух, гуайяно и другие Ценные деревья. Они сходились все ближе, пока не слились в сплошную стену из

коры и жил, висящих в воздухе корней, старых пустых гнезд, губчатых Цветов, пыли, ветра и мрака. Когда свет исчез совсем, эта плотная, чуть шевелящаяся масса стала легкой и белой, усеянной прожилками дымкой, а дальше все только шумело, как разбушевавшееся море.

Не видно было ничего, но всадники двигались дальше, словно ода или пустота, над шумом срывающихся волн, под ливнем тяжелых листьев, земноводными птицами падавших на них. Ветка падала сверху, невысокое деревце ударяло по лицу, и они пугались, как будто их царапнула струя.

Полковник понукал коня, заглушая свист лейтенанта, который, собственно, не столько свистел, сколько дышал со свистом, как дышат, когда с трудом находят путь во тьме. Какой-то сук чуть не сорвал с Мусуса шляпу, и он, переведя дух, накричал на него:

- Ах ты, палка чертова! Шляпа ей нужна, так ее перетак!...

Ночью на кладбище светятся кости, но то, что подбиралось к ним сквозь дивную тьму, казалось скорее небесным светом, забытым здесь с начала времен. Они не знали, где светится первозданный хаос, и не узнали бы, если бы не увидели впереди дерева с дуб высотой,

усеянного тысячами сверкающих точек.

Мусус догнал Годоя, чтобы сказать ему: «Глядите, сеньор полковник, будто ворота из огненных червячков!», но в горле у него запершило, словно он проглотил гриб для штопки, и он сипло выговорил: «Гляие, начальник!»

На самом верху, прикинув к ветвям, самки манили возлюбленных, сверкающих глазом циклопа, размахивали фонариками, и тысячи огненных точек буравили бескрайнюю тьму. Самцы разжигали свою алмазную лампу, пыхтя, как пыхтит всегда распалившийся самец, и отправлялись в путь, словно

голубые струйки крови, отливающие жемчугом, вверх по стволу, по сучьям, ветвям, цветам и листьям. Когда самец, раздувая лампу пыльным дыханием, приближался к верхушке, самки снова и снова зажигали созревший светоч, приманивая жениха сверканьем мерцающей звезды, а после бракосочетания все гасло и от блеска оставалось только мутное пятно, осколок Млечного пути, дерево, возомнившее себя светилом.

Снова появилась луна. Всадники остановились на краю обрыва, над небольшой равниной величиной с площадь. Эта площадь была пуста. Розоватые скалы, покрытые легкой

пеленой воды и света, темные глыбы чуть колыхались, как таинственные пятна. В самом сердце Трясины, куда они продвигались по дороге, похожей на узкое, высохшее русло, их ждали и не такие тайны. В этой большой мерцающей чаше, словно по волшебству, затих шум ветра, так долго без устали сотрясавшего листья, и только камни позвякивали под копытами коней. Рожковые деревья кидались с их пути, взметая сухие листья, опутанные серой, как дым, паутиной, и шуршали на бегу, словно плыли посуху. По краям тропы, ведущей их вниз, к Трясине, виднелись свежие следы чьих-то когтей.

Мелькали тени, звенели камни, и можно было не кричать. Здесь, решили они, и надо остановиться, чтобы прочие всадники успели нагнать их и отряд целиком вошел в деревню Корраль де лос Транситос. А пока надо будет подкрепиться тем, что лежит в переметной суме: кофеем, перцем, водкой, - и дать отдохнуть уставшим вконец коням, которые исходят потом, если они не обретут внезапно прыти и не кинутся назад, оставив всадников ни с чем.

Недалеко - докинуть камнем - на дороге, прорезавшей Трясину, стоял гроб.

- Ах ты черт! - с трудом проговорил полковник, повернул

коня и погнал его вверх. Буланый скакал за ним, не повинуюсь всаднику, ибо лейтенант, обернувшись, пытался выстрелить в гроб. Достигнув края чаши, он и выстрелил бы из маузера, если бы полковник, приникший к коню, обратившемуся в смятенное страхом дыхание, не крикнул ему вовремя: «Не стреляй!» Сухие листья летели им в лицо, и после Трясины, где им казалось, что их раздели, как мертвых, эта шумная зеленая волна одела их, защитила, укрыла и успокоила. Метались стебли, визжали обезьяны с человеческими лицами, упруго прыгали зверьки, падали звезды с кровавой полоской

света, пища, как цыплята, заблудившиеся в небесах, плоды акаций срывались сверху, словно кончали самоубийством, не в силах вынести ударов ветра. Если, убегая от опасности, мы попадем в густую толпу, смешаемся с ней и ощутим вокруг тысячи движущихся жизней, мы успокоимся, как успокоились Годой и Мусус, когда из пустот Трясины вырвались в вихрь, сотрясавший и небо и землю.

- Да ты что, дурак?! - услышал лейтенант. - Они над мертвым сидят! - и не выстрелил.

Всадники неслись. Ветер закрывал им глаза, открывал рот, раздувал ноздри, холодил уши. Они

неслись, слившись с шеей коня, чтобы не мешать его бегу; да и как-то вернее, когда прижмешься к потному, живому, воняющему солью существу.

Остановились они на вершине, на самом верху склона, по которому, они помнили, так трудно было спускаться. Полковник развязал пропотевший шейный платок и обтер лицо.

Мусус зажмурился, чтобы не видеть мелькнувшую перед ним сову. Луна освещала ее крылья, пронизанные жилками, как шкурка банана. Все плохие приметы, подсказывало сердце: засохшие деревья, сова, гроб.

- Сеньор полковник!... - с

трудом произнес он; слова у него не шли, челюсти не двигались.

И Годой ответил ему, не шевеля губами:

- Сеньор полковник... да... теперь я тебе сеньор полковник...

- Разбойники над мертвым сидят...

- Да... теперь над мертвым сидят...

- А гроб у них пустой.

Хитры стали Раньше, заметь, у них кто-нибудь ложился на Циновку, и они даже четыре свечки зажигали? Теперь догадались - чего там, и гроб сойдет. Кто гроб увидит, дальше не двинется, и они смогут скотворованный гнать.

- Вы, сеньор полковник, застрелили одного, Аполикарио Ихолоя Он у них всегда мертвым притворялся - хворый был, скот воровать не мог.

- А ты его знал?

Мне порассказали. Как раз вы недавно одолели иломского касика, и положение было опасное. Если бы не ваша хватка, не ваша смелость, всем бы нам конец. Это же надо - явиться в горы к этому касику, которого охраняют желтые кролики, и перебить его людей, пока он в реке кишки полощет!... Я сам видел: от индейцев куски летели, когда отряд на них напал. Шесть лет прошло, а только о том и говорят.

- Седьмой год... - проговорил полковник. - Я считаю, потому что эти светляки, которых, кстати сказать, тоже изрубили, напророчили мне умереть, когда в седьмой раз выжгут землю. Значит, если им верить, в этом году я и сгорю. Начался год, чтоб им треснуть!

- Вы после Чихолоя никого не убили.

- Его я, помню, подстрелил незаметно с края дороги, из-за кустов, которые росли на склоне, а потом по этому склону и скатился вниз, чтобы дружки его мне не отомстили. Он, бедняга, лежал на козьей шкуре, из четырех свечей одна погасла. Я выстрелил поскорее, пока

другие три не погасли. Он сжался так это и умер.

- А наших все нет.

- Нечего их ждать. Но и без подкрепления возвращаться на дорогу глупо. Скотокрады - большие подлецы и хитры, заметь, очень хитры - опасность научила. От нее и глаз зорче, и слух тоньше, и ум все проникает, что ему надо и чего не надо.

- Да, эти разбойники - чистые львы, тигры они, змеи. Всюду пройдут, как ветер в зарослях.

За разговором они не заметили цокота подков и, увидев над собой темные силуэты всадников, онемели от страха. Они кинулись к коням,

которых привязали неподалеку, чтобы те освежили морду лесной влагой и утолили травой голод, и дернули так, что полковник вырвал с корнем куст, а лейтенант разорвал веревочную петлю.

Подкрепление прибыло. Семнадцать всадников, словно мукой припорошенных землей и лунным светом. Хорош всадник, ничего не скажешь! И в любви, и на войне - хорош.

Мысль эта пришла в голову начальнику отряда, полковнику Чало Годую, когда он принял командование, встал перед солдатами и приказал развернутым строем двинуться вперед на врага.

Солдаты поскакали вниз, им не терпелось схватиться с разбойниками. От холода и тоски лучше всего помогает веселая перестрелка. В Трясине что-то громыхало, они сгрудились и плотной массой* вылетели туда, где путь перекрывал гроб. Лунный свет очерчивал четко его грани и отсвечивал от страшного, простого, некрашеного дерева, окружая белые доски сияньем славы.

Часть отряда стала у входа в Трясину под началом лейтенанта Мусуса, чтобы на остальных не напали врасплох. Все вслушивались и вглядывались во тьму. У Мусуса даже во рту пересохло. Он хотел было

сплюнуть, как и подобает командиру перед рукопашной, но только выдохнул сухой воздух. И лейтенант, и его люди видели сверху, что творится внизу, словно глядели на арену боя быков. Полковник спешился, подошел к гробу в сопровождении солдат, готовых выстрелить по первому его знаку, и властно постучал по крышке дулом пистолета. Ответа не было. Ясно: гроб пустой, так полковник и говорил. Пустой. Снова хитрят, чтобы скот воровать. Из своих никого губить не хотят, а уж если притворятся мертвыми, умрут, хоть и живы.

Дон Чало снова постучал о

крышку, все так же властно, даже смелее. Ответа не было. Пусто. Он постучал еще раз, и снова ответа не получил.

Он зыркнул глазом, дернул головой, и солдаты мигом подняли крышку. Один начальник устоял на месте, все остальные отскочили и чуть не кинулись вспять. В гробу лежал человек в белом, лицо его было прикрыто плетеной шляпой. По спине полковника заструился холодный пот. Кто это может быть?

Кони и всадники отражались в розовато-желтых утесах, и казалось, что тени их черными кляксами впитались в камень.

Полковник приподнял плетеную

шляпу дулом пистолета. Луна ударила в лицо обитателю гроба; он открыл глаза и выскочил в испуге из своей утлой ладьи. Годой и тут не покинул поста, но отступил на шаг - все же он, словно небожитель, воскрешал мертвых. Не теряя времени, он прицелился, хотя и не знал в кого - в человека ли. Солдаты, завидев это, веером встали вокруг.

- Призрак ты или человек... - начал полковник.

- Носильщик я, сеньор, - слабым голосом отвечал индеец, окончательно просыпаясь и ощущая муки голода.

Узнав, что говорит не с одной из своих жертв, полковник

поуспокоился и твердо спросил:

- Что же ты несешь?

- Гроб в деревню.

- Правду говори, а то мозги выпущу!

- Да носильщик я, чего мне врать... Иду я в деревню Корраль Делос Транситос, несу гроб для лекаря, вчера там лекарь умер...

Солдаты потихоньку подходили ближе. Индеец со шляпой в руке, в белых штанах по колено и белой рубахе с рукавами по локоть походил на изваяние из камня и бронзы.

- Купил я гроб, иду себе, несу. А тут меня сон сморил, я и лег. Гроб есть, я и лег в него. А то звери разные бродят, пауки ползают...

- Все врешь! Скот воровать затеяли...

- Может, и затеяли, только мы с гробом ни при чем. Скотокрады индейцев не любят, мы для них трусы, псы...

- Вот они тебя в гроб и загнали. Им индеец не человек. Так что давай говори, где они, а то опять в гроб угодишь!

Дуло уперлось в ребра, проступавшие под белой рубахой, мытой холодом и светом. Индеец отступил к самому гробу.

- Говори! Что, по-нашему не понимаешь? Разучился?

- Я не могу гроб занять, он для лекаря. Если вы меня убьете,

похороните тут, только не в гробу, за это на том свете накажут. Если убьете, велите гроб отнести в деревню.

- А кто его примет, мертвец? - язвительно спросил полковник, не сомневаясь, что скотокрады нарочно подсунули этого индейца и он по их приказу морочит ему голову. В таких случаях полковник давал волю природной шутливости, чтобы вывести противника на чистую воду.

- Встретит, расцелует, спасибо скажет, что заказ ему привезли! Наверное, человек он бедный, больше не сумеет по мерке заказать! Тебе ведь мерку дали?

- Да, сеньор, а гроб примут те,

кто над покойником сидит.

- Гроб! Гробы бывают глянцевые, сверху - лак, внутри - шелк. А у тебя ящик сосновый. Кто же там у них сидит?

- Женщины.

- И мужчины, да?

- Женщин больше...

- А чего он умер? Убили?

- Старый был.

- Ладно, расстрелять мы тебя успеем, а пока поглядим, не врешь ли. Свяжем мы тебя, и пойдешь с моим адъютантом и еще с пятью людьми. Соврал - положат тебя в гроб, поставят к дереву и расстреляют. Останется в могилу бросить.

Индеец обрадовался, словно родился снова, подхватил гроб, вскинул его на спину и затрусил вперед, подальше от человека, у которого сверкают огнем голубые глаза. Солдаты двинулись за ним по скалистому краю кратера, а пятеро во главе с Мусусом направились в самую деревню. Впереди быстро шел индеец с завязанными зачем-то руками и гробом на спине. Вскоре все затерялись в шуме листьев.

IX

Мать шестерых братьев Текун измучили и труды и годы. Много

прожила она желтых лет, вымазанных кукурузной мукой, которую размешивали в воде, и белых лет, когда для напитка чилате толкла нежные, как детский ноготь, молодые зерна, и красных лет, пропитанных кровью мяса, которое она тушила с перцем, помидорами и рисом, и черных лет, прокопченных дымом, и все эти годы ломило шею, лился пот, набухал и сморщивался лоб под тяжестью корзины. Все давило на нее, все ее сгибало.

Годы и труды пригибают старикам голову, плечи, спину, а ноги у них подгибаются, словно они вот-вот упадут на колени перед тем, чему отдали столько сил.

Мать братьев Текун прижимала к животу темную, как головня, руку с тех пор, как сверчок чуть не довел ее до смерти. В другой руке она держала сейчас горящую сосновую ветку и маленькими змеиными глазками тщетно вглядывалась во влажную тьму. Жуя какие-то слова, она подошла к дверям. Она явственно слышала цокот копыт, а сыновей ее и внуков в деревне не было.

Вдруг ее окружили какие-то люди. Они подходили к дому, ведя на поводу коней. Босые, одеты кто во что, но все в ремнях и с оружием - значит, солдаты.

- Простите нас, сеньора, - сказал главный из них, Мусус, - где тут

живет доктор? У нас человек заболел, не вылечить его - не выживет.

Индийца с гробом они оставили поодаль, в темноте, под присмотром некоего Бенито Рамоса.

- Вот он, доктор, - проворчала старуха и поднесла свой факел, чтобы осветить комнату, где мертвый все так же лежал на полу, усыпанном для запаха цветами и кипарисовыми ветками.

Мусус, старавшийся подражать полковнику, как подражают хозяевам все холуи, подошел к мертвецу и ткнул его в пуп дулом пистолета. Рубаха поддернулась и показался втянутый стариковский живот.

- От чего же он умер? - спросил лейтенант, испугавшись, что и этот восстанет из мертвых.

- От старости, - ответила старуха. - Плохая болезнь, не вылечишь.

- Да и вы вроде больная...

- Все от старости, - повторила она, ступая вперед, но не поднося факела к телу, чтобы солдаты не увидели, как ободрал его Калистро о камни. Калистро был не в себе, теперь он здоровый. Олений Глаз помог. Да, повезло ему, как виски потеряли, так и вылечился. А главное, повезло, что он с братьями ушел еще до этих солдат. Не приведи господь, вздумается им крови попить...

Так размышляла сеньора Яка, глядя на прибывших и держа подальше от мертвого тела горящую ветку. Не приведи господь, разглядят, что он не умер, а убитый. Вот будет беда! Свяжут всех, уведут, слова не дадут сказать.

- Что ж, сами видите, - нетвердо проговорил Мусус, обращаясь к солдатам, и поскреб в голове, которая, несмотря на шляпу, напоминала волосатую тыкву. Ему было не по себе: расстреливать индейца не надо, а как хорошо полковник велел... Положить его в гроб, закрыть, поставить и... «Огонь!».

Индеец с гробом появился у

дома как раз тогда, когда пятеро солдат под началом лейтенанта выезжали из деревни в Трясину, к дону Чало Годую. Мусус успел напоследок поиграть в полковника и сказал, что гроб этот лекарю «как последняя помазка». Потом все пятеро вскочили на коней и поскакали, принявши от хозяйки только пригоршню майсовых сигар. Они даже не зажгли их, просто сунули в рот и сосали, кроме Бенито Рамоса, который договорился с чертом, что всякая сигара у него сразу сама и горит. Этот Бенито проглотил чертов волос - так договор и заключают - и совсем иссох, посерел, как пепел, а глаза у него

стали как угли. С чертом они порешили, что тот скажет ему, если изменит жена. Но то был обман, она с чертом и изменяла. Красивая у Рамоса жена: лицо белое, косы длинные, глаза как бобы, варенные в масле. Так бы ее и съел. Глаза особенно.

Всадники ехали гуськом сквозь шум листвы. Дорога шла круто вниз. Это хорошо - скоро будут на месте, успеют поспать. Ехали они во тьме, и шипастые ветки, скелеты непогребенных деревьев, которые не колышет ветер, царапали и хлестали всех, кроме Рамоса, чьи угольные глаза видели и ночью. Он ехал последним. Ехал он или нет? Он

всегда замыкал шествие, всегда был в хвосте. Иуда и то лучше, чем он.

Семена звезд рассыпались по небу. Лес растекался черным пятном внизу, под ногами всадников, скакавших среди бездн по извилистой дороге, соединявшей Корраль де лос Транситос и злополучную Трясину. Пыхтели кони, дул холодный предутренний ветер, были вдали койоты на лакомую луну, белки не щелкали, а хихикали, словно их щекотали, и ночные птицы гулко ударялись о грозно шумевшие кусты.

Всадники ехали по лесу. Луна расплзлась гниlostным светом по вздувшемуся небу, которое сочилось

каплями росы. Чтобы никто не заметил их, они ехали очень тихо, их как бы и не было - волосатых, зеленых, как мох, яично-желтых в свете луны. Кони шли медленно, словно увязая в тягучей резине усталости. Осторожно, как тараканы, двигались те, кто стал горше терпентина. Небо и то быстрее и тверже спускается по ступенькам сучьев в озерца жидкого света, осколками зеркал лежащие на камнях. Кони шли сами, головой вниз, хвостом кверху, по крутому, как стена, склону, и всадникам приходилось откинуться в седле, просто лечь на спину, так что шляпа касалась конского крупа. В воздухе,

расшевеленном шуршащим морем
зарослей и трепетавшем, словно
осиный рой, пахло сосновым
скипидаром. Казалось, что в душных
серных испарениях плавают злые
болезни, крики оскопленных зверей,
жабьи глаза. Голова у всадников
кружилась от крутизны и. усталости,
им хотелось спать, их одолевал
скипидарный запах, и ветер рубил
ножами листьев.

Вдруг они услышали слабый
запах паленого леса и вспомнили со
страхом, что еще в деревне говорил
им Бенито Рамос. Сказал он
немного, он вообще был неговорлив,
а может, не хотел пугать их. С
сатаной столкнуться полезно - все

наперед знаешь.

- Вот, ребята, Трясина, - говорил им в деревне Бенито Рамос, - Трясина эта - просто ловушка. Тут сходятся воронкой гладкие, как стекло, скалы. Хоть какой ветер ни дуй - там его нету. Может, оно и лучше, что он туда не лезет, а то бы овдовели и тучи, и поляны, и все урагановы жены, которым он семя дает. Прямо жутко: ветки густые хлещут, ветер свищет, а заглянешь в воронку - тихо, травинка не шелохнется. Всюду грохот - там тихо. Всюду буря - там мирно. Всюду ураганище - там хоть спи. Как будто палкой оглушили. Вы туда спускались, видели: воронка - это

пещера, только в небе, а не в земле. В подземных пещерах тьма черная, а там - голубая. Теперь слушайте и ничего не спрашивайте, сами знаете: что могу, то скажу. На дне воронки - полковник Годой с отрядом. Он курит. Ему хочется супу с портулаком. Он спрашивает, растет ли тут портулак. Ему отвечают, что суп варить опасно. Лучше поесть своих припасов, подогреешь - и готово. «Еще чего! - говорит полковник. - Огонь разводить не позволю. Съедем холодными, а портулак отвезем в деревню, завтра сварим». Это ничего, что он хочет портулаку. Плохо, что он его хочет там, где его нет, и сперва решает

варить, а потом сразу запрещает развести и маленький костер, чтобы подогреть кофе, свинину и лепешки, хотя они задубели от холода в переметных сумках. Портулак едят мертвецы. Это слабое зеленое пламя земли. Оно проникает в плоть тех, кто лег в землю на вечный сон, и питает их светом. Если кому, как вот полковнику, грозит опасность (ему ведь напророчили смерть, когда будут в седьмой раз выжигать землю), а он портулаку захочет - это не к добру. А пока у полковника с солдатами идет разговор, кони, которые поближе, прядут ушами, трясут хвостами, бьют копытом, словно скачут куда-то во сне. Животные убегают во сне от

опасности, но ума у них нет, одно чутье, и наяву они стоят на месте. И вот, пока идет разговор на дне воронки, вокруг полковника, солдат, коней и оружия складываются три круга, три венца смерти, три колеса без оси и без спиц. Первый, если считать изнутри, снизу, - это глаза филинов. Тысячи круглых, холодных, в упор глядящих глаз. Второй круг - это лица бестелесных колдунов. Тысячи лиц, прилепленных к воздуху, как луна к небу, без тела, без опоры, на весу. Третий круг, самый злой и самый дальний, - как бы кипящий кустарник, заросли исоте, ощерившиеся ножами, кровавыми в свете огня. Первый круг в упор

глядит на полковника, пригвождая его к месту, как пригвождают к пропахшей сукровицей доске шкуру оленя. Второй круг - колдуны: лица без тел глядят в щелки шатров из шкуры девственной лани и видят нелепое чучело с потрохами, словами, золотыми зубами и оружием. У них самих тела - светляки, поэтому они зимой кишат повсюду, сверкают, мерцают и гаснут. Они отсчитали Годую один - два - три - четыре года, пять лет, шесть лет, а седьмой вспыхнет пламенем золотого филина, которое выметнут тысячи филиновых глаз. Огонь этот - холодный, он все заморозит и сожжет холодом. Сперва люди Годоя

почувствуют, что у них чешутся уши. Они потрогают мочки, они их почешут. Не зная, как справиться с зудом, они запустят правую руку, в левое ухо, левую в правое и так застынут, скрестив руки, скребясь, ковыряя в ушах, чуть не отрывая их, пока те не замерзнут вконец и не отломятся, как стекло. Солдаты увидят, что у каждого хлещет с обеих сторон кровь, но это их не беспокоит - они будут обламывать веки, и голые, открытые глаза испепелит холодный огонь золотого филина. Обломав, словно пуп с волосами, остекленевшие веки, они примутся за губы, и обнажатся зерна маиса на красных початках. Только

полковник, пригвожденный к доске пристальным взглядом филинов, останется как был, с ушами, веками и губами. Пепел сигары и тот у него не упадет. Руки тьмы, потрясая ножами, вынудят его застрелиться. Пуля пробьет ему висок, полковник упадет на землю, другие темные руки поднимут его, посадят на коня и уменьшат понемногу и коня, и всадника до сахарной фигурки. А заросли, тесно сплотившись, будут потрясать ножами пожара, зажав их у рукоятки.

Лейтенант Мусус выехал на открытое место. Паленым пахло так сильно, что он остановился. Один из его людей крикнул:

- Эй, кто там ку-у-рит?

Подальше и поближе раздались хлопки - солдаты хлопали по одежде руками и шляпами, стараясь погасить искры. В вихре приторного воздуха гудели голоса: «Это не я...», «Не у меня...», «Не мы...», «Где-то впереди горит...», «У меня сигара была, да погасла...», «Разве тут сигарой подожжешь, мокро все...», «Вода бы огонь потушила...», «Может, из воздуха воды надоим...», «А я... мне бы спешиться по нужде...», «Искры не летают, а вонь идет...»

- От тебя от самого вонь пойдет!

- крикнул кто-то слыша, что конь остановился, а всадник оправляется

на земле.

Однако запах не лгал, в воздухе мелькнуло пламя. Где-то выжигали лес.

Всадники глухо переговаривались: «Знать бы, что там, внизу... Не дай бог, начальник прилег поспать, сигару за ухо заткнул, и загорелось... Нет, у них вроде бы дождь идет... Не дай бог, пожар под дождем... Вода разогреется, все спалит... Нет... Это ветер... Это листья... Ветер... Листья... Листья... Ветер...»

Сомнения кончились сразу. Люди взглянули друг на друга. Все были тут, вместе, потные, перепуганные, словно их била

лихорадка. Сверкнул, как стекло, свет. Сверкнули глаза у людей и у коней. Всадники кинулись вспять. Они неслись вверх так легко, будто катились вниз по склону, они летели мусором среди жара. Кусты ощерились багровыми лезвиями. Валил дым. Лилось пламя. Люди знали одно - надо спастись. Быть может, Мусус успел скомандовать: «Бе-ги-и!»

Бенито Рамос остался в зарослях. Пламя его не пугало. Не зря он сталкивался с чертом. Коня он отпустил, сорвав с него узду. Летучие мыши шлепались наземь, лишившись чувств от удушья. Олеки бежали, словно ими выстрелили из

сербатаны. Черные осы, от которых пахло горячей водкой, вылетали из муравейников-ульев пятнами темного навоза лежавших на земле.

Неподалеку, на холме, чьи-то тени смаковали огонь, поднимавшийся из кратера. Языки пламени, словно руки, хватались за стену воздуха, и кровь текла из них, будто на алтаре майсового поля приносили в жертву кур. Чьи-то тени в больших шляпах и в черных грубых рубахах курили сигары, острые, как кустарник, опираясь задом не о землю, а о пятки подогнутых ног. То были Калистро, Гауденсио, Руперто, Андрее и Росо Текун. Они курили и беседовали тихо, медленно, мерно.

- Гауденсио, - говорил Калистро, - видел Оленя Семи Полей. Тот позвал его из-под земли и попросил себя откопать. Он откопал, а Олень и сказал ему, как человек, как вот мы говорим, словами: «Гауденсио...» - и туп-туп-туп - левой задней ногой покрутил, будто землю копает.

- Так ли он говорил, не так ли, - продолжал Гауденсио, - а уж что было, то было. Откопал я его, где похоронил, и сел он на камень, как на стул. Сел он - и на сиденье и на спинке распустились цветы, кофейные с белым, и гусеницы выползли, одни с зелеными рожками и глазками, другие с красными, третьи с черными. Они глазами

блестели, а не двигались, так что под оленем, на сиденье и на спинке, был как будто мохнатый плюш. Сел он, ногу закинул, что твой алькальд, и улыбается. Улыбается, луна ему в рот светит, зубы у него белые, а не блестят. Ну, улыбается он, мигает, словно ему золотая мошка на левый глаз села, и говорит: «Знай, Гауденсио, что настал седьмой год и должен я опять воскреснуть, потому что у меня, как у кошки, семь жизней. Я один из светляков-колдунов, которые были с Иломом, когда отряд на него напал. Тогда я ожил первый раз, потом еще пять раз, а сейчас, на седьмой, ты меня убил, потому что у тебя хватило

терпения подстергать меня в тростнике и меткости, чтоб в меня попасть. Мне не жаль, что ты меня убил, я воскрес, чтобы пережить того, для кого тоже настал седьмой год...»

- Это значит... - воскликнули вместе Калистро, Андрее, Уперто и Росо, или Росендо, как звали его женщины. Мужчины звали его Росо, а женщины Росендо.

- Да, - осторожно подтвердил Гауденсио и прибавил, глядя, как огонь ползет по Трясине: - Замолчал Олень, почесал левое ухо, дал мне левую ногу и поскакал вниз. А скоро и огонь завиднелся.

- А ты его слева схватил, чтобы к

себе перетянуть...

- Потихе, братья, и глядите в оба. Тут скоро проедут, они там у матери спрашивали, умер лекарь или нет, - сухо и тихо сказал Росо Текун.

В ответ посыпались ружейные пули. Пять огнив чиркнули о кремьень - чик-чик-чик-чик-чик - и замолкли, глядя на тех, кто упал среди смертельных лезвий исоте и ладоней огня, истекающих кровью, будто на алтаре маисового поля приносили в жертву кур.

С коней попадали многие из тех, кто покидал Трясину, спасая шкуру, а люди Мусуса, мешаясь с ними, понеслись назад, не доехав до места, где сидели братья Текун. Раз уж

умирать, почему не помочь
отмщению, которое должно
свершиться на багровых дорогах,
перерезанных грубыми тенями
сосен?

МАРИЯ ТЕКУН

Х

С лианы языка, с мелких белых
зубов, с корня слез срывались крики:

- Мария Текууу-у-у-ун!

Мария Текууу-у-у-ун!

Голос постепенно оседал:

- Мария Те-ку-ун!

Мария Те-ку-ун!

Холмы присели под тяжестью
эха:

- Мария Те-ку-ун!

Мария Те-ку-ун!

И эхо оседало:

- Мария Те-ку-ун!

Мария Те-ку-ун!

- А чтоб его черти взяли! -
выкрикнула веснушчатая женщина с
длинными рыжими косами. Она
была высокая и худая. Трудно сказать,
из сердца или из сорочки вырвались
эти слова. Родились они в сердце, а
вышли через прореху в сорочке.
Совсем порвалась у нее одежда, в
животе сидел ребенок, на руках -
другой, дети цеплялись за легкие
юбки, а старшие погоняли быков,

запряженных в телегу. И она, и дети ушли от того, кто не нужен им, кто не может рубить дрова, таскать воду, поить скот, обирать соты и скопить котов. Они сложили в телегу все, что у них было. Мало, но кое-что было у них. Оставлять они не хотели ничего. Да и зачем, если тот, кому бы это досталось, все равно умрет?

- Мария Текууу-у-у-ун! Мария Текуууу-у-у-ун! - кричал, не переводя дыхания, Гойо Йик. Он устал, он больше не мог руками, ушами, нюхом искать, куда же ушли дети и жена. Слезы текли ручьем, словно медовая водица, по грязным щекам дорог.

Он кричал, он ярился, как младенец, он звал и звал, ничего не

видя и уже ничего не ощущая, и волосы его развевались по ветру. Уходя, беглецы нарочно говорили и смеялись в той стороне двора, словно идут в Писигуилито. На самом же деле они ушли в другую сторону, и недалек был тот час, когда с высоты плоскогорья они затаив дыхание увидят берег и услышат рев океана. Они ушли по каменистой дороге, которая летом была дорогой, а зимой - потоком. Вода спускается с гор к морю, чистая, добрая, сильная, как те люди, которые уходят из холодных краев работать на берегу. Смеются облака в вершинах сосен, обратившихся в птиц, потому что в них обитают и над ними летают

разноцветные птицы. Но и вода, и люди портятся там, у моря. Они плохо пахнут, их бьет лихорадка в длинных зарослях мангров, где так Душно и так дробится свет.

Гойо Йик прислушался снова, уже не дыша. Он задохнулся воздухом и теперь то еле вдыхал его, то не дышал совсем. Ему было очень страшно, что жены и детей нигде нет, но он еще слышал их. щепочки нервов еще короли ему то место, где бьется пульс. Что это? Листья? Птицы? Дождь? Землетрясение, сдвинувшее все на свете?

Падали деревья. Дети говорили ему, что самое меньшее из них - в три обхвата.

- Мария Теку-у-у-у-ун!

Мария Теку-у-у-у-ун!

Он вернулся домой, взывая к жене и детям. От крика у него ершило в горле Костлявыми руками он погладил дрожащие, хилые ноги. Который час? Гойо Йик умел определять время. Под слабыми, распухшими от клещей ступнями земля была холодная, и он прикинул, что уже вечер. В полдень земля печет, утром увлажняет, а в темноте - холодит, как шкура мертвых зверей.

- Пожалей меня, Мария Теку-у-у-у-ун! Не прячься ты, Мария Теку-у-у-у-ун! На что тебе это? На что это вам, сыночки? Сыно-о-о-о-о-чки! Бог вас, гадюк, накажет. Я устал

кричать, Мария Текун, Марии-и-и-и-и-ия Текун! Отвечайте, де-е-ети!... Де-е-е-е-е-ти! Сыно-о-чки... сыно-о-чки... сыно-о-о-о-о...

Крик перешел в прерывистый плач. Отсморкавшись и отмолчавшись, Гойо Йик закричал снова:

- Вы что, оглохли? Вы что, ка-а-а-а-мни? Я вас отпуска-а-ал? Мария Текун, если ты с кем сбежала, оставь дете-е-ей! Дет-е-ей отда-а-ай!

Он бил себя по лицу, рвал волосы к одежде и не в силах больше кричать сказал тихо:

- Ничего не оставила, переодеться не во что... Что ты сделала со мной, сучья дочь,

проклятая свинья? За все расплатишься! Головы Сакатонов порукой. Я нашел тебя ощупью под лежанкой. Из-за меня ты жива. Если б не я, ты умерла бы младенцем. Тебя бы съели муравьи, как падаль какую. Ты кричала, искала грудь и нашла, я так думаю, а то бы ты не замолчала. Потом ты опять заплакала, потому что вместо матери под тобой была холодная глыба. А как ты заорала, когда поползла выше! Я так думаю, ты хотела по глупости разбудить матушку, ты ее, наверное, часто будила, когда тебе хотелось есть. Ты искала, где нос, щеки, глаза, лоб, волосы, уши, и не нашла ничего - голову унесли Текуны. Ты меня

бросила, индейское ты отродье, а я тебя ощупью нашел, оживил тебя дыханием, как пламя, от которого осталась искра! От смерти вырвал, как ящерицу, которая лежит брюхом кверху!

От причитаний, как от храпа, у него щекотало в плоском, тронутом оспой носу.

- Олухом неотесанным ты меня называла, да, Мария Текун? А этот олух спас тебя из дома Сакатонов. Ты орала, у тебя живот болел, а он принес тебе травки из леса, и ты выблевала кровь, которой насосалась из тела с отрубленной головой. А потом неотесанный олух... ты ведь так меня называла, когда я не

слышал, Мария Текун? Олух выкормил тебя из свиного пузыря, он вешал пузырь себе на грудь, ты не брала ни бутылки, ни соски. Вешал пузырь, как женскую грудь, протыкал шипом дырочку, и ты пила козье молоко с водой, пока не засыпала.

Овраги дышали, и по их дыханию Гойо узнавал, что они рядом. Он шел осторожней и причитал, шел к дому, откуда выскочил довольно давно, оглашая воздух криками.

- Рядом с олухом ты выросла, и твоею рукою он сеял, змея ты индейская. Маис, бобы, тыкву, зелень, гискиль. Олух откармливал свиней. Олух просил милостыню на

ярмарках, чтобы изукрасить тебя бисером. Он покупал иголки и нитки, чтобы чинить твои платья. Он покупал скот. Ты подавала мне милостыню, когда мы ложились спать, и слепому олуху казалось, что он тебя видит, ощущая твое тело. Моя жизнь была в твоей власти, Мария Текун. Почему же ты не столкнула меня с обрыва? Что тебе стоило? Я бы ослеп совсем, я бы умер, не мешал бы тебе. То-то хорошо!

Дети еще затемно ходили в курятнике, тихо, как хищные зверьки. Они встали ни свет ни заря, а может, и не ложились. Зачем ложиться, если сразу вставать? Когда рассвело, волы уже были запряжены, хоть сейчас

погоняй, а поклажа громоздилась на галерейке и во дворе: жернов, глиняные круги, на которых пекут лепешки, пустой бочонок, котелки, пальцы с натянутыми на них полосками сырой кожи, циновки, гамак, куры, поросята, арканы, сети, упряжь, рогожи, чтоб укрываться от дождя, какая-то засохшая смесь в жестянке с загнутыми краями, мешок извести, черепица, ножи, дрова, камни и фигурки святых.

Телега закрипела на мощеном дворе, у черного хода, словно немазанные оси знали, что не, вернуться.

Войдя в кухню, Гойо Йик убедился, что семья сбежала.

Большим пальцем ноги, потом руками он хотел найти неровные камни очага, большие, словно каменный зоб. Они воплощали дом и семью, они были зобом земли-бабушки, они хранили верность пламени, котелку и кофейнику, их покрыл пепел, опалил огонь, украсила чешуей сажа. Камней не было. И крышу беглецы разобрали, над кухней висело небо. Гойо Йик понял, что наверху чего-то важного нет, ощутив на своих недужных плечах небесную тяжесть. Небо тяжелое, как вода в кувшине. Плечи его знали эту тяжесть; он уставал от нее, попрошайничая целыми днями, а то и затемно на дорогах, и

укрывался под своим кровом, под навесом, под деревом в пути, чтобы его не раздавило небо, воздух, тучи, звезды, птицы, о которых он знал лишь понаслышке, из разговоров и песен. Дети разобрали крышу над кухней и над частью дома. Утренний свет, который для него был теплом, лился в комнаты, лишенные кровли, вещей и обитателей.

Хорошо еще, что Гойо Йик не видел вырванных с корнем, растоптанных, раздавленных перцев, плодов чайоте со сморщенными листьями и пустого угла, где стоял прежде сундучок, куда он складывал все, что сыпалось в его протянутую руку под деревом амате, у изгиба

дороги, ведущей в Писигуилито. Гойо Йик протер спиной кору на этом дереве, он опирался о него, прося милостыню, когда не выходил прямо на дорогу, под открытое небо, где прохожим было его виднее, но мулы и волы могли его задавить. Летом он весь покрывался пылью, а первые зимние дожди омывали его, освежали, омолаживали, и понемногу он начинал чувствовать собственную плоть сыростью, от которой ломит кости. Ревматизм бродил по его телу, бродил всю зиму, ости ломило, сводило сухожилия, и к весне Гойо Йик почти что двинуться не мог от сырости и воды. Ствол дерева он протер спиной, а деньги он

собирал для тех, кого считал своими - своими, своими, своими, чтобы у них был кров, хлеб, одежда, волю и все нужное для работы.

Ночной воздух падал, как дождь, на лицо Гойо Йика. В горах ночной холодный воздух полон влаги. Деревья и дороги шуршали ветками под ветром, словно и они собрались бежать. Гойо Йик растянулся с трудом на мокрой траве, закрыл лицо шляпой и уснул.

Во тьме перемигивались светляки. К несчастью, Гойо Йик не видел огоньков цвета надежды, освещавших его лицо, рябое, сухое, бессмысленное, словно коровья лепешка.

Запела певчая птица и трелью унесла лес. Другая птица вернула его трелью на место. Первая защелкала, засвиристела и быстрее унесла его подальше. Вторая призвала на помощь дятлов и снова вернула его. Так птицы оспаривали друг у друга и лес и деревья, пока занималась заря.

Солнечный жар разбудил слепого. Большие шершавые камни, ресницы сухого леса, проползали вдали, а он ощущал их под пальцами. Он ощущал на ощупь все, что творилось вокруг. Внизу, в овраге, отдавались трели птиц, облепивших сейбу, которая росла на площади в Писигуилито. Деревьям трудно дышать, когда они растут недалеко от

оврагов. Справа он ощутил тропу. В кустах шуршали ящерицы. Травы запахли иначе, и он понял, что рядом - ручеек, за которым лежит большая дорога. Снова они с деревом встретятся, только сейчас он, Гойо Йик, тоже один, без семьи. Они не виделись сутки. Вчера дерево глядело на него цветами, таящимися в плодах, а он прозревал эти цветы слепыми глазами.

Первой милостыней был теплый червячок, оброненный птицей. Гойо Йик поднес ладонь к носу и выругался, унюхав, что это просто птица наделала. Наверное, подумал он, день пойдет плохо. Вытер ладонь о траву и протянул ее снова,

понемногу переползая от дерева к дороге.

Негромкий звон колокольчиков набил ему оскмину. Шел скот, и звук был такой, словно не в такт звенела о камень кирка. Поступь волов и голоса погонщиков рассказывали ему, в какую сторону они направляются. Он знал, с грузом они идут или без груза. Если волы и мулы ступали тяжело, копыта их вминались в землю, а погонщики хлестали их, крича и ругаясь. Если они шли порожняком, шаг у них был легкий, а погонщики не удерживали их и пересмеивались, перешучивались между собой. Всегда узнаешь, туда идет погонщик или обратно:

направляясь в деревню, он молчит, возвращаясь - шутит и поет.

Вереницы запряженных волами телег проходили по плоскому носу Гойо Йика. Тук-тук-тулук стучали колеса, брыкались упрямые волы, крики погонщиков отдавались гулким эхом: «Пошел-поше-ол!», и эхо подгоняло не только скот, но и облака, которые, как говорили слепому, похожи на больших белых волов.

Погонщики кричали, ругались, бичи с гитарным звоном опускались на мягкое воловье тело, а иногда и палки глухо били по черепу и по загривку, чтобы вол не торопился и не тянул телегу слишком сильно.

Проходили продавщицы лепешек с ребенком на руках и корзиной на голове. Под корзину они подстилали кусок ткани, а те, у кого ребенка не было, накидывали шаль на голову, и она, покрывая товар, занавесками спускалась им на уши и защищала от солнца. Кофты у них были пестрые, из-под бесчисленных подоткнутых юбок виднелись голые чистые ноги, едва касавшиеся на бегу земли. Гойо Йик узнавал этих женщин по мелкому, частому, неровному шагу. Они шли, словно лепешки ступнями лепили, и переводили дыхание, присвистнув так, как будто устали молоть на камне зерно и принялись работать помедленнее.

На обратном пути они не бежали - они ступали степенно и останавливались потолковать, как под вечер и подобает. Гойо Йик слушал их, замерев, чтобы не спугнуть и не прервать. Речь их была ему дороже милостыни, тем паче теперь, когда и дома, чтобы услышать человеческий голос, он должен был говорить сам. А когда сам говоришь, совсем иначе выходит: голос, конечно, человеческий, но звучит, как у безумца.

- Куда торопишься, Тереса?

- Все продала?

- Да. А ты как?

- И я тоже.

- Почему продавала?

- За один реал десять штук.

- Я вчера не из майса пекла - из вареного гискиля. И сеньора Ильдефонса продавала такие. А что ты ешь?

- Манго.

- Чего ж не угостишь?

- Как я тебя угощу, когда я одну штуку купила, да и та плохая? Да, слыхала, сеньор Гойо один остался как перст?

- Слыхала что-то. Жена у него ушла с детьми

- А больше ничего?

- К морю они пошли, туда и отправились.

- С чего это?

- Надоел он ей. Вечно брюхатая

ходила.

- Ревновал ее, надо полагать...

Все они, слепые, ревнуют.

- Верно. Если видишь - это уж не ревность, а правда.

- Она не с мужчиной сбежала.

- Да, одна, с детьми. Ничего, другого найдет, сеньор Гойо ее не поймает, куда ему, слепому.

- Уж кто слепой, тот слепой. Хорошая была женщина. Работящая, тихая. Измаялась она. Поистине - Мария, беленькая такая. Мария Текун. Лицо белое, косы рыжие.

Слепец моргал, моргал, моргал, не двигаясь с места, втянув голову в плечи, обливаясь холодным потом. Чтобы его заметили, он причитал

громче:

- Подайте, Христа ради, слепенькому! Подайте, кто милостив, ради божьей матери, и святых апостолов, и святых исповедников, и святых мучеников... - Но легкие шаги удалялись, шуршали накрахмаленные юбки, и он сжимал кулаки, он щипал себя, чтобы боль перешибла горе, и бормотал сквозь зубы: - Нарочно, свиньи такие, о ней говорят, когда меня видят... говорят, говорят, ничего у них не разберешь... суки... змеи... дуры набитые... гадины и распутницы...

Дорога не вмещала людей, направлявшихся на ярмарку. Толпа росла, как растет река в половодье, и, как выходит река из берегов, народ, идущий в Писигуилито, растекался по зарослям, вплоть до каменных стенок, под которыми растут цветы и деревья. Народ шел всю ночь и весь день, и непрерывный шум шагов убаюкивал слепца. Убаюкивали его и собственные причитания. Шли люди с гор, пропахшие шерстью, тополем и камнями. Шли люди с морского берега, пропахшие солью и потом. Шли люди с востока, со склонов, пропахшие сухим сыром, табаком, кислой мукой из юкки и сварившимся в шарики крахмалом.

Шли люди с севера, пропахшие мелким дождем, кипяченой водой и птичьей клеткой. Одни шли с неровных холмистых земель, которые выжигает торговец и вымывает зима, другие - с плоскогорий, третьи - с каменистой равнины, продолжающей бескрайнюю равнину моря, с жарких, плодовых, знойных полей, где только сеять и сеять, столько льет на них ливней. Но когда начинали хвалу Крови Христовой, все забывали, кто откуда, все пели вместе - и жители холодных краев, и жители теплых, и жители жарких, и тюфяки, и силачи, и те, кто в сандалиях, и те, кто в ботинках, и те, у кого деньги в кармане, и те, у кого

сума.

*Из божьего бока
рубином скатилась
и в небе высоко
вином засветилась.*

Гойо Йик покинул свое дерево, когда ярмарка еще не кончилась. В этот день он решил собрать побольше. К посоху он привязал платок с несколькими узелками: для мелких монет побольше, для крупных поменьше и совсем маленький для бумажек. Колени у него задубели, так долго он на них простоял; рука онемела и высохла, так долго он ее протягивал; язык не двигался, так много он кланчил, молил и бранил заодно бродячих

псов; худое лицо сплошь покрылось пылью. Он не стал ждать, пока его умоют первые дожди. Он покинул дерево, свой амвон, свою кафедру, прежде, чем капли, круглые и тяжелые, как серебряные монеты, упали на дорогу.

*Из божьего бока
рубином скатилась
и в небе высоко
вином засветилась.*

Тупыми ложками старческих ногтей Гойо Йик не мог развязать двойной узел, которым было затянуто пятое вздутие платка. Он чуть не порвал ветхую ткань, от грязи уподобившуюся кухонной тряпке, выругался, дернул узел зубами и,

СЛОВНО ОН ИХ ВЫПЛЮНУЛ, ПОСЛЕДНИЕ
МОНЕТКИ ПОСЫПАЛИСЬ В ШЛЯПУ,
КОТОРУЮ ОН ДЕРЖАЛ МЕЖДУ НОГ, СИДЯ У
БОЛЬШОГО КАМНЯ СПИНОЙ К ДОРОГЕ.
ДОЛГО СЧИТАЛ ОН И ПЕРЕСЧИТЫВАЛ.
БЫЛИ ТАМ МОНЕТКИ ПОМЕНЬШЕ, КАК
НОГОТЬ МИЗИНЦА, БЫЛИ СРЕДНИЕ, КАК
НОГОТЬ УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА, И
БОЛЬШИЕ, КАК НОГОТЬ БОЛЬШОГО.
НАКОНЕЦ ОН СОСЧИТАЛ ВСЕ И РЕШИЛ,
ЧТО НА ВИЗИТ К ВРАЧУ ЕМУ ХВАТИТ. ОН
ПОДЕЛИЛ МОНЕТЫ НА КУЧКИ, СНОВА
ЗАВЯЗАЛ ПЛАТОК УЗЛАМИ, ВСТАЛ И ПОШЕЛ
К СЕНЬОРУ ЧИГУИЧОНУ КУЛЕБРО. ПУТЬ
ОН УЗНАВАЛ ПО ПРИМЕТАМ: ВОТ КАМНИ,
ВОТ ДЕРЕВЬЯ С ТОЛСТЫМИ КОРНЯМИ, ВОТ
ЧЬИ-ТО УЧАСТКИ, ВОТ ПОВОРОТ, ЕЩЕ
ОДИН, ЕЩЕ И, НАКОНЕЦ, ПРОЧНЫЙ

старый мост.

Дом знахаря стоял у самого моста, но маленькое расстояние между ними слепой прошел хромая, потому что от моста к дому вел неровный склон, поросший кустами матасаны. Гойо Йик узнал их по запаху. Он нюхал, словно пес, чтобы убедиться, туда ли забрел, но он и вообще любил благоухание этих вкусных плодов. Убедившись, он прошел по мосту и очутился у дома.

- Ты видишь только цвет амате, а хочешь прозреть и увидеть все цветы. Врожденная слепота черна, как твоя неблагодарность, и горька, как неочищенный мед. Вечность ждет тебя под деревом, дающим тебе кров,

опору и тень, а ты возмечтал
прозреть и не видеть цветов,
скрытых в плоде и ведомых лишь
слепому...

- Не в том дело, - сказал Гойо
Йик, нелепо мотнув головой, чтобы
узнать, где именно стоит знахарь,
который говорил хрипло, так хрипло,
как еще никто не говорил, - не в том
дело, а ^благодарны почти что все,
иначе своего не добьешься, сеньор
Чигуичон. Очень, очень
неблагодарны, иначе своего не
достигнешь.

- Я всегда предлагал тебя
вылечить, если твоя слепота
излечима, а ты всегда боялся. Тебе
нравились не глаза, а эти толстые

черви, из которых сочится сыворотка. Посмотрим, можно ли еще тебе помочь. У болезней тоже свой срок, пропустишь - и лечить нельзя.

- Вы скажите цену, чтобы мне знать, хватит ли того, что я собрал на ярмарке. Деньги я принес... Только хватит ли...

- Тех, которые, как ты, видят лишь цветокamate, вылечить нелегко. Это не зуб выдернуть. Сперва надо узнать, куда движется луна, на которой похоронены кости святых угодников. Надо узнать, как движется ветер с пасеки - тихо, словно кот в кустах, или яростно и буйно. Если он тих - это хорошо, если буен - плохо, от ветра этого

воздух становится тяжелым и густым, как мед, а для лечения нужно, чтобы воздух был легок и ласков. И потом, я должен посмотреть, какой ты слепотой болен. Одни слепые от рождения, других ослепила черная колючка или червь, а человек и не заметит, как он входит в кровь и губит тебя потихоньку. Легче всего вылечить от бельма. Его снимаешь с глаза, словно тянешь волокно из осоки. Это и есть волокно, обмотавшее зрачок сразу, от холода, или медленно, понемногу. Чтобы вылечить от него, нужно крутить зрачок и крутить, пока все волокно не раскрутится. Боль страшная, словно перец сыплешь в

открытую рану.

- Я боли не боюсь, я на все согласен, только вылечите меня. Горько мне видеть один цветок амате, когда сердце живое и боль в нем хуже, чем от вашего лечения.

Сеньор Чигуичон Кулебро наклонился и стал считать деньги на жернове, который стоял на краю галерейки. На этом жернове он точил плотничьи инструменты и всегда считал на нем деньги, точил их, как говорил он то ли всерьез, то ли в шутку, чтобы они резали скаредным карман, а хитрым пальцы.

Гойо Йик, испещренный жилами, словно скроенный из старых листьев банана, в рваной

шляпе, из которой на самой макушке торчал, словно лишайник на дереве, клочок волос, поводил молочно-белыми зрачками, стараясь определить, где знахарь, и говорил:

- Вы скажете, я притворяюсь храбрым и вру, но это правда. Пусть меня хоть живьем сожгут, лишь бы мне прозреть и возрадоваться.

- Если кто слепой от природы, вылечить его можно, - продолжал пояснения знахарь. Сосчитав деньги, он трогал слепому глаза, прощупывал опухшие веки, чтобы узнать, где таится недуг. - Бельмо можно вылечить, и слепоту от простуды, и слепоту от холода...

Гойо Йик покорно терпел. Он

был рад, что попал в умелые руки, и, когда знахарь надавливал сильнее, не пугался, а благодарил его в душе, слушая при этом, как крепкие знахаревы зубы жуют и жуют белый кусок копалевой смолы, а язык перекатывает его от щеки к щеке. Слепому казалось, что сеньор Чигуичон связывает ниточкой слюны его набрякшие, словно зоб, глаза и шарик своей жвачки.

- Бельмо рано или поздно, - говорил знахарь, - наживают те, кто глядят-глядят и выбегут на улицу. Воздух им в лицо ударит, глаза дымкой затянутся. Лучше бы им зад застудить, там глаз нету, или пускай выходят пораньше, а то спешат

помочиться и не успеют лица прикрыть. А для твоего недуга, Гойо Йик, нужно вот что: разрезать бельмо ножом, залить глаза соком растения с синим стеблем, синими листьями, желтыми, как бабочкины крылья, цветами и колючими ягодами, которые так любят голуби.

- Значит, я тут останусь, - проговорил слепой, измученный осмотром, и тронул глаза кончиками пальцев, словно сказал им: «Я здесь, не бойтесь, этот сеньор вас полечит, вы станете лучше, чище станете».

- Да, оставайся тут, а хочешь поесть - спроси на кухне.

- Дай вам господь за вашу доброту...

И Гойо Йик расположился на соломе, среди собак, под мерные чавкающие звуки - знахарь жевал свою жвачку, и в ночной тишине казалось, что чавканье наполняет весь дом. За стеной стрекотали кузнечики, по полу бегали мыши, но никогда и ни во что так не вслушивался слепой, как в этот звук, размеренный, словно тиканье часов. Бывают солнечные часы, бывают песочные, бывают обычные. Знахарь был жвачными часами. Каждый раз, когда он смыкал зубы, приближалось выздоровление. Наслушавшись, Гойо Йик тоже начинал жевать, только не жвачку, а мысль. «Мария Текун, дурная, дур-р-ная, дур-р-ная... дурр-

на, дур-на, дур-на Мария Текун. Была бы со мной, не пришлось бы резать ножом глаза». Ему становилось страшно. Все же не шутка - резать глаз ножом. Он приподнялся. Он слышал, как и сердце его жует жвачку: «Дур-р-ная, дур-р-ная, дур-р-ная...» Солома благоухала ловкими руками, летним солнцем, копытами резвого коня. Где-то близко, над головой, за спиной, под рукой, у лица и колен, строгали и пилили доску. Может, сеньор Чигуичон Кулебро делал для него гроб. Может, он догадался, что слепой отдал ему не все деньги. Гойо Йик потрогал платок, перетянутый в нескольких местах и лежавший у него на животе,

словно кусок кишки. Умереть он не боялся, только бы живым не похоронили, только бы не лежать в земле, как плод амате, скрывая в сердце Цвет измены, черный цветок обиды. В своем отчаянии он думал, что, когда прозреет, рядом окажется Мария Текун. Лишь ее он и хотел увидеть сразу, видеть вечно. Что ему свет, вещи, люди перед той, кого он нашел среди убитых, вынянчил, вырастил, обрюхатил? Знахарь жевал, а не жевал - пилил, а не пилил - строгал. Слепого сморил сон, и ему приснилось, что рядом лежит Мария Сакатон. Она ведь, дурная изменница, Мария Сакатон, это он ее назвал Марией Текун, потому что

братья Текун отрубили у ее родни головы. Гойо Йик то спал, то не спал, и ему казалось, что под ним трепещущая от птиц тростниковая циновка, и птицы эти не птицы, а ласковые слова. Во сне он улыбался. Ему ли бояться гроба! В горах, у обрывов, на пустынных дорогах он призывал смерть с тех пор, как от него ушла с детьми Мария Текун

Знахарь разбудил его затемно и неслышно прошептал на ухо, о настлал на полу опилок и стружек, без которых не вытянешь влаги из утренней звезды. Потом он поднял слепого и повел его за руку.

- Мы в стране опилок и стружек,
- тихо шептал он, - а я тебе вместо

посоха. Надо убить зрелый плод перца, растерзать его, разорвать. Твоих шагов не услышат, и посох твой ступает без звука. Плюнешь - плевка не слышно, словно плюнул в пропасть. Куда же мы идем? Куда мы идем, ступая без звука по краю пропасти?

Гойо Йик слышал, что небо трепещет, словно птица, а в паху и вокруг сосков странно засвербило, будто пот разъедал его смелость, как разъедает металл кислота.

- Идем, - тихо говорил знахарь, мягко подталкивая слепого, - идем за ножом, который очистит глаза Гойо Йика, и за растением, чьими листьями, как зелеными островами,

я прикрою его очищенные глаза, и за ласточкиными каплями, чтобы смочить ему веки, и за папоротниковым корнем, и за лесным маком - они нам тоже понадобятся. Мы кланяемся до земли, - знахарь согнул слепого, чтобы тот поклонился, - и головы наши касаются доброй земли, и мы не видим страны опилок и стружек, потому что мы слепы, и лбы наши становятся шершавыми, как холка у коня. Руки наши скачут, как щенята, - говорил он торжественно и хрипло, щекоча слепого, - играют, радуются, ибо тьма, ощерясь косточками арбуза, покидает дом.

Знахарь помолчал - зубы его до

самой десны впивались в клейкую мякоть, выходили из нее, вонзались снова, выходили все быстрее, освобождались, веселели. Те, кто жуют копаль, не жуют, а скачут, бегут вприпрыжку.

- Нас обманули! Где луна? Только мухи жужжат в доме чернозубого арбуза. Мухи жалят, мухи летают, мухи говорят: прилежные пальцы этих двух мужчин копают, роют, сгребают облако опилок и стружек, а стружки и опилки играют и дрожат под их шумным, как выстрел, дыханием.

Знахарь подхватил тощее тело слепого. Гойо Йик дрожал, как слепая стрела на тетиве судьбы.

Знахарь приподнял его, отпустил, чтобы его тело рухнуло наземь, и принялся с ним бороться, хрипло выкликая:

- Мы враги, мы боремся, как те, кто крушат друг друга в I крепостях и башнях! Мы темны, птица унесла свет и нам оставила тьму, чтобы мы ждали во мраке, когда вернутся воинства сна, разбитые в дальних битвах. Мавр дал нам ятаган, смазанный пчелиным медом, христианин дал нам шпагу, смазанную медом молитвы, турок отрезал себе уши и поплыл на них по морям умирать в Константинополь.

Знахарь боролся, слепой стонал, не зная, лечение это или драка.

- Го-го-го! - хрипло кричал знахарь. - Дождь рождается старым и плачет, как младенец. Дождь - старый ребенок. Луна рождается слепой и сияет, чтобы нас увидеть, но не видит нас. Луна рождается с ноготь, и ногтем этим снимает с глаз бельма тени, как снимает их нож с глаз Гойо Йика.

Окончивши обряд, Кулебро опустил слепого на верстак и стал говорить, что привязывает его лианами. Бурая лиана не даст извиваться от боли; пятнистая лиана не даст разорвать веревки, хотя страдание, когда возьмет за горло, и удесятеряет силы; влажная зеленая лиана, тонкая, словно паутинка, не

даст проглотить язык, а еще одна лиана - вместо материнской пуповины. Эти ненастоящие лианы легки, тела не режут, а веревки, которыми знахарь прикрутил его к верстаку, причиняли немалую боль. Рассказывая о волшебных лианах, знахарь накидывал веревочные петли на грудь слепого, на руки, ноги, а потом затянул его так, что он двинуться не мог и лежал неподвижно, пока ему ножом резали глаза.

Приступая к лечению, знахарь разложил поближе с полдюжины острых, как нож, растений-ланцетов. Он полоснул по бельму и подул на глаз, чтобы не так пекло. Гойо Йик,

беспомощный, как зверек в капкане, глухо рычал и от боли, и от тоски по той, кого он некогда звал Магшей Текун, а теперь окрестил Дурная.

От боли Гойо Йик напустил лужу. Знахарь нанес второй разрез. Лезвие проникло в плоть, прорезало сознание, и намученное тело уже не могло унять дрожи. Зубы у слепого стучали, дыхание остановилось.

На сей раз Кулебро нажал ножом сильнее. Слепой мяукал, словно кот, обжегший лапы. Он выпрямился, напрягся от волос и до пяток. Руки и ноги, опутанные горячей дрожащей веревкой, стали как колья, на которых растягивают сети. Из носа пошла кровь. Он ощутил ее запах,

втянул ее и чуть не задохнулся. В носу чесалось, но он не мог чихнуть. В горле першило, но он не мог кашлянуть. Он проглотил слюну, чтобы хоть немного смочить застрявший в горле комок.

Нанеся третий разрез, знахарь сказал уже не так сурово:

- Облако сдвинулось, словно пенка, когда ее сдуваешь с молока. Сейчас, не теряя времени, мы намотаем его на шип. Потерпи еще немного - самое плохое миновало.

И с ловкостью хирурга, стал накручивать на шип белые пленки, покрывшие глаза Гойо Йика. Пальцы его казались больше и грубее, так тонка была работа. Шутка ли - снять

облако со слепого глаза! Обнажив левый глаз, знахарь тут же прикрыл его зеленым листком, и принялся скатывать молочную шкурку с правого. Потом быстро и споро снял листок, закапал в оба глаза ласточкины капли, снова прикрыл листьями ободранные глаза и Умело обмотал лицо свежими длинными полосками коры, так что голова стала шаром величиной со средний сыр.

Он развязал веревки, и больной глухо застонал. Гойо Йик лежал без сознания. Чигуичон осторожно поднял его, перенес в самую темную комнату, опустил на лежанку - плоскую, без подушки - и укрыл

двумя, нет, тремя пончо, чтобы не простыл. На завтра можно будет дать лекарство, если поднимется жар...

- Дурная она... ох, дурная...

Гойо Йик приходил в себя. Его мутило от боли и знобило от жара. На третий день знахарь дал ему слабительной травки и подложил под голову охапку дурмана, чтобы он уснул (сон - лучший лекарь), но и спящего поил отваром гуарумо - поддерживал сердце. От травки Йику полегчало, а то он наглотался крови и она колом стояла в кишках. Оставалось еще дать на седьмой день другой травки, которая зовется огненным цветом, и поить понемногу настоем страстоцвета,

который сбивает жар и нагоняет сон.

- Дур-р-ная, дур-р-ная... -
только и сказал Гойо Йик. Он и не
сказал, он подумал, и слово это
перекатывалось у него во рту, на
зубах, которые до скул и подбородка
пронзала боль, если воздух касался
живого мяса глаз. Когда становилось
невмоготу, он рвал циновку ногтями.

На девятый день он встал. Его
поднял знахарь. Бинтов уже не было,
но из комнаты он не вышел. Для
таких больных свет опаснее ножа.
Четверо суток он провел в темноте.
Лишь на тринадцатый день Чигуичон
вывел его под вечер на галерейку. В
свете заходящего солнца он стоял там
- испуганный, несчастный, длинный,

словно хлыст, - и глядел, как влажно поблескивают предметы, которых он раньше не знал и счел теперь очень красивыми.

Слепой посмотрел на Чигуичона. Раньше знахарь своим громким голосом напоминал ему водопад, у которого они когда-то побывали с Марией Текун. Он смотрел на Чигуичона и никак не мог отделить его облик от звука падающей со скал воды. Знахарь был не человек, а грохот вод, его воспринимал не глаз, а ухо. Гойо Йик знал, что всегда будет ощущать его как шум.

Знахарь оставил его одного, чтобы он приучился пользоваться

глазами, и не таращил их, глядя на разные предметы, и не протягивал вперед руку их потрогать. Звону струй, срывающихся со скал, вторило теперь еще что-то, прозрачнее и тоньше, чем шум воды, хранившейся в чашечках ушей, водный шелк, беззвучно трепетавший перед ним, когда он затыкал уши. Две веточки слез снова ослепили его. Он плакал, и сердце его разрывалось от благодарности. Гойо Йик протянул руку, чтобы коснуться скамейки, убедиться, что она и вправду здесь, и сесть на нее. Слепым он так не делал, вещей не трогал, а сейчас хоть и видел их, тянул к ним руку, потому что точно знал, где они. Слепым он

ловил свиней в крапиве и среди колючих изгородей, не обжигаясь и ни разу не порвав одежды. На перила галереи опустился дрозд, прямо напротив скамейки, на которой без всякого дела сидел и выздоравливал Йик. Птичка, похожая на упавший листик, постояла, подпрыгнула трижды и скрылась. Она была маленькая, пугливая, темная, и словно заряженное электричеством кофейное зернышко. Гойо Йик не мог на нее наглядеться и знал, что его очищенные от кожуры глаза всегда будут жадно на все глядеть. Он радостно и глубоко вздохнул, он был благодарен, что оконца его лица даруют ему новую жизнь. Теперь он

видит и скелет вещей, и плоть их, всю красу мира. Он стал смотреть на деревья. Прежде они были для него твердыми внизу и мягкими вверху. Такими они и оказались. Твердой части, которую он раньше трогал, а сейчас видел, очень подходил темный, бурый, кофейный цвет; он назвал его плотным и понял, что цвет этот как-то связан с твердостью ствола. Мягкой верхушке - кроне и листьям - подходил как нельзя лучше зеленый цвет, и светлый, и густой, и голубоватый. Раньше это мягкое было звуком, он даже не хотел его коснуться; сейчас он видел его, и оно было легким и зеленым. Коснуться его он не мог, и прекрасными

оказались не только звук, но и форма и краски.

Когда он вышел из дому в первый раз, он направился к мосту. Там он закрыл глаза и открыл, глядя на воду, попискивающую, словно мыши, среди камней, похожих на руки, сучащие нити струй. Буйные клубки струй ударялись о берег и пенились, как слюна, которой знахарь смачивал свою вязкую жвачку. Вода уходила под каменный мост, и опоры его, быки, напрягались изо всех своих сил, чтобы его не снесло. Быки в ярме моста. Гойо Йик не видел, как движется вода - она текла незаметно, словно время. Чигуичон объяснил ему, что время

всегда при нас и потому мы не замечаем его течения.

Знахарь принес в огромной горсти цветочки фуксии. На мощной, как у борца, ладони особенно хрупкими казались эти нежные растения, похожие на серьги, одни - с пурпурной чашечкой и двойным белым венчиком, другие - с синей чашечкой и розовым венчиком, третьи - сплошь лиловые. Знахарь глядел на них, как ювелир или чеканщик, и недоуменно мотал головой. Он не мог понять, зачем жизнь творит красоту. Для чего создает она эти прекрасные цветы, которые носит в ушах сама Дева Мария? Маис растет человеку в

пищу, трава - в пищу коням и скоту, плоды - для птиц, а фуксии - просто украшения, живые чашечки, которые мудрейший из художников покрыл простыми и нежными красками. Так и умрешь, жуя копаль, а загадки не разгадаешь. Когда что-нибудь делаешь, хочется, чтобы тебя хвалили, но природа растит свои фуксии там, где их никто не видит. Если человек создаст крошечные чашечки, искусно украсит их нежным барельефом и никому не покажет, его сочтут себялюбивым безумцем, да и сам он, не слыша похвал своему Умению, опечалится, что трудился втуне. И Чигуичон Кулебро печалился, что втуне

пропадает, такая красота.

Знахарь не окликнул Гойо Йика - пусть глядит с моста, как текут воды, порхают бабочки, пробегают зайцы, гоняясь друг за Другом, а иногда молнией промелькнет олень. Былой слепец глядел словно во сне, ни о чем не помышляя, он как бы двигался назад по дороге, но вдруг наткнулся на что-то невидимое, очнулся, кинулся к перилам, схватился за них, как хватался прежде, и лицо его посерело. Спотыкаясь о камни и кусты, об мост, о стволы деревьев, обо все, он побежал вприпрыжку к дому знахаря.

- Опять ослеп или с ума сошел! - решил Чигуичон Кулебро, поджидая

на галерейке. И ослепнуть и сойти с ума Гойо Йик мог вполне. Некоторые болезни особенно опасны, когда больной выздоравливает. От неразумия вообще не вылечить, а Гойо Йик неразумен. Угрозами и мольбами его удалось удержать в доме после того, как поистине чудом к нему вернулось зрение. Он порывался уйти, а куда ему идти и зачем? Когда снимут бельмо, нужна большая осторожность, резкий свет и порыв ветра могут навсегда вернуть слепоту. А сойти с ума он мог и от боли. Чтобы этого не случилось, Чигуичон давал ему попить чемерицы.

Гойо Йик не добежал до

лесенки, ведущей на галерею, он рухнул и покатился, как неживой, по небольшому склону, спускавшемуся от ступенек к дороге. Сейчас он походил на чучело с открытыми чистыми безумными стеклянными глазами. Знахарь кинулся к нему, не понимая, в чем дело, и наклонился над ним как раз тогда, когда он собирался вонзить острые ногти в новорожденные зрачки, еще благоухающие светом и утренней росой. Чигуичон схватил его за руки, и пальцы, словно щупальца скорпиона, остались торчать среди жидких волос. Гойо Йик сжимал зубы, кусал губы, жесткие, словно солонина. Глаза оказались

ненужными. Он не знал Марии Текун, она была для него цветком амате, он видел ее в плоде своей любви, в своих детях, а зрячими глазами цветка не увидишь, его разглядит лишь тот, кто видит изнутри, а не снаружи. И цветок, и плод - там, за бельмом, в дорогой сердцу тьме, где живут звуки, кровь, пот, слюна, где содрогаются хребет, перехватывает дух, когда тронешь волосы или круглую, как плод лимона, грудь; где рождается ребенок, вылетая ракетой из чрева, где полнится молоком корб женской груди; где раздается первый плач, когда заболит животик, или поднимется от сглаза жар, или

помажут перцем сосок, чтобы отвадить от сосания; где шевелятся зверюшки из перьев, которыми пугаешь ребенка, когда он не ест лепешку и не пьет отвара из бобов, черных, как сама жизнь. Гойо Йик не вышел из пропитанной плачем темноты, пока все слезы не вытекли и не захотелось пить.

Знахарь убедил его в том, что он легко найдет Марию, потому что всегда узнавал ее по голосу.

- Уж ее голос ты от всех голосов отличишь...

- Может, и так, - не совсем уверенно отвечал былой слепец.

- Услышишь и узнаешь. А она тебя не узнает, хоть ты ей клянишь,

ведь теперь ты зрячий.

- Дай вам за все господь...

Когда Гойо Йик уходил от знахаря, не только сеньор Чигуичон Кулебро, жующий белейшими зубами белейший копаль, но и река под мостом, к которой он так стремился и забыл ее, покинув, и порывистый, изменчивый ветер, и мулы, и волы, и колеса телег, и голоса всадников в зарослях, повторяли ему на ухо: «Услышишь и узнаешь... узнаешь... узнаешь...»

XII

На паперти женщины

пригибались, чтобы накинуть шаль на растрепанные ветром волосы, а мужчины выплевывали окурок кукурузной сигары и снимали шляпу, плоскую, как остывшая лепешка. Все они замерзли, заледенели. А в храме было жарко от огней. И мужчины, и женщины держали по пучку свечек в закапанных воском и потом пальцах. Другие свечи - сотня ли, две ли - горели у ног, на полу, на островках кипарисовых веток и лепестков чореке. Свечи были самые разные: от огромных, родовитых, на которых умещались и узор из фольги, и обет на булабочке, до крошечных; от дорогих, украшенных жестью и камедью, до грошовых. Горели свечи

и на алтаре, среди сосновых веток и
листьев пакайи. Над всеми этими
знаками благоговения высился
зеленый деревянный крест с алыми
пятнами, изображающими
драгоценную кровь, и на его
поперечный брус было накинута,
провисая посередине, белое
полотнище, тоже запятнанное
кровью. Темнолицые, как дерево,
люди неподвижно стояли перед ним,
и мольбы их, шипя, словно щелок,
устремлялись к символу страдания.

- ...очень тебя прошу,
животворящий крест, - и
молитвенница крестилась сразу
обеими руками, - очень прошу,
сделай мне милость, разведи их

добром, а то я злом разведу, не терплю я этого зятя. Лучше пускай дочка овдовеет, только бы им не жить!

- ...забрал он, мерзавец, мою землю, она мне от отца Досталась, и я тебя прошу, святой крест, накажи ты его, пускай сам умрет, а то я убью, не пожалею. Сам видишь, крест, что будет, если ты его добром не убереешь!

- ...все у нас пересохло, все ручьи, нет воды, в других местах лучше, и змей там меньше, и сглазу, и болезней. Помоги перебраться туда, богом прошу, а я на тот год схожу к тебе паломником! Не приду - накажи, только дай отсюда

перебраться!

- ...лучше бы умер младенчик, святой ты крест, все одно его Не вылечишь, совсем ослабел, как слепая курица, как черный клей, в чем только душа держится, лежит - не двинется, лекарства не пьет.

Они глядели на крест, покрытый водой, покрытый лавой, Морским песком, петушиной кровью, маисовым шелком, и он был Для них полезным другом, работающим помощником, который Пособит в пугіі и во всех делах, справится и с бурей, и с бесом, и с громом, и с ураганом, и с мором, и со смертью. Мольбы их словно щелок, и даже пахли кислым щелоком, язык онемел,

колени затекли, кисти рук покрылись белой оспой капель, глаза стали как черные маленькие ягоды.

Стучали подошвы обутых, плакали младенцы в белых полотнищах, подвешенных за спиною у индианок, звенели колокола. Крестный ход двигался, как бы хромая: качались носилки с крестом, окруженные истинным роем мужчин, детей и женщин.

Крест двигался, церковь стояла недвижно, церковный двор и небо над ним покачивались в такт звону. Процессия миновала вспаханные поля, изгороди, с которых свисали мохнатые, как борода, цветы, чьи-то хозяйства, свернувшиеся червяками,

белые, крытые черепицей домики, и вышла на бурую площадь, где росла над водоемом старая сейба и расположилась ярмарка: шалаши из кипарисовых веток, плетеные навесы на трех шестах, пестрые полотнища, натянутые на самые крепкие тростины и вздутые ветром, словно шар.

Гойо Йик вошел в храм Креста Господня, заливаясь слезами. На колени он встать не смог, он споткнулся и упал ничком. Те, кто остались сторожить свечи, громко засмеялись.

- Какого цвета слезы? - кричал он, лежа на полу, и отвечал сам себе рыдая: - Белые, как водка!

Староста в синем пиджаке с шестью рядами пуговиц и два его помощника в рубашках, плащах и брюках, не дожидаясь помощи от местных властей, выволокли Гойо Йика на паперть, где он и залег, словно мусор, постепенно покрывающийся мухами.

Женщины возвращались в церковь или проходили по дороге, и от звука их голосов он вздрагивал, стонал, протягивал руки, поджимал ноги. Он искал Марию Текун, но в глубине души он уже не искал ее. Он ее потерял. Чтобы услышать побольше женщин и узнать ее по голосу, он стал коробейником и обошел множество дорог, городов и

ярмарок.

- Купи зеркальце, красotka! Гребеночки! Мыло! Духи для самых душистых! Альбомы, нитки, ленты, жемчужные сережки! Браслеты, платки, карандаши, открытки для влюбленных, иголки, булавки, расчески, флакончики с цветочным одеколоном! Бери, налетай, лишнего не сдеру!...

Женщины, стрекоча и торгуясь, рылись в его товаре и наконец выбирали что-нибудь или просили принести в другой раз. Если наведается сюда, не захватит ли пуговиц, блесток, шелка? Одной нужны круглые пальцы, другой книжка, где советы влюбленным,

третьей - ох, стыдно, не скажу! - приворотное зелье, которое накрепко привяжет друга... денег не жаль... и открыточку с любовным приветом и с именем, чтобы не забыл... Мария... Маргарита... Луиса... Кармен...

Пожилых его товары не привлекали, и он, чтобы они подали голос, сулил им четки, молитвы, скляночки со святой водой, гребни, черные накидки, мазь от ревматизма, пилюли от запора, шарики нафталина одежду пересыпать, камфару, бальзам от кашля, самые лучшие капли от зубной боли, китовый ус...

- Мария Текун была дурная женщина, - говорил он, шагая по

дорогам. Его пустячный товар лежал в большом лотке, который он то носил за спиной на пропотелой холщовой ленте, обшитой кожей, то передвигал вперед.

Возвращаясь запоздно с базаров и ярмарок на деревенский постоянный двор, он глядел на свою тень, длинную, как стручок, и на тень от короба, торчавшего где-то у пупа. Все это вместе напоминало огромную двуутробку. В свете луны он из человека, мужчины превращался в самку двуутробки, которая носит детенышей на животе.

В одну из светлых, как день, ночей он встал под капель белого света, сочащуюся из ран порубленной

лунной коры, под вязкий свет, который колдуны и знахари варят и дают попить тем, кто хочет сна и забвения. Свет, белый копаль, таинственный брат резиновой черной тени. Человек-двуутробка, облитый лунным светом, прыгал, и вместе с ним прыгала черная тень.

- Двуутробка, друг
коробейников, поведи меня по самым кривым путям или по самым прямым, туда, где сейчас Мария Текун с моими детьми! Мы, люди, носим детей в сумке, как ты, и лица их не знаем, смеха не слышим, говорить не учим, пока они там сидят, полматери займут, а потом она их извергает, выбрасывает наружу и

выходят они сюда, в горячую шерсть и холодную влагу, совсем такие, как ты, мохнатые, визжащие, темные. Помоги, двуутробка, лотошнику Гойо Йику, чтобы он поскорее узнал свою Марию Текун по голосу и по смеху, звонкому, как колокольчик!

Гойо Йик, забредший туда, где водой не утолить жажду, а плоть с превеликой болью прилипает к костям, перевернулся на паперти. Солнце пекло, он вспотел, и пот мешался с пьяными слезами, которыми плачут люди, напившиеся оттого, что им не забыть превратностей жизни. Церковь заперли, женские голоса умолкли, а он все лежал, бессмысленно бормоча

и шевеля руками. На ярмарках все останавливались перед его навесом, полотнищем на четырех тростинах, не только ради заманчивого товара, но и ради того, чтобы поглазеть на зверька, прятавшего при виде людей острую мордочку. «Что за зверь такой?» - спрашивали дети и женщины, больше все женщины, в притворном испуге тараща черные глаза, удивленно смеялись и не смели его тронуть, хотя и протягивали руку. Что ни говори, а страшно, да и противно - очень уж похож на большую крысу.

Гойо Йику только и надо было слышать сразу побольше Женских голосов - а что, как один окажется

тот самый? - и при этом не торговать. Быть может, потому, что торговал он не для наживы, он с каждым днем выручал все больше.

- Это двуутробка, - объяснял он.

- Я подобрал ее на дороге, она приносит мне счастье, и я ее ношу с собой. И в дождь, и в бурю, и в грозу мы с ней неразлучны.

- А как ее зовут?

- Это самец. Зовут его Двуутробец.

И тогда самые смелые трогали зверька, приговаривая: «Двуутробец! Двуутробчик!», а он не давался, пугался, щетинился. Женщины вздрагивали и принимались рыться в товаре.

Гойо Йик бродил по ярмаркам, и все - одетые в пончо жители гор, торгующие сетями и седлами; индейцы в белом, кукурузные чучела, торгующие ручными мельницами, сбивалками и котелками; другие индейцы, темные, как деготь, торгующие плодами ачиоте, луком, чесноком, семечками; и еще другие, зеленые, хилые, торгующие хлебом в плетеных сетках, цукатами, грейпфрутами, кусками кокоса, коврижками с анисом, - все знали его под именем Двуутробца.

- А я не сержусь, на деток тем более. Я - Двуутрорец, ты - Двуутробочка... - ласково приговаривал он, поглаживал ее,

приманивал, и женщина согласилась с ним пойти. Глина, лес, озерцо, из которого тучи пили воду... Женщина была с ним до утра, и он от нее не отрывался, разве что на такое расстояние, что можно бы просунуть нож. После ухода Марии Текун его как запечатали, только ею он жил, и вот - он с другой женщиной! Радости он не испытывал, только плоть его, усталая шкура, разрывалась между Марией, которая жила внутри, и какой-то чужачкой, которая была снаружи. Он - и с женщиной... Все не то, главное - запах не тот. Блестящие тонкие волосы Марии Текун пахли сосновыми ветками в очаге, груди ее, словно тыквенные

миски, были во всю ширину его груди, ноги крепкие, живот впалый. Он чувствовал внутри себя запах Марии Текун, а вне его, под ним, в бесконечной, звездной ночи пахла чем-то своим чужая женщина. Гойо Йик закрыл глаза и уперся руками ей в грудь, чтобы приласкать ее, встать и уйти. Женщина как будто зубами закрипела, костями закрипела, потянулась, сжалась, и по лицу ее потекли слезы и раскаяния, и наслаждения. Гойо Йик стал пробираться в темноте - не то во мраке, не то в земле, насыпанной за утлыми ярмарочными постройками. Небо шевелилось. Ему нравилось, что небо ходит, как часы. Гремели

маримбы, пели гитары, хрипло
выкликали продавцы бульварных
книжек: «Петух Петра-апостола»!
«Морская русалка»! «Сам себя
языком прикончил»! «Сам себя
ужалил»! «Женский портрет»!
«Трехцветное знамя»! Гойо Йик
миновал всякие игры - и шары, и
лотерея, и колесо фортуны, будто
магнит, притягивали людей - и
добрался наконец до своего шалаша,
где под семью замками хранились
его фальшивые сокровища. Он
бросил монетку тому, кто любезно за
ними присматривал, и сразу сунул
руку в мешок, где оставил
двуутробку. Все же погладишь ее - и
не так совестно. В мешке было пусто.

Кончики пальцев не уткнулись в мохнатую спинку, и по руке как будто пробежал ток. Зверек исчез. Гойо Йик помял мешок, ничего не нащупал, швырнул пустое местилище на свой короб и застыл. Цветок амате, обратившийся в двуутробку, оставил по себе пустой плод, он сбежал, чтобы тот, кто видел женщину, не видел ни его, ни Марию Текун. Любимую не видишь, она - цветок амате. ведомый только слепым, цветок слепцов, цветок ослепленных любовью, ослепленных верой, ослепленных жизнью. Гойо Йик рывком снял шляпу. Тут какая-то тайна, подумал он и чиркнул спичкой, чтобы увидеть двуутробьи

следы. Они были тут - неглубокие, легкие, но были. Он стер их левой рукой, пыль осталась на пальцах и на ладони, и он провел рукой по лицу, по языку, вонючему от чужих поцелуев, и закрыл глаза, тщетно пытаясь найти ту, кого уже не встретит ни наяву, ни в темном гробу, сделанном по его мерке, в темном гробу своих закрытых глаз.

- Эй, Двухутробец! Расхотелось тебе - так дай мне что-нибудь!

Гойо Йик услышал этот голос в печальной тишине уснувших ярмарок и, больше ничего не ожидая, схватил свой короб, направился туда, где виднелось под простыней женское тело, поймавшее его в ловушку, и

кинул в него весь большой, застекленный ящик. Темная тень, похожая на кофейное пятно, выскользнула из-под простыни, стекло брызнуло во все стороны, и вниз посыпались зеркала, бусы, серьги, браслеты, дешевые духи, четки, наперстки, иголки, булавки, вязальные крючки, мыльца, гребни, гребенки, развертывающиеся на лету мотки лент, платки и распятия...

Бежать, поскорей бежать... Он тоже двуутробка. От вечного хождения по горам он уменьшился, сжался. Хуже другое: от одиночества он тронулся в уме и беседовал с Марией Текун - хоть она и дурная, все же дома она разговаривала с ним.

Когда он натыкался на цветущее деревце, она протягивала ему дрожащую Руку. Ты с ума сошел, тревожно думал он, но, скрываясь от всех, шел дальше и дальше. Он видел, как струится вода, и подставлял Щеку, потому что пена была похожа на смех той, дурной. Душа мелеет, когда не видишь людей, не видишь собак... Собаки похожи на людей. Гойо Йик ел все, что можно разжевать и проглотить. Крепкие корни, напоминающие вкусом сырую картошку, и плоды, поклеванные птицами - значит, яду в них нет, мясистые листья, покусанные белками веточки,

Гойо Йик так долго был слепым,

что учуял селение издалека. Он и сам не объяснил бы, как это у него выходит. То, чего не видел глаз, чуяли ноздри. Вот почему, отбродив немало, стосковавшись по людям и по горячей пище, он попал на праздник Креста Господня, пристроившись к хвосту медленно ковылявшего обоза. Вскоре он очутился между последней телегой и целой толпой Ряженных, которых позвали на праздник. Одеты они были пестро, Все в желтом, зеленом, черном, красном, играли на разных инструментах, весело щелкали бичами и плясали.

Гойо Йик, исхудавший так, что от него остались только череп. лаза и

волосы, с детским вниманием глядел на них. Те, у кого на голове красовались перья, были королями; волосы и борода - серебряные, веки - золотые, толстые масочные губы тоже покрыты серебром. Короны были и у других, а у третьих голову венчали огромные шляпы, прямо корзины с бумажными цветами. Пуще всех плясал и прыгал, передразнивая зрителей, кто-то ряженный бесом или обезьяной. Был он в черном, с рогами, с хвостом, глаза обведены красными кругами, губы красные, зубы белые, истинно - шут.

Двуутробец слез с телеги, чтобы пройтись пешком, и смешался с

шумной и пыльной толпой тех, кто были для селения глашатаями храмового праздника. Гости вошли в задние ворота, и за ними сразу потянулись дети - от самого большого, с рогаткой или другим орудием зла в руке, до ревущего младенца, и женщины - от девиц, украшенных лентами, словно телки, до ворчливых старух с седыми колкими волосами и лицами, морщинистыми, как сухая земля.

В большом чистом дворе, где пахло мокрой землей, водой и закатом, люди расселись под деревьями (почти все плоды были зелены, как листья, лишь некоторые пожелтели) и под печальными,

сонными кустами. На столах ждали стаканы с оршадом, от которого сладостно пахло миндалем; коричная вода благоухала так нежно, что окованные железом сосуды казались хрупкими, словно стрекозиные крылья, а прохладительный напиток из магнолий издавал кисло-сладкий, пронзительный запах. Рядом со стаканами лежали пироги с черными бобами, хлеб с сыром, хлеб с зеленью, хлеб с маринованными овощами, хлеб с рыбой, а над маисовыми лепешками с перцем летали мухи, которых неспешно отгоняла большеглазая продавщица с длинным темным лицом.

Братство торговало всю под

звуки праздничной музыки, и на других столах стояли другие напитки. В одном из них лежали на дне черные семечки, и когда продавщица, похожая на Марию Текун, встряхивала стакан, они поднимались, кружась, словно кто-то хотел наглядно показать образование миров. Была там и яркая, как знамя, и сладкая, как мед, фруктовая вода; была и настойка, в которой плавали длинные волокна и черные семечки.

В глубине сверкала огромная ниша алтаря, разукрашенная внутри и снаружи ветками сосны и кипариса, листьями, лианами, цветами, похожими на птиц, и неспелыми плодами. На помосте,

прикрытом алым шелком с оборкой, стоял хозяин праздника - святой и животворящий крест. Перед ним, в подсвечниках или прямо на плитах пола (только это братство пол у жертвенника вымостило плитами) стояли желтые свечи, украшенные тонкой лиловой бумагой и кусочками приклеенной ватками золотой фольги, и другие свечи, поменьше, до самых маленьких, сальных, которые, однако, горели таким же ярким огнем. За небесным кругом свеч, подобных языкам ангельским, за струйками дыма возвышался сам жертвенник - стол, покрытый крахмальной скатертью. На него паломники и члены братства клали

цветы, плоды, кур, горную дичь, голубей, початки, бобы и прочие жертвоприношения. В центре красовался поднос для денег, а другой поднос, поменьше, был на столе, стоящем справа, среди длинношеих и пузатых бутылок. Лимонные корочки, вишни и еще какие-то ягоды плавали в хрустальном мире, где прозрачной, смеющейся ящеркой уснула водка.

Маримба ждала шести часов вечера. Гойо Йик, глядевший на все печальными глазами двуутробки, помогал раздувать огонь для ракет и шутил под высоким деревом с узловатыми корнями. Он размахивал шляпой, и головни то и дело меняли

цвет. Огонь напоминал ему Марию Текун. Жар пламени в ее очаге. Гойо Йик быстро махал шляпой, и каждый уголек звенел, как бубенчик, а когда шляпа останавливалась, горящие дрова покрывались чешуей пепла, которая легче воздуха: махнешь снова чуть-чуть - она и взлетит, покидая в очаге кровоточащие обрубки деревьев. - Мария Текун - дурная женщина...

Гойо Йик перестал раздувать огонь и думал о своем, пока не пришли те, кто должны были пускать шутихи. Все они были без шляп, с чистыми ногами, в новых ярких рубахах, в шелковых платках на шее и со значками - крестиками побольше

и поменьше в белых и лиловых розетках, смотря по тому, распорядитель ты праздника или простой член братства.

Почуяв приближение торжеств, птицы взлетели с ближних деревьев, а во двор вошли те, кто должны были пустить ракеты и шутихи, когда соберутся все гости, испуганно заржут кони и зазвонят колокола.

Колокола зазвонили скоро. Перезвон поднялся в бескрайней, сладостной, настороженной тишине, когда предвечерний час пролился на густо-алые горы и запылали облака.

Вторя перезвону, из темных рук одна за другой вырвались шутихи, разрезая чистый воздух щекочущим,

душным смрадом, и звездами разлетелись над домами, или, не долетевши, - над оградами и на земле. Мальчишки, стрелявшие в первый раз, пускали тем временем в небо холостые снаряды. Кто половчей, Ухитрялся, как только снаряд войдет в мортиру, поджечь головней фитиль, длинный, как мышинный хвост, - и в уже усыпанном звездами небе раздавался яростный грохот, а потом долю не Умолкало хриплое эхо.

Вечер погрузил в темное озеро и крест, и даже горы, оплетенные кострами. Гойо Йик замерз, как двуутробка, но все еще раздувал огонь своей рваной шляпой. Он хотел

что-нибудь Делать, хотя шутихи уже пустили и в головнях никто не нуждался.

От грохота и шума, царившего тут в шесть часов, остались лишь звуки маримбы. По ней барабанили, как по дереву, с которого сбивают плоды, или по хребту непокорного мула, или по телу жены, норовящей сбежать, или по спине мужчины, когда власти хотят отнять у него достоинство и честь. У Гойо Йика не осталось ни чести, ни достоинства, он уже не был ни человеком, ни мужчиной. Он стал двуутробкой, даже не двуутробцем, потому что носил детей в сумке души. Мария Текун погубила его навеки. А еще

хуже погубил знахарь, сменивший
ему человеческие глаза на
двуутробьи.

Праздник Креста Господня!
Крест воздвигают ради огней,
призывающих воду, которую хранят
зоркие глаза деревьев. Ради крестьян,
покидающих в этот день свою землю,
чтобы влезть, как на мачту, на его
раскинутые руки и под окропленным
кровью парусом воззвать к богу. Ради
тех, кто во дворах и на улице
разожжет костры из мусора и
зеленых ветвей и возмечтает, что у их
ног - сверкающая звезда. Толстые
свечи сражаются пред тобою
золотыми мечами пламени, ведь ты
как битва, в тебе скрестились две

судьбы, божья и человеческая, под крики
смертных врагов, шум бури и
материнский плач. Святой и
животворящий, 10Н1ЛИ скорее воду,
прогони ястребов, чертящих в небе
темные кресты! Радость ждет того,
кто придет к тебе а твой день, в твой
час, в твою минуту! Олени в лесах и
те поднимают ушки - ведь охотники
приносят тебе лучшую добычу.
Деревья знают, что лучшие плоды
пойдут тебе на украшение, когда
люди снова будут справлять день
крестной жертвы, и стараются,
напрягая ствол, чтобы сок стал слаще
меда, а черножалые осы помогают
им, поддавая жару укусами, словно
жены-чудотворицы. Святой

животворящий крест, сочетавшийся с Христом в годину смерти! Когда настанет твой праздник, люди хотят вырваться из зла, припасть к тебе, то ли в объятии, то ли в схватке, лишиться плоти, стать чучелом, на страх клюющим маис голубям!

Тьма, перемешанная с зелеными листьями, обложила селение. Перед святым крестом, в украшенной ветвями нише, плясали под маримбу члены братства, так весело, словно их миновала большая напасть. Чтобы не испугаться снова, они то и дело подходили к столу пропустить глоточек. Нальют из бутылки, выпьют стопочку - буль-буль-буль-буль-буль - и положат - звяк-звяк-звяк

- монету на поднос. И сами подкрепились, и поклонились кресту.

Наступила полночь. Во дворе и вокруг него сонно топтались лошади и мулы, светились огни костров, на которых грели пищу, горели сосновые факелы на столах с угощением и напитками, а люди - родственники и знакомые, - словно призраки в плащах, бесшумно ступали босыми ногами, смеясь так тихо, что смех застывал у них на лице, подобно шраму.

Гойо Йик попил кофе и помог какой-то женщине снять с головы корзину с овощами и птицей. Она с благодарностью поглядела на него. Лицо у нее было бледное от

усталости, глаза темные, волосы почти вытер валик, который подкладывают под ношу. Едва переводя дух, она проговорила: «Дай вам боже...», так неслышно, что Гойо Йик не разобрал, какой у нее голос. Вместе они донесли корзину до холма, и Гойо коснулся ее руки, чтобы она заговорила снова. Он весь обмяк от ожидания, но она пробормотала: «Дай вам бог...», и чары рассеялись. Нет, это не Мария Текун. А какой голос похожий... Он потерся спиной о столб, а женщина исчезла в темноте. Потом он слышал, как она присела помочиться, но и тут как узнаешь: мочатся все одинаково. Отблески пламени золотили его

худое, темное, изменившееся от странствий лицо. В темноте в одетом паутиной воздухе курили пастухи. Чиркали кремни, летели искры, тлели кончики кукурузных и плетеных сигар. Гойо Йик покурил с пастухами, выпил и напился. Ему дали бутылку хлебнуть, а он высосал всю. Почти всю, на дне немножко осталось.

- Что забыть-то хочешь, если водку так пьешь? - спросил его пастух, похожий лицом на старую сандалию.

- С горя двуутробкой станешь... - отвечал Йик; водка уже играла в его крови, и в глазах, и в движениях.

- Теперь не остановится... -

сказал другой пастух.

- Верно, - сказал третий.

Однако Гойо больше пить не стал, проплясал и пробродил где-то всю ночь, а утром упал ничком в церкви, и его выволокли на паперть.

Там он и провалялся весь день, то слушая проходящих женщин, то не слыша ничего, а к вечеру, мучимый жаждой, как-то встал. Ноги у него дрожали, но он доплелся до водоема и попил воды, воняющей птичьим пометом. Что ни пей, только бы очухаться.

К нему подошел крестьянин ростом повыше его.

- Ну, - сказал он, - сегодня и двинемся. Как договорились -

половину дам я, половину - ты, и все доходы пополам. Выйти надо пораньше, чтобы времени хватило.

Гойо Йик искал свой платок с деньгами и не нашел...

- Не ищи, вот он, я его взял. Идем, значит, только выпьем кофею на дорогу.

Человек двинулся к столу, а за ним, как побитый, двуутробкой трусил Гойо Йик. От кофе стало полегче, и Гойо заметил, что его спутник несет за спиной бутыль. К полудню они спустились по тропке воды выпить, а когда снова вышли на дорогу, спутник сказал:

- Теперь неси ты.

Гойо Йик перебросил за спину

бутыль и пошел вперед. Бутыль была пустая. Припомнив снова о каком-то договоре, он захотел спросить, как зовут его нового друга, и спросил.

- Паскуаль Револорио. Забыл ты, значит, наш разговор. Ты же меня обнимал и все твердил, что надо нам сложиться, купить водки и продавать ее в этом селении. Дело стоящее, если мы пообещаемся никому не давать даром ни глоточка - ни другу, ни твоим родным, ни моим. Хочешь выпить - плати! Деньги нам, водку вам. И сами не будем даром пить. Хочешь хлебнуть - плати мне. Я захочу - плачу тебе, хоть мы с тобой и компаньоны.

Часа в четыре, повинуюсь

уговору все делить поровну, Паскуаль Револорио взял у Гойо бутыль и нес ее до деревни, где по старым рецептам гнали в глиняных сосудах превосходную водку. С утра у компаньонов во рту был только кипяток с перцем, и теперь первым делом они решили поесть. Надо взять лепешек, сыру, бобов, выпить кофе и немного спиртного. Они вошли через конюшню на постоянный двор, где пахло мясной похлебкой. Паскуаль Револорио договорился с хозяйкой, и они поели, прошлись по деревне, а потом легли спать. Гойо Йик вспоминал, что ищет жену, лишь тогда, когда слышал женский голос. В последнее время он мало о ней

думал. Думал, конечно, но не так, и не потому, что смирился с потерей, а просто... не думалось. Ах ты, двуутробья душа, двуутробьи глаза!... Он трусил. Труслив человек... Теперь, думая о ней и слыша женский голос, он не вздрагивал и не мучился, словно уже разбогател и набрался сил. К чему ее искать, если он обрел зрение, если прозрела его двуутробья душа? Он был немолод, горе душило все меньше, он спал в чужих краях с чужими бабами, он обошел коробейником все прибрежные деревни и села, лицо у него пожелтело от водки, подслащавшей горечь утраты, и понемногу он становился все

меньше, пока совсем не исчез. Телом он был, а душой исчез. Он делал все словно по принуждению, без вкуса, без цели, а хуже всего стало, когда он совсем потерял надежду найти жену и детей. Иная печаль - как кров; его печаль была как непогода. Он поджал ноги, свернулся и проспал до утра.

- Проснулся, кум?... - приветствовал его Паскуаль и попросил дать денег на закупку товара.

Он назвал его кумом. Они называли друг друга кумовьями. Так пошло, так оно и осталось. Кумовья. Только ни один не знал, кто из них отец младенцу-бутыли, а кто крестный.

- Не хватит, потом доплачу, -
сказал Двуутробец, почесывая брови.
- Считай поскорей, идти надо, а то
жара в пути застанет. Я тебе все дал,
больше ничего у меня нет.

- Все правильно, кум, бери все
деньги, я подсчитал: нам надо водки
на восемьдесят шесть песо. В бутылки
нашей поместится двадцать бутылок.
Жаль, больше не взяли...

На постоялом дворе погонщики
поили и седлали мулов и грузили на
них муку в белых мешках и сахар в
тюках из заморской холстины.

Гойо Йик нес деньги, а его кум
шел сзади и говорил среди прочего
так:

- Значит, платим мы пополам...

Бутыль полную несем по очереди...
Полвыручки - тебе, полвыручки -
мне... Все пополам, дай нам боже.

- Как же... ну, как же... как же
еще!... - отвечал Гойо Йик, когда кум
ждал ответа. - А главное, уговор:
никому даром не давать - ни нам, ни
другим. Разве что по стопочке
пропустим бесплатно.

- Иначе дела не сделаешь. Был у
меня кабак, я его пропил. Новый
завел - друзья пропили. Я теперь
ученый.

- Как же, кум! А что еще хорошо,
мы туда к ним придем, когда они всю
водку выпьют. Обделаем дельце, ни
глотка даром...

- Затратим восемьдесят шесть

монет, а выручим не меньше тысячи с хвостиком...

- Это уж точно...

- И хватит тебе на любовь. Любишь ты эту любовь, кум, а где ее найдешь без денег? Говорят, с милым рай в шалаше, и все врут. Любовь к деньгам льнет, а где у бедного деньги? Бедному любить - мучиться, богатому - люби, не хочу!

- А с чего ты взял, кум, что я люблю кого-то?

- Ты всех женщин слушаешь. Кого ни встретишь, остановишься и слушаешь.

- Я тебе говорил, я одну женщину ищу, а видеть ее не видел, слышал только. Вот и надеюсь по

голосу отыскать. Надежда - штука живучая, как ты ее ни убивай.

- А не найдешь, кум, забудешь, другую найдем. Или, скажем, найдешь, а она с другим - на что она тебе тогда?

- Типун тебе на язык! Да ладно, пускай с другим, только бы, упаси господь, по дурной дорожке не пошла, детям пример не подавала. Чего со мной только не было! То как будто щекочет внутри, хочу детей повидать, какие они стали. То душит меня и тянет куда-то, словно ходишь, ходишь, и все поближе к ним. Давно они ушли, ничего я теперь не чувствую. Раньше, кум, я ее искал, чтобы найти, а теперь - чтобы не

находить.

Паскуаль Револорио - низенький, черный, лохматый, бровастый и довольно светлолицый - был моложе на вид, чем на самом деле. Когда он смеялся, казалось, что он на чем-то играет, когда он молчал, его бы никто и не заметил. Начиная говорить, он всегда как бы засучивал рукава.

Сейчас он несколько раз их засучил, но не сказал ничего, только бормотал, подсчитывая бутылки, опорожнявшиеся в их бутыл, пока Гойо Йик платил за водку и за специальную бумагу, чтобы не задержали в пути. За все про все с них взяли восемьдесят песо.

- Даже лучше вышло, - радовался он, вернувшись к куму. - У нас шесть монет осталось. За водку и за бумагу взяли восемьдесят. Осталось нам шесть.

- Очень хорошо, кум, очень хорошо, деньги в пути не помешают. Не с пустым карманом пойдем.

- Шесть, значит, монет.

- Держи их у себя, кум. Придем - сочтемся. Мы с тобой вложили по сорок три монеты, шесть осталось, значит, вложили мы сорок, а по три - нам с тобой.

- Хочешь, я тебе твои дам?

- Нет, кум, неси все. И водку мы купили хорошую, лучше (Некуда, шоколадом отдает, а цвет - чисто

коньяк. Такую продавать легко, она еще и питательная. Они тут гонят из телячьих голов, та уж совсем как суп. Больным дают, но она дороже, невыгодно будет.

Паскуаль Револорио уложил бутыль в сетку и закинул за спину, чтобы поскорей двинуться в путь. Первые краски утреннего неба напоминали апельсины, лимоны, арбузы, гранаты, вишни и другие плоды и ягоды. Потом, над лиловыми горами, они обратились в розы, гвоздики, орхидеи, георгины, камелии, гортензии и герань, а когда взошло солнце, из цветов превратились в густую синеву листвы

- Холодно, кум, чего-то, -

восклицал Гойо Йик, сгибаясь, сжимаясь и приплясывая на ходу. Они шли узкой горной лощиной, которую называли Трещиной.

- Верно, кум, а все на ходу греешься...

Гойо Йик, которого бил и мучал холодный жар озноба, жадно взглянул на бутыль и сказал еще раз:

- Холодно очень, кум, холодно чего-то...

- На ходу согреешься, да и плюнь, скоро солнце взойдет!

- Может, кум, хлопнем по рюмочке? Водка никогда не вредит. А сейчас от нее одна польза, хотя бы мне...

- Живот она согреет, кум, да

ведь нам платить нечем Уговор дороже денег, мы с тобой слово дали, что из этой бутылки никто даром не выпьет, даже и сами мы, разве что по рюмочке.

- Значит, и тебя выпить тянет...

- Как не тянуть, да нельзя! И слово мы дали, кум, и убыток нам будет, если начнем пить даром. Ну, я отхлебну, ты отхлебнешь, вылакаем бутылку и придем гуда, как ушли. Я все свои деньги вложил, и ты тоже. Будем даром пить - разоримся.

На дорогу падала тень высоких, могучих деревьев, ветви их сплелись в зеленую плотную гущу, в щелках скал искрилась вода, песок отливал золотом в солнечных лучах. Гойо

Двуутробцу до смерти захотелось выпить, потому что и мокрые шорохи, и солнце, уже припекавшее затылок, напоминали ему Марию Текун, когда она, выкупавшись в реке, возвращалась домой. Сколько он страдал по ней!... Он закрыл глаза, чтобы хоть на миг уйти от зримою мира и порадоваться смиренной радостью слепых.

- Кум! - Больше он выдержать не мог. - Кум, дорогой, куплю я у тебя водки!

Ведь у него было шесть монет - осталось после всех их затрат.

- Что ж, заплатишь - продам.

- Я вперед заплачу, чтобы ты мне поверил.

- Верить я верю и так, ты меня не обижай, мы с тобой компаньоны. А даром налить не могу, это против уговора.

Револорио остановился, сдвинув брови, черневшие на светлом лице. Говорил он хрипло, будто удавленник, - бутыль была очень тяжелая.

Он остановился, поставил бутыль, для чего пришлось лечь на землю, снял ее с плеча при помощи кума, который ради водки сдвинул бы гору, отряхнул пыльные руки и налил ровно на шесть песо в тыковку с черным дном.

Гойо Йик, Двуутробец, заплатил ему сколько следует, выпил в три

глотка и с удовольствием причмокнул: так птица, напившись вволю, открывает и закрывает клюв. Потом он взял бутыль. Кум Паскуаль свое отработал, пришла его очередь.

Идти стало трудно и дышать труднее, теперь он весил больше, песок под подошвами громко скрипел. Позади плелся усталый Паскуаль Револорио. Вдруг он приналег, словно ему что-то срочно понадобилось. Он сильно побледнел, но на светлой коже это не так видно.

- Кум... - проговорил он, приложив руку к сердцу, - худо мне,дохнуть не могу...

- Выпить надо...

- Помираю...

- А ты выпей!

- Постукай меня по спине и налей немножко...

Гойо Йик, Двуутробец, постукал его по спине.

- И налей... - молил Револорио.

- Чем заплатишь?

- У меня шесть монет имеется'

Револорио взял тыковку с водкой, Гойо - шесть монет.

- Это дело другое, а даром не дал бы, хоть ты тут помри. Водка была как сахар, хотя и не сладкая, и пахло от нее, собственно, не шоколадом, а розой и шипами.

Наступил полдень. Гойо Йик все тащил свое бесценное сокровище, куму было плохо с сердцем.

Навстречу им протопали Двадцать мулов, груженных бочонками вина, мешками кукурузной муки и металлическими изделиями. Кумовья прижались к скале. Мулы бежали рысью, вздымая пыль, погонщики шли за ними, а владельцы грузов ехали верхом с бичами в руке

- Хватит, кум, - сказал Революрио, стряхивая землю с лица, моргая и плюясь, - теперь я понесу, ты дольше нес, чем положено.

Гойо Йик два часа без малого отработал, как последний мул, поскольку у кума плохо с сердцем, и теперь, отделившись от скалы, дальше не пошел

- Если тебе не плохо, если не

тяжело...

Двуутробец не вполне верил в кумову болезнь. Наверное, притворился, чтобы выпить. Чего-то у него сердце не болело, когда туда шли!

- Уговор дороже денег, моя очередь.

Кум Револорио взял бутыль, смеясь и неуклюже размахивая короткими руками.

- Ладно, только худо станет - скажи, и постой немного, я выпью.

- За деньги?

- А то как? Вот тебе шесть песо. Все по-честному, кум, иначе разоримся.

Револорио получил плату и

налил с верхом тыквенную чашку. Водка зазолотилась на солнце. Двуутробец выпил ее одним духом.

Сверху посыпались листья - наверное, орлы или ястребы дрались на какой-нибудь ветке. Во всяком случае, в знойной и ленивой тишине сердито хлопали крылья, а с веток сыпались листья и цветы. Гойо Йик подобрал несколько желтых цветочков, чтобы украсить бесценное сокровище, которое теперь нес кум Паскуаль.

- Выпил бы ты, кум, а что так украшать, - сказал, останавливаясь, Революрио и засмеялся. Щеки у него пылали от солнца - шляпа в полдень не помогает, не дает тени.

- Не могу, кум, денег нету.

- „Хочешь, шесть монет одолжу?

- Спасибо тебе. Начнем

торговать - сочтемся. Покладистый ты человек! Не иначе, выручим много...

Револорио дал деньги Двуутробцу и налил ему водки в тыковку с черным дном. Казалось, что водка льется в голый, широко открытый глаз. Двуутрорец попробовал - чистый шоколад! - и заплатил куму шесть песо.

- Значит я тебе должен, кум, и болен ты к тому же. Давай-ка я бутыль понесу, идти еще долго.

Они пошли быстрее. Гойо Йик нес бутыль на спине, Револорио ему

помогал, как Симон Киринянин.

- Если не трудно, кум, постой и продай мне водочки. К сердцу чего-то подступает, то оно бьется, то нет.

- Как не продать, обоим нам выгодно: тебе полегче станет, мне - деньги... Вот если бы мы даром пили, было бы нехорошо.

Водка забулькала, кумовья жадно глядели на нее. Двухтрубец получил шесть монет, спрятал их и вскинул бутылку на спину.

- Пойдет у нас дело, - говорил он на ходу, - а чего ему не пойти? Хорошо, что мы с тобою, хоть ты и больной, оплачиваем издержки. Когда тебе худо стало, я тебя угостил, вот тебе и издержка. Но я, заметь, не

от жалости тебя угощал, а по уговору. Так во г- придет у нас дело, и отправимся мы к такому доктору - Чигуичону Кулебро - он мне вылечил глаза и тебе сердце вылечит. Если, конечно, до того не помрешь.

- Лечили меня. Они говорят, да я и сам чувствую - у меня кровь проспиртованная.

- Ух ты! А чего это?

- Если кто много пил, водка в крови бродит, а попадет она в сердце - и "конец. Не выносит сердце водки.

- Как-нибудь да лечат эту хворь...

- Еще глоточек...

- Ты что го-во-ришь?...

- Пей, говорю, полезно тебе... и

денежки плати.

- Вот тебе шесть монет.

Гойо Йик взял деньги и налил полную тыкву. Не водка, а прямо какао!

- Скоро придем, - сообщил Револорио. - Вот с этой вершины видно будет. Тут уже рядом семья Суаснавар, черт их дери, клад закопала. В старину они жили, еще при короле. Золота бочонки, камни всякие... Пока что никто не нашел. Не так давно были тут какие-то люди, белые-белые, прямо великаны, и черные, тоже не маленькие, копали, рыли, динамитом рвали. Весь верх от горы отлетел, во-он там... А клад нет как нет.

- Что поделаешь...

- А перемерли они от того, от чего и мы помрем. Нашли они клад у самогонщиков, там и застряли. Сперва, как пришли, белые отдельно ели, а негры им прислуживали. А потом, когда стали пить, белые служили неграм, и все со всеми обнимались. Водка, кум, штука вредная, но и польза от нее: нет ни дурных, ни хороших, ни бедных, ни богатых. Перед водкой все равны, все люди.

- С тебя, кум, еще шесть монет...

- Верно, да деньги у меня вышли. В долг попрошу - скоро разорюсь, а без денег не нальешь, кум?

- Чего там, кум! Ты мне под честное слово одолжил, и я тебе одолжу. Вот тебе шесть монет, из выручки вычту.

Тыква наполнилась снова, и Паскуаль выпил. Потом он заплатил шесть монет, которые ему одолжил Двуутробец.

- Деньги у меня есть, могу и выпить, - сказал Гойо Йик, расхохотавшись, - так смачно пил его кум.

- Ясное дело, - отвечал Паскуаль, пытаясь засучить рукава. - Дай бутыль, я налью, ты заплатишь.

Так они и сделали.

Паскуаль налил, Двуутробец выпил глоточками. Не дрянь какая-

нибудь - тонкий напиток.

- Ах ты, господи, что за красота!

- говорил он, смакуя Дивную жидкость, прошедшую глиняные сосуды и почему-то запахшую шоколадом, не дрянь какую-нибудь, тонкий напиток, но и крепкий. - Хочешь выпить, кум, давай бутыль, я тебе в тыковку налью, а ты заплатишь. Все по-честному. Я наливаю, ты плати.

- Хорошо придумал, кум! Люблю, когда честно!

Гойо Йик осторожно взял бутыль, жалея, что у него только Две руки, и налил Паскуалю. Двумя руками трудно держать бутыль на весу. Пустела она очень быстро.

Паскуаль Револорио припал к тыкве, выпятив губу и выкатив глаза, словно конь. Трудно не пролить ни капли, но он не пролил.

- Хочешь выпить, плати! - говорил ему Гойо Йик. - Кумовство кумовством, а дело делом.

Паскуаль чихнул, закашлялся, заморгал и хлопнул в ладоши. Г ~~ Из-за тебя, кум, чуть я не захлебнулся! Водка в легкие попала. Вот тебе шесть монет, если ты такой вредный. А вообще, люблю деловых людей, никого они не пожалеют!

- Не вредность это, надо так, а то разоримся. Одни бездельники даром пьют. Водка пропадет - ее из брюха не выудишь, - и друга

потеряешь или врага наживешь. Выпьют, а потом говорят: веди меня в тюрьму! А что с нее, с тюрьмы? Хорошо пьешь, смачно. Что-то и меня подмывает...

- Дай бутылочку, продам.

Они обменялись - Двухтрубец взял тыкву, Революцию бутылку, которую приходилось наклонять все сильнее.

- Налей, кум! Сейчас тебе заплачу.

- Сам видишь, кум, я тебе доверяю: налью, а потом уж плату беру... А может, просто я очень живой. Бабушка моя говорила: «Живи, как живется, и жив будешь». Не заплатишь - и ладно, вычту из

нашей выручки, тысяча двести будет, не меньше, оно и сойдется.

Двуутробец выпил. Лицо у него горело, глаза сверкали, волосы встали дыбом, но внутри, когда он пил, заглодело, даже ноги пробрало, все такие же распухшие, как в те дни, когда он, слепой, милостыню просил под деревом у себя в Писигуилито. Выпил Двуутробец, почувствовал, что свалился на груды шерсти, отсчитал шесть монет и стал осторожно вырывать у кума бутылку.

- Дай-ка мне, кум, нашу бутылочку... нашу красоточку... я тебе налью!

- Ты уж побольше, по-солдатски!

- По-генеральски, да хоть бы и

по-мертвецки, все водка! А деньги возьму, да.

- Я тебе плачу, кум, а ты мне налей.

- На шесть монет водки моему куму! Водка запенилась в тыкве.

- Пенится, потому что хорошая.

- Так и вижу, кум, торгуем мы в ихнем селении, чашку - одному, чашку - другому. Оно выгодней, чем бутылками. И главное - за наличные, как мы тут с тобой!...

- Монета к монете! Ну, кум, сейчас ты богатый, выпей последнюю и пойдем...

- Нет, пред-предпоследнюю, я еще жив...

- Ладно, перед-

предпоследнюю...

- А ты мне дай на шесть монет и еще на четыре...

- Четыре?...

- Это в долг...

- Подаришь - потеряешь, одолжишь - людей насмешишь...

- Значит, на шесть. Только не скупись и на землю не лей, земля тоже пьющая, да не допьяна, а напьется - трясется. Красивое имя у тебя: Паскуаль. Веселое, как Пасха. На Пасху, наверное, родился, потому и назвали.

Теперь бутыль приходилось переворачивать доньшком вверх, Револорио плохо видел, куда льет, а Гойо никак не мог толком

подставить свою тыкву под горлышко и водил ею туда-сюда.

- Н-не туда! - восклицал он смеясь и пуская пузыри. - Про-махнулся!

Он сплюнул и отер всей ладонью рот, чуть губы не оторвал, чуть не оторвал и губы, и зубы, и щеки. До самых ушей отер.

- Только бы 1емля не тряслась, - ворчал Револорио. - Подставь-ка поровнее...

- А ты прямо в рот лей. Куда льешь, кум, тыква моя не на земле... Ты что, нарочно? Обидеть хочешь?... Ме-ня... ня... ме...

- Ну вот, кум! Попал.

Водка темным водопадом

хлынула в тыкву и расплескалась.

- Кровь проливаешь, кум, чистую прибыль губишь!

- Что нам прибыль, что убыль! Пальцы обсоси. Рука у меня дрожит чего-то.

Револорио с трудом поставил бутылку, а Двухутробец обсосал пальцы, подлизал все вокруг и протянул тыкву снова.

- Перевернем бутылочку, кум?

- Пере-вере-нем...

- Как ты велишь...

- Сперва я тебе дам шесть монет.

- сказал Револорио. - На, бери, а то не поверишь.

- Всем верить - но миру пойдешь.

- Бабушка моя Паскуала всегда говорила: «Живи, как живется, и жив будешь».

- Какие у вас имена пасхальные, веселые...

- Матушку окрестили в честь Марии Скорбящей!

- Зерно, она же мать. За матушку твою, я угощаю, вот тебе деньги!

- И я за нее хочу угостить, бери шесть монеток. Заметно полегчавшая бутылка переходила из рук в руки, равно как и шесть монет. Счет вели точно.

- Я выпью, деньги даю...

- Вот тебе... раз, два, три... шесть.

- Теперь я... пять... шесть.

- Я заплатил, а ты не налил...

- Значит, шесть тебе и шесть мне...

Кумовья глядели друг на друга и не верили своим глазам. Кум Двуутробец не верил, что перед ним кум Паскуаль, а Паскуаль не верил, что перед ним Двуутробец. Если бы они в это вникли, они бы разобрались, но куму Паскуалю, в сущности, было все равно. Он глядел на кума Гойо, трогал его и не мог понять, как же это он рядом, когда он далеко, еле виден, в голых песчаных горах, где лежит селение, еле виден в горах, среди выжженной травы, сверкавшей в лучах заката, словно раскаленный котел, только скалы

белели тощими призраками, и там, за ними, за эквалиптами и гомоном, было селение Святого Креста.

Кумовья шли кто где, иногда натыкаясь друг на друга, шляпы У них сбились на затылок вроде сияния, волосы падали на лицо ветвями плакучей ивы, а губы раздвигались в бессмысленной улыбке. Кумовья собирались торговать водкой, только в бутылки немного осталось, судя и по весу и по слабому плеску, раздававшемуся за спиной у Паскуаля, когда он спотыкался.

Гойо Йик натянул шляпу на лоб, на глаза, чуть ли не на нос, чтобы вернуть слепоту, но не поэтому он

вдруг перестал выписывать вензеля. В своих прежних владениях - в царстве осязания и слуха - он встретил Марию Текун. «Как живешь?» - сказала она, и он ответил: «Хорошо, а ты?...» - «Что тут бродишь?» - «Водку продаю, с одним знакомым, мы с ним покумились. Дело завел». - «Много выручишь?» - «Да, - признался он, - кое-что будет...»

Паскуаль дернул его за полу (он упал лицом вверх) и подошел к нему, звеня бутылью, чтобы снять с него шляпу.

- С ума сошел, кум, чего с женой говоришь?

- Не трогай меня, кум, я ее вижу,

а еще про детей не спросил!

- Нехорошо с живыми говорить, когда их нету, они тогда тощуют и кости у них куда-то растворяются...

- Да тут она, при мне! Ладно, спугнул ты мой сон, дай еще лекарства. Вот, я все ясно вижу: тут - ты, а тут - я, и хочется мне выпить.

- Не пугал я твоего сна, кум, ты не спал, просто говорил, как во сне. Допился...

Револорио упал ничком, бутылка покатила. Двухтрубец скреб землю не в силах встать.

- Черт те что, - жаловался Гойо Йик, - как же мы будем дело делать? Как будем дело... дело... тьфу... Мы бы разбогатели, верно, кум? А у

нас... водки нет... нету водки... зато
выручка при нас, мы же за деньги
продавали... Выну - сосчитаю. Все
по шесть монет да по шесть монет,
это много будет... У нас с тобой в
карманах... Выну - сосчитаю,
сосчитаемся, ты мне мое отдай, мы
ком-пань-оны... Дело у нас шло
неплохо, дело... шло... это... тьфу...
хуже нет, когда худо... хуже худого
нет... которое хуже, то и хуже... хуже
худшего... а хуже всего, что мы с
тобой всю бутылъ выпили...
выпили... дело загубили...

Револорио храпел.

- Где-де-де... водка, кум? -
вопрошал Двуутробец. - Пили мы,
платили, значит, при-быль при...

нас... Кроме того, что мы вложили... монеток, поди, двести... Заработали мы... на чем?... на гнусном зелье... Монеток... триста... четы-ре-ста... пятьсот... шестьсот без тех восьмидесяти...

Тут явился караул из управы, чтобы забрать их за бесчинства в безлюдном месте, и позвал двух полицейских, чтобы выяснить дело с водкой.

Караул состоял из девяти индейцев в белом, с большими мачете, в поношенных широкополых шляпах и ярких - красных и синих кушаках. Когда они поднимали пьяных, темные руки и ноги торчали, как чужие, из белых штанин и

рукавов; когда говорили - зубы сверкали, как лезвия мачете.

Коротышки полицейские нюхали бутылъ, от нее пахло шоколадом. Кроме запаха, в ней не осталось ничего. Стражи порядка вздыхали, облизывались, потирали руками брюхо, но поживиться не могли.

Двуутробец, кажется, благодарил за услуги - какие счета, люди свои! ... - только нельзя ли полегче... голова у него упала вниз... закинулась назад... склонилась вправо... влево... моталась туда-сюда, то метя волосами по груди, то с хрустом ломая шею. Уши у него были в крови, жилы на лбу вздулись.

Индейцы волокли его за руки, он бороздил ногами землю, а кума, бутылъ и две шляпы они несли, и шляпы казались белыми тенями их черных голов.

Перед судом кумовья предстали на следующий день, запуганные, в кандалах, под стражей. В тюрьме все плохо, но хуже всего в тюрьме похмелье. Дрожа и запинаясь, слушали они вопросы того, кто в тот день выполнял обязанности судьи, и понимали не сразу, отвечали невпопад, с трудом соединяли слова в предложения. Бумажку свою они где-то обронили. Они столько раз вынимали деньги из карманов, что она выпала, и все. Вот чертова

бумажка, белая такая, ровненькая!... А сила в ней была, и печатей много - торгового и питейного ведомств - и подписей. Курили тут сигареты, и бумага уходила дымом, как ушла их бумажка. Без нее - контрабандисты, с ней - честные люди. С ней - ты свободен, без нее - сиди в тюрьме за преступление, которое пострашней убийства. Убийцу выпускают под залог, а контрабандиста не выпустят, и еще надо уплатить в казну, сколько не заплатили налога, только в несколько раз больше.

В тюрьме плохо все, одно другого хуже. Живот болит хуже некуда, нищета - еще хуже, тоска - еще, хуже ее нет. Тюремщики и судьи

какие-то ненормальные. Выполняют разные правила, неприменимые к жизни, и сходят с ума - во всяком случае, так их видят те, кто не попал в нелепый круг закона.

Дело выяснялось туго. Те, кто продал им чертово зелье, дали показания, но слова их были недостаточно ясными. Так судья и сказал: «Недостаточно ясны». Кумовья не удивились. Их оглушал шум воды, они одурели от голода, с утра они выпили только по чашке чилате. А как тут будешь ясным, молча думали они, когда поняли странную фразу, если двадцать бутылок желтой, пахнущей шоколадом жидкости им продавали

спросонья, кутаясь в одеяло, словно только что родившие женщины!

Поскольку преступники вылакали все до капли и бутыль была пуста, не удалось установить, тайком ли гнали эту водку или по Разрешению, а это оттягчало вину. Когда же они начинали объяснять, что продавали за наличные, путалось решительно все, так как у них, сколько ни считай, было всего шесть песо, а должно было накопиться не меньше тысячи. Если в бутылки у них Двадцать бутылок, а в бутылке - десять обычных чашек, а чашка шла по шести песо, у них сейчас должно быть тысяча двести. Деньги исчезли, и тщетно шарили преступники по

карманам, торопливо выворачивали ил, надеясь, что бумажки и монеты снова окажутся там. Деньги исчезли словно по волшебству.

Для властей тут ничего странного не было. Деньги истрачены (кумовья знали, что это не так); или утеряны (кумовья подумали и согласились, чтобы с них сняли обвинение в контрабанде или в неуплате налога, если бумага найдется, во что судья не верил, как и в само ее существование); или украдены, когда их обыскивали у входа в селение (тут они заволновались); или, наконец, один из них припрятал их от другого.

В жаркие часы, когда их водили

В суд, они исподтишка глядели друг на друга, изучая один другого взглядом, сперва поверхностно, потом - пытаясь проникнуть в самое нутро.

Они не доверяли друг другу, но боялись в том признаться, потому что утратили прямоту, как и все остальное. В тюрьме утрачиваешь все, и уж совсем исчезает то, что лежит у человека в самой глубине и помогает ему жить хорошо, свободно.

- Куда деньги дел, кум? - спрашивал Гойо Йик дражливо, как боевой петух.

- Нет, ты куда их дел? - спрашивал в ответ Револорио, и его густые брови сдвигались в длинную

гусеницу. - У нас много пропало, ты подсчитай-ка... - И он засучивал рукава.

- Судья считал, кум.

- Много пропало, а хуже всего, что мы не можем сказать, потеряли мы их по дороге, как бутыль, где еще водка была, украли их или... да что там!...

На «или» и «да что там» фразы кончались, и ни один не смел сказать: «...ты, кум, украл, чтобы со мной не делиться».

Наконец они сказали это друг другу. Гойо Йик не выдержал и признался куму в дурных о нем мыслях, а тот покаялся, что и в нем, словно опара, всходили подозрения.

Но этого и быть не могло. Продавая водку, каждый брал точную цену, и у каждого должно было накопиться полвыручки.

Значит, украли. На ярмарках толчется много воров, а это селение, кроме краж и прочих бесчинств, славилось чудесами, и грозами без дождя, и смертоубийствами. Когда ж и убивать, как не в этом месяце, помеченном Крестом Господним, когда жара сменяется дождями, без которых не взойдут посевы, небо становится серым и низким, а счета с законом легче сводить?

Дело кумовьев заняло много страниц, где что ни строчка поминали их имена и фамилии,

присоединяя к ним синонимы слова «преступный» Трудно привыкнуть, что ты преступник, и кумовья откликались не сразу, когда им говорили: «Преступник, отвечайте», «Преступник, смирно», «Преступник, можете идти». Другие преступники, урча животом и зевая, ждали под охраной, играя в поддавки черными восковыми кругляшками.

Тюрьма тут была ненадежная, и всех провинившихся на ярмарке решили отправить в замок испанских времен, расположенный на острове у восточного побережья. В этой партии оказались и кумовья, обвиненные в контрабанде и неуплате налога

Им связали руки, к спине прикрутили белье в циновке, пончо, простыню, а на шею повесили по котелку для кофе, по тыковке с водой, по чашке и по скляночке миндальной масла. Так и вышли они из селения под охраной солдат, которых вел капитан.

Гойо Йик закрыл глаза, вернулся на мгновение в мир Марии Текун - цветка, сокрытою в плоде, женщины, сокрытой Б ею сердце. Бледный Револорио, сдвинув брови, шел за ним. Ему очень хотелось засучить рукава, но он их не засучивал. Он пытался смеяться, как и подобает преступнику с пасхальным именем, чтобы начальство не подумало, что

он норовит сбежать. Препоручил он себя Спасителю, надежде всех плененных, и молился Двенадцати Эммануилам. Эту молитву мало кто знает

В тот день была суббота.

КОЙОТ-ПИСЬМОНОША

XIII

От сеньора Ничо, письмоноши, ушла жена, пока он горами, проселками, долинами бежал быстрее рек, быстрее птиц, быстрее тучи, чтобы добраться с почтой из столицы до далекой деревни.

Бедный сеньор Ничо Акино, что он будет делать, когда придет домой и не увидит ее!

Будет рвать на себе волосы, назовет ее не так, как до свадьбы, птичкой, и не гак, как после свадьбы, Исаброй, а так, как именуют всякую жену, покинувшую мужа, - Текуной.

Будет кричать: «Текуна, Текуна! ...» - и, как стертая хребтина у лошади, заносит у него сердце. Будет метаться в одиночестве своей опустевшей, мрачной хижины, где потух очаг, а немцы-торговцы будут тем временем читать и перечитывать письма от родни, письма от друзей, деловые письма, которые пересекли море, чтобы сеньор Ничо Акино с

верностью пса принес их из столицы в городок Сан-Мигель Акатан. Городок этот стоит на полочке из золотистого камня над синей, как море, пропастью, в темно-зеленом сосновом лесу, среди скал, из которых, как нитки из ларца, тянутся ручейки, орошающие поля, а в полях цветут Дивные бегонии с сердцевидными листьями, зеленеют папоротники и веет горячий ветер.

Бедный сеньор Ничо, что он скажет, когда придет и не увидит ее!

Ничего не скажет, застынет в грязной и потной одежде и, когда вновь обретет голос, взорвется и закричит: «Текуна! Текуна!», а матери, плача неизвестно зачем

крупными, радостными, горькими слезами, будут тем временем читать письма от сыновей, которые учатся в столице, мировой судья и глава городской управы - письма от жен, гарнизонные офицеры - письма от подружки, которая пишет, что здорова, когда она хворает, что весела, когда она грустит, что одинока и верна, когда у нее есть приятель...

Сколько лжи прибыло этой ночью в Сан-Мигель Акатан с босым и несчастным письмоношей!

Сколько лжи во спасение текло из конвертов вокруг неприкрытой правды, поджидавшей сеньора Ничо!

Сколько писем пришло в

городок, где домики лепятся на склонах, словно птичьи гнезда! Сколько писем читают его жители, пока сеньор Ничо, сникнув, как раздавленный червяк, кричит до изнеможения: «Текуна! Текуна!» - и мечется по опустевшей хижине!

Когда почту носил сеньор Ничо, она приходила с первой звездой. Боясь пропустить его, жители поджидали за полуоткрытыми окнами и дверями и говорили наконец: «Почта пришла! Люди видели, прибыл сеньор Ничо! Два мешка с письмами, да, целых два мешка!» Те, кто ждал, и те, кто не ждал, и те, кто вообще не ждет писем, подстерегали его у двери или

у окна, чтобы разорвать конверт, вынуть листок, пробежать для начала, потом прочитывать основательно, неторопливо и вдумчиво. Письмоношу подстерегали и те, кто умеют читать, и те, кто читают по складам, и кряжистые, сонные крестьяне, которые видят на бумаге одни закорючки и просят соседа прочитывать письмо.

По главной улице городка шагал сеньор Ничо. Все знали, что он обновил и одежду, и сандалии. Он шел и думал о том, как хорошо будет с женой, и не знал, что его ожидает. Шагал по мощеной площади, благоухающей жасминами, по галерейкам управы, где ходил

часовой, и, наконец, по конторе начальника почты, благоухающей погашенными окурками и освещенной керосиновой лампой, которая стояла на заваленном бумагами столе.

Сеньор Ничо шел, задыхаясь и падая от усталости. На почту он вбежал, очень спешил, вручил два мешка писем и, когда ему сказали, что все в порядке, вышел, волоча ноги. Он подождал, пока ему заплатят, сидя на ступеньках, глядя на пустую площадь, слушая стрекотанье кузнечиков, шуршанье летучих мышей и другие вечерние звуки и думая о том, что рядом - хижина и жена. Когда он отлучался

по службе, ему казалось, что дома все изменится, и он всегда ошибался. Жизнь не меняется, вечно одно и то же. Но сейчас его ждала перемена. Переменилось и сломалось все. Он похлопал по коленям собранными в горстку ладонями и вытянул ноги, чтобы размяться. Наконец вынесли жалованье - шестьдесят песо, которые ему причитались за одну пробежку. Он всегда получал их, держа в руке шляпу и смиренно понутив голову.

Начальник почты вышел на галерейку. Как все низкорослые толстяки, он не ступал, а семенил ножками, словно канатоходец. Из рта у него торчала сигара, глазки

заплыли жиром. Толстяки
благодушны, поел - и счастлив, но он
отличался дурным нравом и нарочно
отсчитывал деньги медленней, чтобы
сеньор Ничо подольше стоял с
протянутой рукой.

- Индеец поганый, загребушие
твои руки, не помрешь - подождешь!
Вот тебе пять, десять, пятнадцать,
двадцать, тридцать...

Не досчитав до пятидесяти
пяти, он решил сообщить сеньору
Ничо, что деньги эти не на пропой, а
если кто напьется, то просидит в
тюрьме две недели на хлебе и на
воде.

- Что вы, сеньор, я непьющий!
Вы ни разу не видели, чтоб я

напился. Оно, конечно, я бы выпил, все ж я мужчина... Просто, когда женишься, не приходится как-то.

- - Соображай, что делаешь. -

Начальник перешел на елейный тон.

- Пить вредно, спьяну только напортишь, голову потеряешь, и все к черту полетит.

Сеньор Ничо Акино тупо глядел на него. «Что-то плохое хочет сказать», - подумал он. Начальник и впрямь вроде бы хотел что-то сообщить, но с его толстых губ слетали лишь пузырьки слюны.

- А там у тебя что?

- Тут?

- Да, вон там. - Сигара заплясала у него во рту, и он втянул ее, ее дым

втянул, сигару, чтобы она не выпала.
- Частные посылки носить нельзя, запрещено. Кому нужно, пусть посылает по почте, на то она и заведена, пусть деньги платит. Будешь доешь - угодишь в тюрьму.

- Нет, сеньор, это не чужое, что мое. Шаль жене купил, у нее скоро именины. Шелковая, дорогая.

Когда сеньор Ничо вошел чудом, ему показалось, что он случайно забрел к соседу. Домом ошибся, - подумал он, - совсем ума нет, замучался...» Всякий раз, когда он возвращался с почтой из столицы, его поджидали горячие лепешки на глиняной тарелке или плетеной салфетке, (оставшейся жене от

матери, кофейник с кипящим кофе, тушеные с кориандром бобы, сыр, постель, сон, жена. Он кинулся на улицу - это чужой дом, здесь темно и пусто. Он бегом кинулся к двери, но не добежал; это его том, чей же еще, у него ведь нет соседей, кроме бескрайней ночи. Сеньор Ничо Акино закрыл глаза, вспомнил и понял туманные намеки начальника, его совет не напиться, так как спьяну ничего не уладишь, только напортишь, и, словно утратив разум, стал ощупывать стены, подпорки крыши, кровать, люльку, в которой они собирались качать младенца, когда тот родится, камни потухшего очага.

Пес тоже порывался что-то сказать ему, но только повизгивал, то ли от радости, то ли с горя, лизал хозяину руки шершавым сухим горячим языком - наверное, очень горевал и тревожился, - осторожно хватал зубами за пальцы и за штаны, тянул на улицу. Сеньор Ничо Акино вышел с ним, пес подвел его к миске с водой и совсем загоревал, завыл, запрыгал, залаял на черное звездное небо, на росистые травы во тьме, на неподвижную тишину. Пес знал, где его жена. Где же она, куда делась? Сперва сеньору Ничо казалось, что она близко, но, когда он вернулся в дом, отгоняя вконец разволновавшегося пса, чувство это

пропало. Он хотел понять, что же произошло. Однако усталость свалила его, и он сразу заснул на полу. Во сне его мучали и будили страхи и судороги, но проснуться он не мог.

Хижина не казалась пустой. Дверью играл ветер, открывая ее и закрывая. Жилища беглых жен полны таинственных звуков. Там кто-то шумит, кто-то бродит. Из ненужной кофейной гущи глядит дурной глаз сомнения, водянистый зрачок горького плача. Стопка чистого, пахнущего утюгом белья сотрясает замки сундука, и они железными ушами хлопают по гулкому дереву, а со двора, где на веревке сохнет другое

белье, дует ветер. В миске с мутной желтоватой водой плавает мышка. В съестных припасах кишат воинственные черные муравьи. Они снуют меж кладовой и кухней, словно вор читает молитвы по четкам, они выползают из обглоданных початков, которыми враз наполняется дом беглой жены, а рядом злорадно каркают птицы, мелькают тени невидимых псов, легко стучат по доскам их когти, свистит дыхание, когда они вынюхивают запах мочи в старых, заброшенных вещах, пыли и паутине, а потом, в один прекрасный день, в этой мерзости запустения на берегу смертного сна зазеленеет росток на

балке и за ним, как за знаменосцем, пойдут зеленеть ростки на прохудившейся соломенной крыше, на окне, на притолоке двери, обнажившийся скелет дома породит новую жизнь, украсит зеленью землю, ибо и сама земля - семя, упавшее со звезд. Тогда уже никто, даже старики, не вспомнят о беде с Текуной, незрячей женой, одетой в черное, как бобы, траурное, слезное платье.

Ничо Акино очнулся, когда уже вовсю палило солнце. Он снял новую одежду, которую надел, чтобы увидела жена, прямо на старую, заскорузлую от пота и пыли, и облачился в белые штаны и белую

рубаху. Текуна из Текун оставила ему чистое, глаженое, сложенное стопкой белье, чтобы он сильнее по ней страдал. А может, она и не хотела бежать, а может - ждала его, а может - ее силой увели, а может...

В управу он пришел весь в белом, как истый индеец. Чтобы вести дела, лучше быть индейцем, чем испанцем. Индеец тверд и прям, испанец - хвастлив, ревнив и глуп. Как-никак, а властям сообщить нужно. «Пускай хоть мертвой найдут, а отыщут...» - говорил он, и в такт шагам звучало: «мертвой... мертвой... мертвой...» Волосы он прилизал водой, и от них пахло травкой руты, усы топорщились

щетками в уголках губ. Нос у сеньора Ничо был плоский, плечи покатые, как у бутылки.

Жалобу принял сам секретарь управы, старый вояка в капитанской форме, как две капли воды похожий на тех, кто распял Христа. Сеньор Ничо вертел шляпу в руках, а когда сказал свое, ветеран человекоубийства, играя морщинами злого лица, велел ему не ныть и не канючить, а найти другую бабу, на то их и родится больше, чем мужчин.

И добавил:

- К другому, поди, сбежала, получше тебя. Женщины, они всегда смотрят, где полегче, хоть бы от этой легкости им и смерть пришла!

- Кто-нибудь ей голову
вскружил...

- Голову? Еще чего! Я люблю
говорить попросту, без Дураков.
Ладно, дадим мы приказ о поимке,
чтобы ее задержали, а ты смотри не
лови ее. Помнишь, что было с тем
слепым, который искал-искал
Марию Текун и сгинул? Услышал он
ее голос, прозрел, а она - глядь! -
обратилась в камень. Он забыл, что
на краю пропасти стоит, и свалился.
К твоему сведению, его до сих пор
ищут.

- Пускай его господь накажет...
- сказал сеньор Ничо, горестно
взмахнув рукой.

- Господь не платит чужих

долгов, а ты давай проваливай и мученика из себя не корчи. Сам упустил, дурак...

Раскурив изготовленную женой сигару, благоухающую смоквой, сеньор Ничо вышел из управы на площадь. Жена его, как никто другой, умела прокалить по старинке табачные листья, мелко нарубить их и просеять. Он миновал базар и школу, из которой, как всегда в одиннадцать часов, выходили завтракать дети, и заглянул к китайцу в лавку.

- Купишь? - спросил он, разворачивая бумагу, чтобы показать шаль.

Китаец молчал, жужжали мухи.

Наконец он взял метелочку из перьев и обмахнул стекло прилавка. Волосы у него были черные, глянцевитые, словно голову ему облили китайской тушью, лицо - бессмысленное, тело - как мешок.

- Волованная? - спросил он.

- Сам ты ворованный, китайская рожа, чахоточная твоя душа!

Сеньор Ничо взял шаль с прилавка. Ему хотелось не деньги получить, а избавиться от нее. В лавку он вошел, весь дрожа. Ему не терпелось отделаться от этой шали, потому что кроваво-алый шелк воплощал любовь к той, которая не стоила любви. Он смахнул шаль и, не заворачивая, пошел в немецкую

лавку, что стоит у самой церкви. Чтобы набраться смелости, он размахивал руками, убеждая себя, что просто хочет поскорей дойти.

- Дай дорогу, шаль шикарную несу! - закричал он знакомым погонщикам, сгружавшим товар у главного в городке магазина, и направился напрямик к дону Деферику.

Баварец глянул на него глубокими синими глазами из-под густых белесых бровей, подсчитал что-то, вынул из брючного кармана столько, сколько он запросил, и дал ему, а шали не взял.

Сеньор Ничо поблагодарил его и очень попросил оставить шаль у себя

- ему не хотелось швырять ее в реку или рвать на кусочки, - но дон Деферик не сдался.

Когда он вышел, погонщики отвернулись: они кое-что слышали и сочли за лучшее не попадаться ему на глаза.

Заговорили они, когда он уже не мог их слышать. Самый старший и крепкий, Порфирио Мансилья, с трудом доволоч до выхода тяжелый тюк.

- Ребята, помогай! - сказал он, отирая пот, когда тюк шлепнулся на землю. - Вам бы только мух считать! Я через вас помру, поясница трескается, когда такую штуку тащишь, а вы и не поможете!

Уставились, будто не видали... Ну, ушла у человека жена!

- А, брось ты! - отвечал другой погонщик. - Я на него глядел, потому что мне его жалко. Свиньи они, бабы! Дай только бог, чтобы он за ней не погнался, а то погибнет, как не было, из-за Текуны какой-то...

- Дурак ты, чему веришь! Знаю-знаю, что тебе в голову взбрело! Заведет его злая жена на гору Марии Текун, на самый верх, и станет голубицей ворковать, заманивать, чтобы он подошел, простил и свили они снова гнездышко. Бабушкины сказки! Из этого изо всего одна правда - это и я тебе скажу, и все, кого ни спроси: бросит тебя такая

Текуна, загорюешь, пойдешь ее
искать, а ищучи, чтобы с горя не
подохнуть, начнешь пить. Пьешь,
чтобы надежду не потерять, пьешь,
чтобы забыть ту, кого ищешь, со
злости пьешь, не закусываешь,
сильно хмелеешь, а спьяну и
примерещится, будто она тебя зовет.
Побежишь к ней, не чужа дороги, и
свалишься в пропасть. Баба - она
пропасть и есть.

- Ну, Иларио свою песню завел!
Работай, морда, ты погонщик, а не
учитель!

- Не приведи господь учителем
быть, лучше побираться! Ух, тяжелые
тюки, хоть у них тут и «Продажа
изящных изделий»... Тащить поташу,

а в рот не возьму, как один индеец сказал.

- А ты не болтай... - вступил в беседу Порфирио Мансилья. - Трудно сразу два дела делать. Тебе бы, Иларио, в цирке выступать, все рожи строишь, паясничаешь.

- Стал тот индеец помирать, и приехал к нему священник, еле добрался - далеко жил. Ехал он, значит, его причастить и облатку потерял. Явился, думает: «Что бы такое легонькое индейцу дать», и оторвал у таракана крылышко. Индеец лежит, кончается, а священник его спрашивает: «Веруешь ли ты, что это тело нашего Иисуса Христа?» - «Верую...» -

«Веруешь, что это его святая плоть?»
- «Верую...» - «Веруешь в вечную жизнь?» - «Верую...» - «Тогда открой рот». Тут индеец его руку отвел и говорит: «Верить верую, а в рот не возьму...»

Баварец улыбнулся. Синие глаза его, синие горы, синее небо резко отличали его от погонщиков, грубых, как их вещи: нагрудник из дубленой шкуры, утыканный золочеными гвоздиками или давным-давно вышитый шерстью, куртки с бахромой, широкополые шляпы с лентой и пропотелые тряпки, которыми закрывают мулам глаза.

Когда из священнического дома вышел письмоноша, которого хозяин,

отец Валентин, по доброте и простоте звал просто Ничо, священник разнял молитвенно сложенные руки, перекрестился и прошел в комнату, где он работал и писал. Здесь было и уютно - поверх опилок настлана циновка, мягко ступать, и как-то одиноко - стены голые и потолок высокий.

Утешение веры поздно приходит к несчастным покинутым мужьям. Нет им покоя, бес их терзает, и кончают они плохо. Не поверишь, а легче, когда жена умрет; смерть умиротворяет, она несет надежду на небесную встречу, а тот, от кого жена ушла, соломенный вдовец, утешится лишь забвением. На все воля божья...

Отец Валентин подошел к письменному столу, покрытому некогда черным лаком, а теперь поседевшему, как его волосы, открыл ящик, достал свой «Кладезь мыслей» - так называл он дневник - и внес имя Исауры Акино, урожденной Террон, в список пораженных безумием, которое называют в народе злой паутиной.

Он перечитал написанное прежде:

«Об этих паучьих укусах, как называет их простой люд, известно немного, но у меня в приходе страдают от них многие, так уж оно есть, и еще мы тут страдаем от козней животных-защитников,

которых эти невежды по бесовскому наущению считают не только защитниками, но как бы и вторым "я" и думают, что можно сменить человеческое обличье на другое, звериное. Поверье это древнее и истинно языческое. Как я уже сказал, о паучьих укусах известно мало, а зла от них много. Женщины часто сходят с ума, ими овладевает страсть к бродяжничеству, они убегают из дому и пропадают куда-то, умножая число так называемых "текун". Слово это обязано своим происхождением легенде о несчастной Марии Текун, которая, обезумев от чьего-то сглаза, кинулась бежать как угорелая, а муж, слепой, как плотская любовь,

кинулся за ней. Согласно легенде, он ищет ее повсюду и где-то находит. Обрыскав небо и землю, он слышит наконец ее голос в каком-то беспокойном уголке света, и так велико его смятение, что он лишается ума, но прозревает, чтобы увидеть, на свою беду, как предмет его поисков обращается в камень. С тех пор то место зовется Вершиной Марии Текун».

«Я, - читал отец Валентин Урданьес ястребиными глазами, отличавшими весь его род, - я, прибыв в приход Сан-Мигель Акатана, лично посетил эту вершину и могу засвидетельствовать, что по разным причинам путь к ней очень

труден. Сердце устает от высоты, а от вечного холода, царящего там и в полдень, и в любое время суток, ноют и тело, и кости. Страдает и дух, ибо самому храброму нелегко вынести полную тишину. Три слога этого слова - "ти-ши-на" - обретают там, как на полюсе, все свое величие. Вдали от суеты мирской царит молчание; туман, хоть он и не плотен, никогда не рассеивается; птицы не летают, а растения, пропитанные туманом, призрачны, немые и всегда стоят под покровом инея или капель. Ты как бы в мертвом мире, но ощущение это сопровождается другим, не менее тяжким. Туман и проплывающие

вблизи облака мешают видеть небо, и кажется, что ты ослеп. Шевельнешь рукой - руки почти не видно, а иногда не видишь и ног, словно, ступая по облаку, превратился в крылатую тварь. В довершение бед рядом пропасть. Когда мы входим в лес, мы боимся зверей и нам кажется, что они подкрадываются к нам; здесь нас подстерегает пасть земли, обернувшейся зверем, словно львица, у которой отняли детенышей. Пропасть не видна, ее скрывают мягкие пласты облаков, но гибель грозит столь явно, что, как годы, тянутся часы, когда взбираешься на прославленную вершину. Без благословения епископа, по велению

Пресвятой Девы Заступницы я взял с собой святую воду, окропил камень и могу поклясться, что, когда я освятил это место, мулы наши забеспокоились, заржали, а глаза у них выкатились, словно они увидели нечистую силу.

Теперь со слов местных жителей расскажу о паучьей болезни. Безумие это выражается в тяге к бегству, а причина его - колдовство или сглаз. Чтобы напугать ее, эти отступники от истинной веры сыплют на подстилку или циновку толченую красную глину, черные семена, белую муку или белый неочищенный сахар, крошат лепешки, хлеб, засохший мед и другую пищу, кроме

соли, ибо она употребляется при святом крещении. Усыпав таким образом подстилку или циновку, они вынимают из тыквенного сосуда пригоршню длинноногих пауков и дуют на них, а те разбегаются, словно обезумев, по раскрошенной пище, оставляя на ней свои следы. Затем порошок этот дают тайком жертве, и ею овладевает особая страсть: ее тянет уйти из дому, от родных, покинуть и забыть детей. Так искажает естественные чувства это бесовское снадобье.

Но беда не ходит одна, за ней следует худшее несчастье. Мужья, покинутые теми, кто, как выражается простой люд, «попал в паучьи сети»,

утрачивают вкус к добру. Уподобившись ободранным деревьям, уже ничем не защищенным от непогоды, и не руководствуясь более истинной любовью, они ищут утешения в вине или в женщинах, но тщетно, ибо греховная услада приносит не мир, но смятение, а потом кидаются искать беглянку, влекомые надеждой. Надежда эта чревата лишь слезами, ибо, как верит местный люд, они приходят на Вершину Марии Текун и видят там вместо камня призрак покинувшей их жены. Призрак этот зовет их, и они в ослеплении страсти кидаются к нему, чая любви, счастья и не видя развершейся под ними бездны,

которая их и поглощает».

В конце каждой записи стояла подпись: Валентин Урданьес, священник. Записей было много, он не переписывал их начисто, и разобрать их смог бы не всякий. Речь в них шла о безумии, которым, быть может, страдал сам Дон-Кихот, странствующий Рыцарь, не прервавший странствия и ныне, ибо именно Сервантес открыл вечное движение, как писал отцу Валентину друг-богослов, слегка подтрунивая над наивным сельским священником. Чтобы не думать о «текунах», паучьих болезнях и покинутых мужьях, друг этот советовал прочитать легенду о Минотавре.

Отец Валентин отложил дневник и взял требник. Зверизащитники... Все, как один, о них говорят, и никто ничего о них не знает. «У него есть оберег», - скажут о ком-нибудь, а значит это, что его защищает, оберегает какое-то животное. Это понятно: У нас, христиан, есть ангел-хранитель, а индеец верит, что у него есть защитник из зверей. А вот что непонятно - как без помощи беса превратиться в этого зверя. Например, недалеко ходить, сам Ничо, говорят, оборачивается койотом, когда выходит из городка в горы с почтовой сумкой, потому и письма доходят так быстро, словно

летают. Священник покачал седой головой. Койот, койот... Поймал бы, подпек бы ему хвост, как в сказке про дядюшку Койота.

Письмоноша вошел тем временем в таверну Алехи Куэвас. Отчаяние все так же терзало его. Где бы он ни был, он думал о том же: почему она ушла, что я ей сделал, чего не сделал, что ей сказал, чего не сказал, чем обидел, чем разгневал, с кем она сбежала, кого полюбила, лучше ли ей с ним, любит ли он ее, как я любил, нет, как я люблю, нет, любил, потому что я хоть и люблю ее, а не люблю. Бог не поможет - водка пособит. Он кинулся с улицы в кабачок, как в прохладное озерцо.

Хозяйка - красивая, темнолицая, с кольцами в ушах - болтала с кем-то, облокотившись об оцинкованную стойку. Она видела, как он вошел, и сказала не глядя:

- Что принесли? Шаль? - и прибавила, кокетливо указав на собеседника, который дышал ей в грудь, выпуская дым: - У меня приятель есть, он мне и купит, кому ж еще? Мужья такое не покупают, боятся - другому понравимся.

- Она не продается, - довольно сухо сказал сеньор Ничо, подошел к стойке, чтобы выпить для начала, и выпил.

- А я думала, продавать принесли.

- Это подарок. Что купишь для подарка, продавать ни за что нельзя.

- Ну, если я встречу ту, для кого вы шаль купили, я ей и передам. Сами же к китайцу ходили, отдавали за бесценок!

- Если он цену набивает, мы договоримся. Не за стопочку же я ее возьму! - вмешался хозяйкин собеседник, вынимая руку из пустого кармана широких брюк.

- Вы уж простите, не продается она.

- Не продаете, купили для подарка, вот мне ее и подарите, - предложила Алеха Куэвас. - Цвет мне идет, я такой люблю. А если нельзя...

- Нельзя. Кому-кому, а вам бы

отдал - вы же молодая, красивая...

- Льстит еще, вон какой!

- Обещаю вам, я такую же принесу, такого самого цвета. На днях мне снова в город идти, я и куплю, хоть такую, хоть какую, что захотите...

- На том и порешим...

- Там, где я свою купил, всего одна и была, а у китайца я спрашивал, хороша ли.

- А я думала, продавать ему принесли...

- Он, гадюка, товара не пощупал, а спросил, не ворованная ли.

- Ах, чтоб его! Какой нахал!

- Налейте-ка мне еще, сдачи не надо, вы побольше налейте.

- Что же у вас за праздник, ума не приложу? Угостили бы, чего одному пить!...

- Не праздник у меня, похороны.

- И он сам над собой посмеялся злым смехом. - Если не гнушаетесь, я вас угощу. Нами, бедняками, все гнушаются. - Губы его, смоченные водкой, жалко и сердито дрожали. - Отпразднуйте со мной... - комок застрял у него в горле, - отпразднуйте, и на похоронах пьют...

- Хлебнешь? - спросила хозяйка своего приятеля.

- Нет, мне еще пора не пришла. Когда днем пьешь, водка зубными каплями отдает. Вы уж без меня, - сказал он, стоя лицом к Алексе

Куэвас.

- Тебе моя водка не по вкусу? Ну, если бы я тебя изо рта напоила, она бы тебе понравилась.

- Не то чтоб не по вкусу, но и вкуса я в ней не нахожу.

- Ладно, я к нахальству привыкла, только нежному слову удивляюсь! За здоровье сеньора почтальона, не знаю, как звать, да и не к чему - улетит, будто ласточка, не вернется!

Сеньор Ничо сидел неподвижно и слушал, как жужжат мухи. Хозяйкин приятель ушел, и теперь она беседовала с сеньором Ничо из-за стойки. Слов они не произносили, только собирались, беседа их шла

безмолвно, они просто были вместе. И Ничо Акино не чувствовал себя одиноким, как бык над кормушкой с маисовыми листьями, когда прикладывался к бутылке, которую купил, чтобы не затруднять хозяйку и ей бы не приходилось ему наливать.

По правде говоря, беседовать без слов довольно скучно, да и нужно то и дело выказывать знаки внимания, и Алеха Куэвас пошла на это не ради прекрасных почтальоновых глаз, а ради вышитой шали, которая просто заворожила ее.

Желтыми, как мед, очами она глядела на руку письмоноши, обернутую алым шелком, - влюбленному Ничо казалось, что он

как бы сидит рядом со сладостной Исаброй Террон, чьи плечи покрыты той же шалью, и обнимает ее. Наконец он заговорил, обращаясь к хозяйке - частице внешнего, чужого мира:

- Я вас больше не угощаю, потому что у вас дел много. А хотите - вот бутылка, пейте без приглашений.

- Схожу суп посолю и выпью с вами. А вы мне нравитесь. Мы с вами раньше не говорили, я вас видела из окна, знала, кто вы, и как-то - помните? - на ярмарке поздоровались.

- Что-что, а знают меня все. Другие даже просят, когда я в город

пойду, чтобы со мной письма отправить, особенно денежные.

- Вот поэтому я и хочу дать вам совет. Вы столько не пейте! Если вас пьяным увидят) вам не будут доверять, а то еще арестуют и поколотят в тюрьме. Такому, как вы, очень опасно напиться. Вы представляете, что это такое, когда тебе не доверяют? Иностранцы эти писем не дадут туда... ну, туда, где их семьи, за море. И бедные не дадут, которые копят деньги на марку, и больные - они родным пишут и ждут, что те к ним приедут и вылечат... И матери, которые хотят поведать детям свои радости, беды и надежды... и мужья, и жены,

и женихи, и невесты...

- Хе-хе-хе, - захихикал сеньор Ничо, словно гремучая змея зашевелилась в воде, - в письмах этих одни враки...

- Враки ли, правда ли, добро или зло, а из нашего захолустья с вами все идет, как тень.

Сеньор Ничо потер ногу об ногу - шутка ли, какая у этих ног ответственность! - и навалился на стойку, глядя в пространство и глупо улыбаясь. Шали он не выпускал, и в другом мире, в душе, беседовал с Исаброй, с женой, которая от него ушла ногами, ногами, ногами...

«Повсюду пойду за тобой, - говорил он в душе, - где бы ты ни

была, я найду тебя. Меня не Ничо зовут, Дионисио меня зовут, пока тебя не встречу. Когда я на тебе женился, любовь прошла, а сейчас она вернулась и жжет меня, губит, терзает... Без тебя я снова дурак дураком, опять я одинокий, а мужчине одному нельзя - его женщина человеком делает».

Хозяйка, не в силах оторвать взора от кроваво-красных переливов шали, заигравших под косыми лучами солнца, падавшими из окна, пробурчала:

- Ну и глуп, совсем спекся! Ах, бросила бы я этот кабак, а то мыслимо ли слушать, надерутся - и такую чушь несут... - и сказала

поласковой и погромче, уже для него:
- Не к лицу вам так напиваться,
дон...

- А вам какое дело...

- Да я просто хочу помочь,
чтобы не вышло чего...

- Надо мной хозяев нету...

- А я и не хозяйствую...

- Были у меня отец и мать, да
оба в землю легли. Дайте-ка еще
бутылочку, а глотку свою заткните.

- Ты тут не хамай, не то
начальство позову, живо засадят!
Видно, не зря от тебя, от нахала,
жена ушла...

Ничо Акино не слышал
последних слов. Ему захотелось
прислониться к стене, он увидел ее и

прислонился. Хозяйка подошла к окошку, глянуть, нет ли кого на улице. Там не было ни души. Разве что пес, да еще спал на крыльце какой-то хромой. Хозяйка закрыла дверь на засов и на крючок, хорошенько занавесила окно и в полумраке принялась осторожно стаскивать шаль с руки пьяного письмоноши. Она разгибала руку так нежно, словно ласкала, и та подавалась понемногу... Ничо забеспокоился во сне, зашевелился... Она отошла, потом принялась за дело снова, еще ловчей и подойдя с другой стороны. Ничо задергался, высвобождаясь, и заворчал:

- Не лезьте... чтоб вас всех...

очертели... не дам... моя вещь... ах ты, пристали!... по-хорошему бы, а так - не дам, лучше умру!...

Когда он говорил, Алеха Куэвас наклонялась к нему и шептала «ш-ш-ш», пока он не засыпал. Но и она притомилась. Оружие было под рукой, надо выиграть время. Она подошла к стойке, взяла воронку, засунутую в графин, л самый графин, наполненный прегнуснейшей водкой. Сеньор Ничо стиснул зубы, когда хозяйка, будто курицу потроша, сунула руку ему в рот. Воронка тыкалась в челюсть, из расцарапанных десен пошла кровь, и все же засунуть ее удалось. Как змею убиваю, подумала Алеха, делая свое

дело. Пьяный задышался, захлебывался водкой, но вынужден был пить не останавливаясь. Он пытался отбиваться одной рукой - в другой была шаль, - а хозяйка в свою очередь тщетно пыталась именно в эти минуты выдернуть шикарную вещь. Ничо предпочитал задохнуться, чем утратить то, что, по-видимому, так полюбил, и задышался, хотя и пробовал, когда уж совсем худо было, выплюнуть воронку, мотая головой. Однако воронка от этого только зашла глубже, чуть ли не в гортань. Наконец он выпил весь графин, и хозяйка оставила его в покое. Теперь надо было дожидаться, пока водка подействует и он совсем сомлеет.

Алеха поправила волосы и платье, стряхнула с юбки несколько красных ниток от бахромы и, открыв дверь, с невинным видом уселась на пороге комнаты.

Заслышав у входа топот копыт и мужские голоса, она вышла к стойке. Это были погонщики. Они разгрузили товар у лавки дона Деферика и зашли выпить пива, чтобы снять усталость после долгого пути. Вот напасть так напасть! А куда денешься?

- Верно мы говорили, - сказал, входя, Иларио. - Ничо-то поднагрузился основательно. Ишь, валяется, как свинья. Хоть бы с музыкой, повеселился бы...

- У тебя, Порфирио, сил вроде побольше, - сказал другой погонщик, входя за ним следом. - Подними его! Он, бедняга, рот разбил, когда падал.

- Как не поднять, он мне друг, а не друг - так ближний. А легонький-то, прямо пушинка! Потому и носит почту быстрее всех.

- А я верю, что он койотом оборачивается, когда выходит из селенья. Вот письма у него и летят как по воздуху.

Так сказал Иларио, а Порфирио и другой погонщик наклонились, чтобы поднять сеньора Ничо.

- Ух ты! Да он заледенел, как мертвый. Троньте-ка, лицо совсем холодное.

Погонщики потрогали лоб сеньора Ничо пыльными загорелыми ладонями. Иларио потрепал его за уши и стал растирать ему руку; другую разжать он не смог, она мертвой хваткой вцепилась в сверкающий шелк шали.

- Что это у него там? - вмешалась хозяйка. Она была явно не в духе.

- Жене, бедняга, нес, - ответил Иларио, глядя на нее и пытаясь разгадать, чего она сердится.

Она хорошо знала, как трудно отвязаться от мужчин, когда они с дороги, а от него - тем более. Он не мог сказать другим: «Не пойдем к Алехе», просто не мог, потому что

сам первый и хотел к ней пойти, и не ради пива, а ради нее самой.

- Мало что окоченел, - сказал Порфирио. - Хуже, что сердце у него вот-вот откажет, пульса почти нету. Надо бы сообщить. Сбегай-ка хоть того ради, что он тебе год назад вещь хорошую принес.

- Брось, Порфирио! Я схожу в управу, только пива черного хлебну.

- Не дури! Успеешь выпить, вся жизнь впереди, хоть залейся. А он, бедняга, совсем замерзнет, он и так окоченел.

- Ладно. Оно и верно - чем опоздать, лучше доброго дела и не делать. Я ведь доброе дело делаю, мне никто не заплатит.

- Бедный сеньор Ничо, он даже окосел, - сказал другой погонщик, по имени Олегарио.

- Окосеешь тут. Как он хребет не сломал...

- Говори что хочешь, Порфирио, нам все одно, только посади его и придержи, а то он опять завалится. Вот уж верно сказано: пьяного бог бережет.

Тем временем хозяйка протирала и ставила стаканы и сердито жевала копаль. Выставив на стойку бутылки пива, она перестала жевать и произнесла как бы невзначай, но не без умысла:

- Бог? И бог, и все ангелы. Я и не видела, что он свалился, занята была,

посуду чистила. Выхожу к прилавку - его нет. Думаю, ушел сеньор Ничо, оно и лучше, а то выпил он много. Две бутылки белого, да тут кто хочешь свалится.

- Ну, ребята, за него и выпьем, - громко сказал Иларио и поднял стакан с пивом, чтобы чокнуться с приятелями. Стаканы у них пенились, шляпы они сняли, тряпки перекинули через плечо.

Порфирио Мансилья, не забывая о своем подопечном, отхлебнул пива и проговорил сквозь покрытые пеной усы:

- Шаль и ту хотел съесть - вон какая рваная, вся в крови, вроде бы рвал и порвать не мог. Он думал ее

отдать дону Деферику, а немец и не взял.

- Немец человек стоящий. Вот недавно начальника управы дети гуляли с обезьянкой, а она и прыгнула в пруд. Я выбежал, а тут немец идет. Остановился и выловил зверюгу.

- Ох, жаль, когда человеку худо! - говорил свое Порфирио.

- Да не худо ему, - сказал Олегарио, и все засмеялись, даже хозяйка.

- Истинно: лучше глух, чем глуп. Я говорю: болен он, а кто не понимает, пусть катится к черту...

- Ну ты, полегче! - взъярился Иларио.

- А вы меня не доводите. Тут и его держи, и от вас отбивайся!... Я что хотел сказать: жаль, когда человеку худо, и смотреть на себя тогда не надо, посмотришь - вовек не будешь пить. Вот почему в кабаках нельзя зеркало вешать. Зеркало как совесть - сам себя видишь. Иларио прервал его.

- Вот, красоточка, - сказал он Алексе, - у вас и нет зеркал, кроме собственных глазок.

- Ах, упаду!... - игриво засмеялась она. - Не вы первый мне это говорите!

- Все врут, а я правда так думаю.

- Я басням не верю. Вот если пойдете вы опять в столицу и

принесете мне такую самую шаль, как у почтальона...

- Считайте, что она у вас, только я награды потребую...

- Расплачусь, жаловаться не будете... - сказала Алеха и протянула крепкую руку, чтобы налить ему, а он пожирал ее взором.

- Вот это по мне, - вступил в разговор Порфирио и поставил два стакана: за себя и за Олегарио - он был так могуч, что стоил двух погонщиков. - Вот это по мне, давно пора его приструнить, балаболку. Все врет, все обманывает, все хвастается, и был бы хоть богат, а то беден как мышь.

- Тебя бы с ним, с почтальоном,

в тюрьму. Ты добрый, а он глупый, там за ним и ухаживай!

- А он и правда шаль разорвал, - сказала хозяйка, чтобы отвести от себя малейшее подозрение. - Зубами дергал, наверное. Чем она виновата, что у него жена ушла?

- Она свой путь выбрала, сбежала, и пускай ее кто подберет. Я такой, я не терплю, чтобы к любви принуждали. - И погонщик потянулся волосатой темной рукой к плечу хозяйки.

Алеха притворно отбивалась, Иларио стиснул плечо.

- Оставьте свои басни, а то поверят. Дон Порфирио у нас... это... де-ли...

- Чего?

- Деликатный! А я ему еще в тот раз обещала...

- И забыла. Вот они, женщины! Бог с вами, сговаривайтесь с Иларио, женитесь вы с ним и свадьбу сыграйте. Я в тот день от радости напьюсь, как сеньор Ничо. Иларио неженатый, только, донья Алеха, богатства от него не ждите. Лучше женатый, да хороший, чем плохой холостяк.

- Жену сеньора Ничо, должно быть, опоили паучьим зельем, - сказал один погонщик просто так, потому что сейчас только он выпил и сплюнул на пол.

- Люблю тебя, дурака,

послушать! - подхватил Иларио. -
Всему он верит. Думает, жены
рассудок теряют, из дому бегут от
паучьего зелья. И не знает, что время
уже не то, теперь текунам не
порошок дают, по которому паук
бегал, а катушку ниток. Понятно?

- Я-то поняла, - сказала хозяйка.

- Деды наши пускали по всяким
порошочкам длинноногих пауков, а
теперь не то, теперь пошли пауки
швейные.

Хозяйка сердито вырвалась,
пожала плечами - «мне что!» - и
налила всем еще пива.

- Эй, Порфирио. почтальон твой
падает! Эти мои дружки меня не
поймут. Ну, я им все объясню.

Колдовство теперь новомодное.
Бадам голову кружат продавцы
швейных машин.

- Ой, заладил, надоело! -
воскликнула хозяйка, сверкая
глазами.

- Ты бы лучше помолчал! -
помог ей Порфирио.

- Ладно, раз такой силач велит -
замолчу.

- А что, - спросила Алеха,
нарочно перетолковывая намеки
Иларио, - разве у дона Порфирио
швейная машина жену увела?

- Сам не знает, что порет...

Алеха Куэвас незаметно провела
рукой по груди, словно по струнам, и
по этому знаку Иларио понял, что,

толкую ее мысль, Порфирио угодил ей своим ответом. А она сказала, поглаживая грудь:

- Да, кстати, из вас кто-то говорил, что знаете вы такого Нило. Он машины продает и свое имя ножом на коре вырезал тут, неподалеку.

- Может, Иларио... он кого только не знает, с кем не водится. Прямо как исповедник.

- Нило? Нило? Сразу видно, с иностранцами вы не бывали, он у вас как индеец какой. Нил его зовут...

Иларио пришлось прервать свои объяснения. За почтальоном Ничо Акино явились четверо солдат под командованием капрала.

- Да он не мертвый... - сказал один из солдат.

- Да, - подтвердил Иларио, - только пьяный.

- Мертвецки, значит, пьяный, - заключил солдат, потрогав бездыханное тело.

Капрал еще с порога крикнул:

- Мне одну стопку в три ряда!

Хозяйка поставила три стопки.

Так всегда выражались военные, чтобы себя не опозорить. Стопка в четыре ряда - четыре стопки, стопка в пять рядов - пять, и так до семи, а после они говорили уже: «две стопки в четыре ряда», то есть восемь, или «две стопки в пять рядов», то есть десять. Что-что, а пить они умели,

понимали толк в питье, знали, когда хватит, - не то что бедный Ничо, который уподобился индейцу из присказки: дом разукрасил, шутихи припас, за водкой пошел, а всю по дороге и выпил.

- Дайте-ка... нет, лучше я сам, - говорил Иларио толстозадой хозяйке, вырывая у нее бутылку. - Я без пены люблю...

- Без пены?

- Да, - отвечал красавец, хватая ее за руки, чтобы вырвать бутылку, и вырвал наконец.

- А вам и ни к чему, что я сама хотела налить...

- Нет, Алехита, для меня жизнь... это... нить любви!

- Ладно там, болтайте! Лучше скажите, как ваш Нило.

- Нил!

- Ну Нил...

- Чего мне говорить? Так и до тюрьмы договоришься. Разве что Порфирио разрешит...

- Сам ты говорить не смеешь! Я тебе что, отец?

- Ты мне родней отца.

- Напился...

- Так-так... - Иларио сплюнул. - Зови меня пьяным, ее потаскухой, власти ругай - и в тюрьму угодишь.

- Я не говорил, что лыка не вяжешь, я просто...

- Как не говорил? Я тебя люблю и ее вот люблю, а не люблю, чтобы

людей обижали. Чем Алеха виновата, что держит кабачок?

- Пошли-ка, - предложил Олегарио, пыхтя сигарой под прикрытием широкополой грязной шляпы, - надоело мне тут... Вот у этих Приетас, там...

- Кто тебя держит! - взорвалась хозяйка. - Иди, там тебя угостят на славу!

Наступило молчание. Когда погонщики не веселились, лица их были суровы, и теперь, судя по этим лицам, они думали, что письмоношу надо бы отнести в лечебницу - очень уж плох, вроде как отравленный.

- Не верю я в швейные машинки, - сказал курчавый погонщик,

которого обозвали дураком. Он обиды не забыл и хотел отбрить обидчика. - Я уж по старинке в паучье зелье верю, а еще больше я верю в то, что вижу: Исабру Акино околдовали, а этого чуть на тот свет не отправили. Хоть бы кто за них отомстил... О том и молюсь. Когда твой друг тебе враг, дело просто: тыквой погремишь, а когда не знаешь, кто напортил, один бог тебя защитит.

Все вышли вместе, гурьбой, а хозяйка кусала от ярости бледные, посиневшие узкие губы, но из гордости старалась улыбаться, подсчитывая выручку. Все вышли с шумом, хохотом, свистом и в

сопровождении цокающих копытами мулов двинулись пить дальше, к разлюбезным Приетас, где, по словам обиженного погонщика, водка и чича льются рекой, а сердце печалится и радуется не столько от питья, сколько от самого перехода через эту реку.

XIV

Кто-то резко и настойчиво засвистел, словно в воздухе задрожали от свиста передние зубы. Дождя с вечера не было, но темнота казалась влажной. Под свежим дыханием ветерка листья бамбука

шелестели, словно нежные метелочки из перьев, подметая лесную тишину на окраине селенья, у кладбища.

- Я узнала тебя по свисту...

- И опоздала...

- Какой ты злой! Что, свистеть устал? Поцелуй меня и не ворчи. Как хорошо тебе «ты» говорить! И как странно говорить «вы» при чужих!

- Вы меня любите, дорогая?

- Очень люблю! Только что это за «любите»? «Любишь»? Ах, поцелуй еще раз! По мне, любить на «вы» совсем не то, что на «ты», хоть и задушат в объятиях. Ты ведь душишь меня... и ладно, для того ты надо мной и хозяин.

- А вы брыкаетесь, да, брыкаетесь...

- Все ты мне выкаешь, прямо обидно!...

- Сразу не привыкну... и... вот я вздохнул, печально мне... тяжело: ты едешь, деньги зарабатываешь, а подружка твоя любезничает с другим...

- Донесли, значит...

- Доносить не доносили, сам почуял - чутье все подскажет, когда ты в пути.

Тени бамбука падали на них, когда они, любовно препираясь, нарочно шли все дальше. Женщина испуганно и нежно обняла голову мужчины и глубоко заглянула ему в

глаза своим загадочным взором. Он плакал.

- Не глупи, - прошептала она. - Как ты подумать мог! Ну, явился этот шут гороховый, гордец несчастный, дежурит на углу, заходит иногда выпить, глупости со мной болтает про здешние дела, про торговлю швейными машинами. Что ж, мне его и любить, а тебя разлюбить? Ты ж мое сердце забрал! Как войдешь с вашими вместе, я прямо вся слабею. А ты, мне сдается, стесняешься меня при них. Я все для тебя могу - любить тебя, обожать, умереть, делай со мной что хочешь! Но если ты стыдишься, что я кабак держу, и чужим при чужих притворяешься,

нам с тобой делать нечего. Любить из-под палки нельзя, но и гнушаться я собой не позволю!

- Такие, как я, не плачут, - тихо сказал говорливый погонщик. Пахло от него водкой и вечерней росой, окропившей, словно слезы или капли жира, обожженную дневным зноем древесную листву. - Они не плачут, а если уж заплачут, то вроде этих деревьев: скрутят себя, сгорят изнутри от боли, даже ствол почернеет, а потом...

- Плачут, когда напьются!...

- Выпил я, это верно. Но мы еще плачем, когда сердце нам говорит, что нас обманули, и тогда у нас два пути: соперника с горя убить или

стыд в себе убить, притвориться, что ничего не видишь, все тебе нипочем. Не трогай ты меня, не хочу я, чтобы ты меня ласкала, как его!

- Ну, Иларио, не будь ты таким грубым! Это тебе пиво в голову ударило... Ты мой дорогой, миленький, любимый!

- Дапусти ты меня... выпусти руку... голову выпусти...

- Ах ты, я и не знала, что ты меня из милости полюбил! Ты смотри, если бы я правда тебе изменила, как ты, дурак, думаешь... и если бы мужчины только от этого плакали... реки бы вышли из берегов. Женщины-то не все такие, как я! Тяжело говорить, а приходится.

Они замолчали. Густо светились
огни селенья, горевшие и близко и
далеко друг от друга, как они.
Мокрая трава холодила спину.
Иларио глядел в небо, она рвала
травинки, куда достигала ее
загорелая рука.

- На самом-то деле, - наконец
сказала она, - новая, столичная
любовь лучше старой, захолустной.
Красивая она, я думаю, и волосы у
нее хороши, и глаза...

- Ты мне скажи, зачем этот тип
прямо висел на стойке, если в твоей
постели не спал?

- Разрешила бы я... - Иларио
глядел на нее и даже приподнялся
было, но она удержала его. - Но я

всегда ему отказывала, а что до знака...

- Какого еще знака? - прорычал погонщик.

- До знака истинной любви. - Она расхохоталась, сверкая зубами, откинула голову, встряхнула волосами, чтобы их приласкал ветер. - Да не глупи ты, это я про машинку говорю, он мне машинку всучивал...

Иларио снова сел поближе к ней, и лицо у него стало и мрачней и спокойней...

- Ах, дурачок, ума нету, сам ведь знаешь, что он машинки продает, и меня обхаживал, рассрочку предлагал - недорого, мол, она сама себя окупит, то да се... Знал ты это, сам

намекнул. Я же слышала, как ты говорил, что нынче не паучьим зельем обольщают, а ножной швейной машинкой.

- Ну, не он один к тебе ходил...

- Вот и верно. Как-то зашли две американки, страшнее мужиков, в штанах, красота да и только! Все про того и спрашивали, который тут неподалеку ножом на коре свое имя вырезал. Я ничего о нем не знала, они и ушли, сгинули, в тетрадки ничего не написали. Лопочут по-своему, водку хлещут, как ноду. Стопки им мало, большой стакан спросили. А потом беспорядок в городе вышел, одну чуть лошадь не убила, волокла по земле. Ты-то

знаешь про этого, кто он такой?

- Знаю, да не скажу. Это моя тайна.

- Да и на что мне? Зовут его Нило, тебя он звал Черный, я зову Черненький, он на дереве имя свое вырезал, и хватит с меня.

Капли росы падали на устланную травами землю, а с ними, облачками небесных часов, тихо шлепались плоды манго, словно отягченная ветвь измеряла меткими ударами быстротечное время.

Иларио Сакайон был совсем маленьким, когда в Сан-Мигель Акатан приехал торговец с рекомендательным письмом к его отцу. Сакайон-старший гулял с ним,

долго беседовал и сказал, вернувшись, что фамилия его Нил и продает он швейные машинки. На следующий день этот Нил и пришел к Сакайонам и поиграл с ребенком, с Иларио. Тот глядел на него и глядел, потом потрогал его, тронул брюки, и дружбу скрепила монета, которую Нил сунул в его ручонку, и табачный поцелуй, запечатленный на детской щеке.

Иларио вырос, и как-то, советуя детям не судить о людях по наружности и одежде, отец завел речь об учености и великодушии этого Нила. Заезжий был вроде бы как все коммивояжеры, но в глазах у него в уменьшенном виде отразился

целый мир. У одних людей глаза словно мертвые озера, у других - чего там только нет, вся жизнь в них бьется, как рыба. Вот и Нил такой.

Любовь отца к памяти о заезде дошла до того, что он повел подростка Иларио к большому дереву. На стволе было вырезано ножом: «О' Нил, 191...»; последняя цифра стерлась.

Старый погонщик - отец был тоже погонщиком, и притом из настоящих, прежних, которые скакали на неоседланном муле, а у них и пепел от сигары не падал, - старый погонщик, не тратя времени попусту, нацарапал ножом на кожаном нагруднике те же самые

буквы и цифры: «О' Нил, 191...», и носил их до самой смерти.

Вот какую тайну хранил Иларио Сакайон. Когда отец умер, сын присвоил воспоминание и приделал к нему хвост из выдумок и лжи. Теперь выходило, что О'Нил безумно влюбился в местную девушку, некую Мигелиту. Ее никто не знал, но все о ней толковали, потому что Иларио Сакайон создал ей громкую славу во всех кабаках, трактирах и постоянных дворах.

Мигелита была темна лицом, как чудотворная статуя Пречистой Девы колодников, созданная еще в испанское время и забытая в нише местной тюрьмы на утешение

сидящим в колодках злодеям, беглым индейцам и ревнивым мужьям. Глаза у Мигелиты - погасший уголь, еще пылающий, как углю и положено, черным огнем. На щеках - ямочки, стан - юное деревце, губы - вишневое варенье, волосы - траурная мантилья. На безумную любовь она не отвечала. О' Нил ей не нравился. Иларио звал его попросту - Нил, а народ - Нило.

Он ее любил - она не любила, он обожал ее - она его терпеть не могла. Он поклонялся ей и грозил, что сопьется, и запил. Грозил, что бросится в море, и стал моряком, утопил в синих волнах черную печаль, куря все ту же самую трубку.

Был он белокурый, голубоглазым и длинноруким, как его соплеменники. Выпивая, Иларио терял всякую совесть. Чего он только не выдумывал! Просто удивительно, откуда бралось столько слов и как у него все душещипательно, смешно и складно получалось! Говорил будто по писаному, будто не выдумал спьяну, а своими глазами видел.

Назавтра после свидания с Алехой Куэвас он засел дома. С вечера они с дружками завершали попойку в другом кабаке, у сестер Приетас, и он наговорил невесть чего, не только про любовь Нила к Мигелите. Выйти на люди он не решался, но и дома ему казалось, что

отец укоризненно глядит на него из всех углов и закоулков, а главное - с того нагрудника. Усмиряя совесть, он додумался до того, что все сыновья что-нибудь крадут у отцов, дабы с ними разделаться, и вообще старый Сакайон должен бы радоваться - он ведь память о нем сохраняет, когда рассказывает, как свое, его излюбленное воспоминание. Наконец, чтобы совсем совесть прибить, он свалил вину на безответный напиток. От водки сам не знаешь, что порешь. Говоришь, что в голову придет. Надо бы вернуть старику долг - сказать всем и всегда рассказывать, что с Нилом не он, Иларио, водился, а его отец. Однако

оно вроде бы и хуже - тогда на старого погонщика, царство ему небесное, свалятся все его рассказы и выдумки.

И он снова обещал себе не говорить больше о Ниле и о его любовных делах, как бы дружки ни старались вытянуть из него продолжение. Обычно они его и подбивали, а продолжение всегда находилось.

Вот почему, когда американки, собирающие сведения об О'Ниле, вернулись в Сан-Мигель Акатан, Иларио врать не стал. Он был трезв, а в трезвом виде он о Ниле с Мигелитой не рассказывал. Иларио повел их к дереву, и они его

сфотографировали; показал им отцовский нагрудник, довольно расплывчато поведал о детских воспоминаниях и ни разу не соврал, словно давал показания в суде. Американки что-то слышали о прекрасной, как Пречистая Дева, сладостной смуглянке с крохотными ножками и пухлыми ручками, но Сакайон-младший рассеянно выслушал их и не сказал ни слова. Уходя, они оставили ему портрет знаменитого О' Нила. Иларио посмотрел на него и спрятал. О' Нил был страшный, тощий, потертый какой-то, и глаза у него вроде бы гноились. Нет, это не удалой моряк, который умер, потому что в далеких

краях его укусила сонная муха, а Мигелите оставил на память швейную машинку, на которой та и шьет по ночам... Кто в городке не слышал стука этой машинки? Отзвонят двенадцать раз часы на управе, прислушаешься, а она стучит. Это шьет Мигелита.

XV

Спустя три недели сеньор Ничо, излечившись от страха, шел с почтой в столицу. Тогда он чуть не умер, его кололи всю ночь, камфару ему кололи, и не простую - ее не было, а вроде бы камфарное масло. К тому

же его отлупили, и до сих пор боль не прошла. В довершение бед носить приходилось некогда белое, а теперь грязно-бурое белье - когда солдат привел его домой, воры там уже все обчистили. И какая жена подлая... Он в тюрьме отсидел, а она все равно не вернулась. Истинно, Текуна, Текуна, Текуна...

Твердя это слово, сеньор Ничо вышел из городка, предварительно заглянув в церковь, где перекрестился, и стерши рукавом дареного пиджака слюну, которой его обрызгал, напутствуя, еще растолстевший начальник.

- Ты сам за собой смотри, кто за тобой присмотрит - бросила тебя

жена, ты теперь как без рук. Я буду солдата посылать, чтобы он поглядел, как там у тебя дома. На ключ его запер? А на засов? Свиней обеих продал? А кур? Ну, пса оставь, пес лучше бабы.

Толстяк, брызгая слюной, не давал вставить слова, и сеньор Ничо не мог сказать ему, что у него остались только штаны и рубаха, потому что за время болезни и тюрьмы у него стащили все подчистую.

- Весу немало... - пробормотал он, ощупав два грубых холщовых мешка и пакет с деловыми бумагами.

- Вот ты такой умный, - назидательно сказал начальник, - а

уж ляпнешь так ляпнешь. Что значит «весу»? «Веса». А груз есть груз, и вообще ты сам виноват. Эти вонючие обезьяны, здешние жители, как узнают, что идет сеньор Ничо, так ящик от писем лопается.

Он долго шел по городку, и наконец у него за спиной и за хвостом его пса остались шпили эвкалиптов, лучистых и сверкающих, как меч архангела, попирающего золотой стопой голову сатаны, растрепанные сосны, благоухающие скипидаром, и зеленые пятна других деревьев.

Сан-Мигель Акатан растаял в белом фаянсовом сиянии. Под утренним солнцем, словно фаянс,

сверкали красные крыши, белые стены, старая церковь. На тенистой дороге остались в одиночестве сеньор Ничо и тощий, голодный, корноухий пес - щенком он подхватил паршу, и пришлось ему уши подрезать - с карими глазами, белой шерстью и черными задними лапами.

- Ничего ты мне не сказал... спал ты, когда она сбежала... и не слышал... не заметил, когда она... - Пес помахал хвостом. - Ах ты, Жасмин, Жасмин! - Заслышав свое имя, пес запрыгал. - Тихо, не скачи и под ноги не лезь - мы с тобой спешим...

А время тянулось неспешно.

Дороги разбухли от сырости, как гнилая картофельная кожура, и ручейки резвились повсюду как живые, не в пример едва тащившимся путникам. К вечеру пес и почтальон совсем выдохлись и рады были передохнуть в деревне из двадцати домов, где всегда находили ночлег письмоноши. Когда они дошли до нее, уже стемнело, но в окнах горели огоньки. Пес еле дышал, сеньор Ничо тяжело стучал сандалиями по каменистой и мокрой, как река, улице.

На постоялом дворе Ничо снял шляпу и обнаружил, что волосы у него от пота прилипли к ушам, лбу и затылку. Он попытался их хоть как-то

вздохматить, а потом вынул из мешка лепешки, соль, молотый кофе, молотый красный перец и кусок солонины, который бросил собаке. Больше несчастному псу не досталось ничего.

Хозяйка вышла к нему поздороваться. Кроме того, она хотела дать ему посылочку.

- Ладно, - сказал он, раскладывая в углу двора, на ступеньке, свои припасы. - Только чтобы не очень большая, а то сунуть некуда. Если посылка маленькая, я для вас всегда рад, матушка Монча, сами знаете.

- Дай тебе бог. А как жена? Наверное, уже ребеночка ждет,

сделал ты свое дело?

Сеньор Ничо невнятно замычал в ответ. С тех пор как он женился, матушка Монча всякий раз намекала ему весьма прозрачно, что хочет услышать, не рожает ли жена.

Пес настороженно ждал еще солонины, но дождался лишь пинка. Если было бы можно, почтальон пнул бы и старуху. Повизгивая от боли и поджимая лапу, Жасмин заполз в угол и притаился там, глядя на хозяина и нюхая воздух.

Старуха семенила по двору, который был и садом, и огородом, и курятником.

- Ты знай, Ничо, - снова завела она свое, - только "ты скажешь, я к

ней приеду за день до родов, все подготовлю. Главное, вы мне время скажите, а считать надо по луне, тогда уж верно, и все успеем, все будет под рукой, когда рожать начнет.

Сеньор Ничо прикончил лепешку с сыром, выпил чашку наперченной воды и посмотрел, где бы прилечь, но глаз не сомкнул. Все тут было старое, как хозяйка, и через щели в заборе виднелись звезды, вонзившиеся в глубь небес. Некоторые слова хорошо и произносить и думать: глубь...

Он и сам уходил вглубь со своей циновки, из-под навеса, во внешнюю глубину, бродя взором где-то вдали от своего тела, куда руками не

дотянешься. Тот мир не тронешь пальцами, о нем сообщают душе только глаза. А внутри, в нем самом, с тех пор как ушла жена, разверзлась другая глубь, темная, жутко темная. Но в эту злую тьму он заглядывал лишь тогда, когда очень уж становилось плохо и от горя болела шея, словно голову отрубили. Приходилось глядеть в пустоту, во мрак, в страшный мрак человеческой души, пока не сморит сон.

В ту ночь на постоялом дворе он заснуть не смог. Он был совсем разбит, от усталости у него ноги отнялись, даже пальцы болели, даже пятки стали как каменные, и он все-таки вышел во двор. Ему хотелось

погладить пса, но пес куда-то делся. Пес тоже не спал и вспомнил, наверно, как хозяин его ударил. Ничо долго его звал - он жить не мог, если рядом не будет живого, теплого существа. Наконец пес пришел, но сперва прижимался к земле и не давал себя гладить, а потом стал лизать ему руку, задыхаясь от радости, и сел совсем рядом, как послушный сын.

Сеньор Ничо толком не видел, с кем разговаривает. Со стороны казалось, что беседует он с человеком.

- Вот ты мне скажи, Жасмин, ты же лучше людей, больше понимаешь, так скажи мне, ты часом не видел, не

ждет ли она ребенка? Я тебе говорю, Жасмин, может, она тебя что спрашивала... Очень я мучаюсь, все думаю, не унесла ли она с собой мое дитя? У меня были женщины, у тебя сучки, на то мы и мужчины, я их бросал, они меня бросали, и я их помнить не помню. А такого, как теперь, я ни сном ни духом не знал. Будто меня потрошат, кишки через рот тянут... Только подумаю, что мне ее больше не видеть, что я ее навек потерял, и худо мне станет, как-то кровь застывает, страшно, жутко, что-то я непонятное творю...

Пес внюхивался в его руки, тщетно пытаюсь учуять запах свинины. Кто-то, вроде бы

однорукий, вышел во двор поблевать. Почтальон подумал, что это его незваная кума, и притворился спящим, а Жасмин принялся лаять на пришельца, устал, залаял снова, и собаки стали вторить ему по всей деревне.

Пришелец отблевался, закашлялся и хрипло сказал в темноте:

- Я слышал, вы тут говорили, да, говорил тут кто-то, а никого нет, все спят.

Услышав человеческий голос, сеньор Ничо притворно потянулся, приподнялся и сказал:

- Доброй ночи...

- Какой еще ночи? - уточнил

пришелец. - Уже светает... Они пожелали друг другу доброго утра, хотя оно еще не

наступило. Был тот смутный час, когда в холодный воздух вползает мертвенно-голубой дым схороненного в кухнях огня. Люди шумно зевают, и, заглушая зевки, раздается пение петухов.

Первый петух испугал Ничо Акино. Он запел и захлопал крыльями совсем рядом. Он рядом и был, а Ничо его не видел. Почтальон как раз собирался зевнуть, когда петух заорал, и чуть было не пнул петуха, но раздумал - ни к чему, все равно другие запели...

Нетрудно было разжечь огонь на

кухне - обшарпанной, высокой, во всю вышину дома, с полуразвалившейся плитой. Пол был покрыт куриным пометом, стены у потолка - сажей, копотью и паутиной. Сидела там и летучая мышь, но, завидев пламя, вылетела побыстрее наружу.

Хриплый старик как нельзя сильнее походил на зеленую гусеницу. Чистенький, мохнатый, в морщинах, глаза белые, зрачки черные, нос курносый, скулы торчат, лоб низкий, на голове белый пух, уши большие. Он их трогал, когда к нему обращались, потому что слышал туго.

- Ты с псом своим не говори, - сказал он, глядя на сеньора Ничо. - А

то он тебе ответит, ты и потеряешь речь. На каждого немого человека есть говорящий зверь. У пса по его глупости слов нету, а тут он их и узнает, от тебя к нему перейдут. Ты у меня совета не просил, а я тебя учу. - Он засмеялся в такт петушиным крикам. - Мы, старики, учить любим, тем и живем, тем утешаемся: советуем, чего молодыми не делали и старыми делать не стали... ху-ха-хе-ху... как молодость наша прошла, так и старость уйдет... ху-ха-хе-ху...

И, волоча ноги, пошел доить козу. Ничо Акино последовал за ним. Когда говоришь с кем-нибудь, не так одиноко. Руки у старика были черные, словно он был

красильщиком или недавно чистил печку. - темные перчатки с блестящими желтыми ногтями. Рядом с такими руками козье вымя алело, как цветок бегонии, а брызги и струйки молока белели, как снег.

- Ты глядишь, какие у меня руки обожженные, горелые, черные, а ты лучше погляди на мое лицо. Чисто гусеница цветочная!... Гусеница листик меряет, так и я, человек, твой сон измерил. Плохо ты спишь, видно, горе припекло... Короткий у тебя сон, куцый, вот такой вот, не более... Ху-ха-хи-ху... ху-ха-хи-ху... Горе заело, не можешь ты глаз сомкнуть, не спится... Сон как у мыши летучей крыло, он тоненький, чуть что, и

рвется... Ты устроишься получше, пиджак под голову подложишь, крутишься, принаравливаешься, а сон-то и лопнет... Лежать устанешь и захочется тебе побродить, сон поискать... ху-ха-хи-ху... а где его найдешь? Вот хоть сегодня, ты свое отходил, сколько шел, сна искал... Когда его ищешь, тут и видишь, что ночью сна нет, звезды не спят, позвякивают, и маленькие и большие. И вещи звенят, в которых суета дневная схоронена. Столы, комоды, шкафы и стулья как будто не живым людям служили, а мертвым, как будто они в могиле стоят, чтобы мертвец и дальше жил, хотя это он и не он. С мертвыми то и худо: они и

есть, и нету их, не поймешь, кто же они такие.

Когда старик и почтальон в сопровождении Жасмина принесли на кухню молоко, старая повитуха, вся в лохмотьях, лохмах и расчесах, раздувала огонь. Волос у нее едва хватало, чтобы заплести две косички, а рук - чтобы чесаться, ловить блох, Щелкать гнид и вшей.

- Сеньор Ничо собрался от нас идти, - сказала хозяйка, не оборачиваясь и раздувая в очаге огонь. - Ты мне не дашь монетки две, чтобы он мне купил скипидару?

- Дам, как не дать, пускай скипидару купит, а мне бы надо мази - пальцы сводит, доить мне трудно...

и еще, скоро придется скотину скопить...

- Матушка Монча просила взять посылочку.

- Верно, хотела, да большая она, места у тебя не хватит. Это Уж потом, когда пойдешь налегке... Народу у вас прибывает, и от Раза к разу они тебе все больше писем кидают в эти твои торбы полосатые. Не пойму, зачем такие у вас мешки?

Куры, петухи и псы кишели в домах, а овцы и козы, как белое воинство, потянулись к пастбищу.

Письмоноша покинул деревню Трех Вод (в одних колодцах, где песок, вода была голубая; в других колодцах, на обычной земле, -

зеленая; в третьих, на черноземе, - красноватая), а за ним пошли Жасмин и старик с темными руками.

Когда Ничо Акино закуривал от очага, хозяйка ему снова сказала:

- Дай мне знать, когда время придет... Это уж верно, что жена у тебя не порожняя...

Теплый ветерок нес по воздуху сотни, тысячи, миллионы легких, освещенных солнцем пушинок, и желтые пятна цветов с черной сердцевинкой оживляли неприглядную, мокрую землю. По равнине путники вышли туда, откуда видны четкие вершины вулканов и словно бы дымящиеся скалы. После первых, незначительных бесед

старику и почтальону захотелось идти - неизвестно куда, лишь бы идти.

- Твоего пса только на убой!

- Тощий он, бедняга!

- Откормится...

- Разве можно собаку есть, зверство какое!

- Человечья еда, она вся зверская. Не пойму, с чего это взяли, что люди уже не дикари. Еды у них доброй нету.

- Маис вот...

- Маис, говоришь... Ради маиса землю мучают, а она ведь тоже живая... Распахали бы тебе спину, как ей, несчастной... А уж на продажу маис растить - это чистое

зверство!

- За такое бог и карает...

Старик с черными, как черный маис, руками ответил не сразу, взглянул на письмоношу и прочитал все, что хотел, на его лице. Не замедляя шага, он вздохнул и начал:

- И каждый раз кара будет все тяжелее. Хорошо живут люди, много детей рожают, а это не жизнь - смерть. Тот, кто стал сеять маис на продажу, забирает из земли кости. Ведь это кости предков питают маис. Тогда земля требует новых костей, и самых нежных, детских, - ей питаться надо. Вот она и получает их, вот они и уходят под ее черную кору.

- Злая она, земля!

- Злая не злая, а ты пойми: озлеешь, когда на тебе люди злые живут!

- Давай разберемся! Маис для чего сеют?

- Для еды.

- Для еды, - машинально повторил сеньор Ничо, задумавшись о жене, которую ему напомнил запах горных трав.

- И не я так велел, так уж оно повелось, так оно и есть... Ты посуди, если бы кто деток своих рожал, чтобы мясом детским торговать...

- Это дело другое!

- Вроде бы разное, а

посмотришь - одно. Мы, люди, созданы из маиса, маис - наша плоть, как же им торговать можно? По видимости дело разное, а по сути - одно: и ребенок плоть, и початок. В старое время закон разрешал отцу съесть сына в голод, но убивать его на продажу не разрешал никогда. Не нашего это ума, а есть маис можно, хоть он нам и плоть, початки - нам дети. Если же кто забудет, что он святой, священный, и станет растить его на продажу, толку не жди, все сожгут солнце, ветер и пламя.

- Говоришь ты верно, только нам это не всем объясняли. Знали бы мы, что толку ждать нечего, что земля скудеет, утомляется, приходится ей

отдыхать...

- Ходишь ты по дорогам, письмоноша, и много видишь: земля все хуже, губят ее злые торговцы. Холмы голые, одна вода по голышам перескакивает, травы нигде нет - она ведь растет из волос мертвого человека и мертвого дерева. Камни, жнивье, смотреть больно...

- Нет, ты скажи, чем семью прокормить, если маисом не торгуешь?

- Хочешь прокормить семью - работай. Труд не семью - народы целые кормит, поит, одевает. Одни бездельники ходят голые и голодные. Маис посеял и руки сложил, все ему маис подай: и одежду, и лекарства, и

песни, и питье. Сеяли бы, как деды, для себя, трудились бы, и горя не знали.

- Ты куда со мной пойдешь? Далеко мы зашли...

- Мне бы давно вернуться, да жаль тебя одного оставлять - горюешь ты очень, разбередил ты мне сердце, когда с псом говорил.

- Слышал, значит?

- Я все слышу, ты не думай. На ухо я туговат, но, как под утро к горлу подступит, мне и в голову отдает, и все внутри перевернется, и уши прочистит. И еще я на ходу слышу, всякий шум уловлю.

Под деревом амате, чей цветок, спрятанный в плоде, видят лишь

слепые, как видят влюбленные женщину, письмоноша рассказал чернорукому про свое горе. Никто его не слышал, кроме пса и белых облаков, похожих и на собак, и на жасмин.

- Когда по ней горюешь, болит у тебя ниже пупа? Ничо Акино ответить не смог.

- Это первое надо знать. Если ниже пупа болит, ты с любой бабой утетишься. А если выше пупа, до лица до самого, значит, одна она тебе нужна, одна она пустоту твою заполнит и не узнаешь ты покоя, пока ее не отыщешь.

- И так болит, и этак. Бывает, вспомню ее - и холод пойдет от

затылка по хребту, а снизу, вроде бы в ногах, припекает. Крутит меня, как лиану, когда из нее веревку вьют. А то блеснет что-то такое, как будто нож, и я сам из себя через пятки выхожу.

- Спать-то с ней хочешь?

- Сам не знаю. Вспомню ее, и страшно - в груди сдавит, голову стиснет, глаза закрываются, во рту сухо, пальцы мне сведет...

- Видно, письмоноша, нельзя тебе проходить Вершиной Марии Текун. Мы вот как сделаем: я с тобой отправлюсь. Я знаю, где твоя жена.

Койотьи глаза несчастного почтальона наполнились от благодарности слезами. Наконец он

услышал из человеческих уст то, чего ждал с той поры, когда вернулся в пустой дом и был до утра койотом, хотя и спал, как все люди. Из человеческих уст, потому что камни, деревья, мосты, холмы, столбы, реки, звезды уже говорили ему: «Я знаю, где твоя жена», но он не знал их языка, не мог их понять. Приказ о поимке дали, но толку от него не было. Священник, отец Валентин, спасибо ему, сообщил прихожанам в церкви, но тоже ничего не добился.

- Идем, иди со мной, я знаю, где твоя жена.

Сеньор Ничо Акино совсем опьянел от радости и не заметил, что они свернули с проезжей дороги, по

которой священный долг велел ему нести почту в столицу, на центральный почтамт, чтобы вручить ее худому длинному старому чиновнику, покрытому какой-то копотью, словно лопата для хлебов.

Свернули они на тропинку. Поначалу она тянулась ровно, и на ней виднелись розоватые, словно коралл, прожилки. Потом, у корневища вырванного бурей дерева, она круто пошла под уклон. Дерево это сгнило, его по щепкам растащили муравьи, и от него, словно призрак, осталась лишь голая проплешина в зарослях.

Начальник почты стукнул кулаком по столу. Дон Деферик стукнул громче его. Начальник почты стукнул еще громче. Дон Деферик в долгу не остался. За спиной синеглазого баварца в жидком свете керосиновой лампы виднелись, словно незрелые плоды, лица самых важных жителей городка. Жители эти по столу не били, они просто вперяли в толстого чиновника взоры или очки, а один, случайно сюда затесавшийся, - даже страшный стеклянный глаз.

Дон Деферик вылетел из кабинета. Он уже крикнул начальнику: «Турак толстый!», на что тот ответил: «А ты немец

поганный». В доме у баварца горели электрические лампы. Там поистине был другой свет, не то что эта желтая муть, в которой сидит начальник почты, «сфинья под майонесом». За баварцем, крича и бранясь, выбежали другие.

Майор, возглавлявший управу, выскочил из уборной, не dokonчив дела. Он появился в кабинете, ковыряя спичкой в гнилых зубах, и объяснил толстому чиновнику, что к чему. Чиновник и есть человек, который знает, что к чему, а майор тут не зря сидел - он дело делал с тех пор, как войско Чало Годоя от руки индейцев погибло в страшной Трясине. Тогда он был просто

лейтенантом, лейтенантом
Секундино Мусусом, но за то, что он
спас несколько человек, когда и
полковник и отряд погибли в
ловушке, его повысили в звании,
произвели в майоры.

- Не так все страшно, как вам,
дуракам, кажется, - веско сказал он,
разузнав, в чем дело. - Мало что
померещится немцу! Он по ночам на
скрипочке пиликает, по
воскресеньям, будто граф какой,
ходит с цветочком в петлице, а жена
у него, как мужик, скачет верхом.
Хочет заплатить погонщику, чтобы
тот присмотрел за почтальоном и не
дал ему погибнуть на текущей горе?
Мне же лучше - я с этой почтой денег

семье послал.

Старушка с лампы величиной, за которой вроде хвоста волочился кончик шали, пыталась вставить (с испанским акцентом), что и она послала двадцать песо своему сыну, студенту в самом главном институте; хромой пиротехник жутко стучал костылем, чтобы сообщить, что он отправил сорок с лишним песо своей сестре Флоре; кто-то облагодетельствовал больного брата, кто-то - сидящего в тюрьме свояка; кто-то перевел деньги в банк и теперь твердил: «Если не дойдут, меня из дома выселят!»; кто-то, невеселый, как кость, просил друга купить ему лотерейный билет и

повторял сейчас: «Не надо, лучше испытаем судьбу... Дойдет - хорошо, а нет - считай, что у меня Текуна выигрыш украла!»

Начальник почты, пунцовый от ярости, не мигая, глядел на них. Уши его торчали, как клешни у креветки, короткие ручки едва виднелись из рукавов, и весь он походил на объемистый мешок. Иногда взор у него застилало» и он был близок к удару. Что ж, умереть, так сразу - все лучше этой беды. В жизни его так не подводили. Это надо же - воспользоваться его мягкостью и класть деньги прямо в конверт, как простое письмо! Он повторял снова и снова, стуча по столу и в

благородном негодовании не замечая того, что по нынешнему законоположению о почтах он сам, чьим доверием злоупотребили, - сообщник, и не слыша ропота посетителей, сводившегося примерно к словам: «Ну хорошо, мы не объявляли, но если деньги пропадут...»

Дон Деферик тем временем сидел дома, в белом и ярком свете лампы, рядом со своей белокурой супругой, среди белых азалий и золоченых клеток с белыми канарейками. Но на душе у него было темно. Хорош он будет, если из-за какой-то Текуны почтальон упадет в пропасть, как письмо в почтовый

ящик! Сеньор Ничо нес его последний музыкальный опус для скрипки с роялем.

Донья Эльда пыталась его утешить, напоминая ему, что легендам верить глупо, легенды - ложь, в них верят одни поэты, дети и впавшие в детство старушки.

Баварец отвечал, что идеи эти - чистый материализм, а материализм бессмыслен, ибо материальное есть не что иное, как преходящее состояние материи. Что стало бы с Германией без легенд и сказок? Чему обязан немецкий язык высшей своей красотой, как не плодам воображенья невежественных крестьян? Что, как не сказки и

легенды, показало нам ничтожность всего конечного и одарило созерцанием бесконечного? Если бы не было на свете причудливых вымыслов Гофмана...

Донья Эльда признала, что немецкие сказки не лгут, но разве можно их сравнивать с суеверьями темных индейцев и вшивых испанцев? Дон Деферик уставил в грудь супруги палец, словно дуло пистолета, и обвинил ее в европейском мышлении. Европейцы, сказал он, «тураки», для них одна Европа серьезна, а все, что лежит вне ее, - занятная экзотика.

Он бушевал. Он воздевал к потолку белые руки, белые кулаки,

не замечая благоухания азалий, дурманящего аромата ночной красавицы, запаха мокрой земли, исходящего от свежеполитых папоротников и орхидей, вони опрысканных дезинфекцией ящиков и тюков и не менее острой вони, поднимающейся от натертого пола, в котором отражались и сам он, извивающийся, словно нелепый плясун, и высокий, словно жирафа, и его изящная жена, похожая на бумажного лебедя с гофрированными перьями.

В гости к ним пришел отец Валентин. Черная сутана тоже отразилась в паркете, оттеняя белизну плетеной качалки, в которую

со вкусом уселся пастырь.

При нем дону Деферику пришлось говорить по-испански. Священник сказал, что по вечерам из дому не выходит, разве что к умирающим, но сейчас речь идет именно о смертельной опасности - человек умрет без покаяния, если никого не пошлют присмотреть за ним на Вершине Марии Текун.

- Я хотел бы пойти туда сам, - сказал отец Валентин, - и выйти немедленно. Мой долг обязывает меня быть с теми, чья душа в опасности. «Parvus error in principio, magnus un Fine» [В начале ошибка мала, в конце велика (лат.)]. Я вступаю в единоборство с бесом...

- Не беспокойтесь, отец Валентин, - перебил его баварец. - Я пошлю туда верного человека. Будет жалко, если свалится в пропасть наш лучший почтальон...

Баварца в свою очередь перебила супруга.

- Bravo! - захлопала она в ладоши. - Вот она, любовь к поэзии и героизму!

Ее перебил Иларио Сакайон. Судя по крикам за окном, он прибыл на муле. Хозяин обещал ему хорошо заплатить и очень просил, а ему нетрудно съездить куда-то, хоть бы и в поздний час. Да и вообще, для настоящего мужчины всякий час хорош, он всегда готов в путь, если

нужно.

Дон Деферик обнял его, подарил ему сигару и дал денег на расходы, отец Валентин вручил ему свои четки, чтобы он молился, как только въедет на вершину, а донья Эльда - хлеб и какой-то весьма вонючий сыр в салфеточке. Иларио одним прыжком вскочил на серого мула, и тот чуть ли не вскачь понесся по темной улице. Погонщику поручили перехватить сеньора Ничо до Вершины Марии Текун, проводить его и вернуться.

Отец Валентин взял стакан гоголя-моголя с ромом, дон Деферик принялся за коньяк, донья Эльда пригубила малаги. Разговор зашел о

том, что брак уже не так крепок, и священник привел примеры из местной жизни.

- Самые тяжелые случаи, - поведал он, - вызваны особым безумием. Женами овладевает страсть к бегству, когда в пищу им подсыплют порошка, по которому прошелся паук. Они покидают дом и пропадают без вести. Вот я держу в руке стакан, а этой самой рукой я только успеваю писать да перебирать четки. Я молюсь, я пишу епископу, я прошу и его и бога помочь нам, ибо домашний очаг у нас в опасности, семьи рушатся, жены и мужья рыщут по дорогам, направляясь прямиком к пропасти, словно неразумные телята.

- Они приносят жизнь на алтарь легенды, - уточнил баварец, и синие его глаза, утратив прозрачность, туподобились двум стертым монеткам.

- Заметьте, бессознательно, - сказала донья Эльда. - Никто из них не знает, какая тайная сила носит его... - И добавила, взглянув на мужа: - Ах, видеть тебя не могу!

- Бес их носит, сеньора, бес!

- Жертвы - тлен, не правда ли? - продолжала донья Эльда. - Лишь бы подкармливать жадное чудище народной поэзии. Мне гнусен человек, который ставит легенду выше живых людей.

- Если бы мы могли урезонить

легенду, ты была бы права, - ответил дон Деферик. - Но приходится хладнокровно признать, как это ни гнусно, что прав я. Боги исчезли, легенды остались, и все они требуют жертв. Жрецы не вырезают сердца из груди обсидиановым ножом, но измена существует и может вырезать сердце.

Тут отец Валентин проснулся. Дон Деферик говорил по-немецки. Отец Валентин попрощался и попросил, когда Иларио вернется, сообщить ему. На улице было так темно, что он согласился взять фонарь. Оставшись один, он пошел быстрее, и вдруг под ноги ему как будто кинулся какой-то зверек. Он

поднял полы сутаны и увидел тень койота.

- Это ты, Ничо? - воскликнул он.

- Говорят, ты в койота превращаешься... - И сам не поверил: такого не может быть.

Через пятнадцать минут городские часы пробили полночь. Дон Деферик играл на скрипке под аккомпанемент доньи Эльды свою пьесу, которая, если сеньор Ничо минует опасную вершину, скоро попадет в Германию. Но ему пришлось положить смычок на рояль, когда испуганная жена кинулась к нему: она услышала в ночной тишине перестук швейной машинки, на которой строчила

Мигелита Акатанская.

Ровно в полночь

Мигелита

в Акатане

шьет и шьет.

Ровно в полночь

в Акатане

Мигелитина машинка

где-то на небе стучит.

А когда

стучит машинка,

бьют двенадцать

на управе акатанские часы.

Тан-тан-тан, и

тан-тан-тан, и

тан-тан-тан, и

тан-тан-тан, и

вот и полночь.

Акатан.

Иларио остановился в деревне Трех Вод, чтобы выкурить свою сигару. Из леса тянуло зеленью и мятой. Чтобы узнать, кто едет так рано, откуда-то выглянуло создание, похожее на плод айоте, только с глазами, с волосами и шуршащее множеством юбок. То была Рамона Корсантес, повитуха, сваха, знахарка, а по слухам - и ведьма, которая умела сварить отбивающее память зелье, приворожить жениха, отправить душу на тот свет, вытравить ребенка и - это уж хуже всего! - напустить паучью немочь.

Разглядеть пришельца ей было трудно - солнце светило в лицо, - но

она прикрылась рукой и крикнула, вглядываясь:

- Это ты, Хенисаро?... То-то собаки не залаяли!...

- Какой там к черту Хенисаро! Они не лают потому, что я свой, донья Мончита, и еще потому, что моего хлыста боятся!

- Сердитый ты чего-то. Хочешь отдохнуть, отдохни. погоди, я глаза прикрою, а то гляжу на тебя, солнце слепит, какая-то вроде бы гуща золотистая...

- А чем вам плохо? Все равно что кофейная гуща, только из золота. Отдыхать не буду, спешу. Это я так остановился, на вас посмотреть и сигару выкурить в тенечке. Что-то

ваш дом бородой оброс, позвали бы цирюльника.

- И все ты видишь, а того не видишь, что я бедная, никто мне денег не даст, не скажет: «Возьми, Монча, дом покрась...» Раньше я сама его чистила. На лестницу влезу, метелкой обмету и мох этот, и паутину мерзкую. А то один раз нашла я там змейку. Никак не могла согнать, истинно - гадюка... Разрубили мы ее пополам, перед убежал, а зад остался. Люди и стали говорить, будто я ведьма.

- Тихо тут у вас...

- Помер мой двор, никто не зайдет, только вот постоянные мои, например письмоноша, сеньор Ничо.

- Заходил он?

- Да, ночевал. Туда вон вроде отправился. Хотела я ему посылочку дать, но она большая, места не было. И потом, поговорили мы с ним, что-то мое сердце почуяло...

- Он человек верный.

- Верный-то верный, а сам ведь знаешь про жену. Я ему намеки намекала, не скажет ли чего, и вот, не поверишь - молчит и молчит. Оно жаль, я хотела ему сказать, чтобы по большой дороге не шел. Слезь ты с мула, Иларио, кофейку выпьешь...

- Спешу я, донья Мончита, другой раз зайду, сейчас времени нет. Спасибо вам, считайте, что я угостился. А почему вы хотели

сказать, чтобы он не шел по большой дороге?

- Опасно ему там идти. Он почти несет, а если ненароком явится жена, станет звать, он и свалится в пропасть. Нагонишь его - скажи, чтобы на вершину не лазил.

- Россказни все, донья Мончона. Мало им людей оговаривать - камни оговаривать стали, а разве камни за наши дела отвечают? Оно конечно, что-то на этой вершине есть, жутко там проходить, холодно, зябко, в глазах темнеет, воздух в носу замерзает, как снег, кости ломит, будто скелет твой шкуру продрал и наружу вылез, но это от высоты и от дождей. Тучи висят, солнце когда-

когда проглянет, и дорогу всю развезло, того и гляди, в пропасть свалишься. Но вот что до меня, донья Монча, я там проходил и утром, и вечером, и днем, и ночью, и ничего такого не слышал, не видел.

- Ты вроде бы спешил...

- Я и спешу, а что с того? Угощайтесь, донья Мончита. Он протянул ей лиловатую сигару из кукурузных листьев.

Старуха поглядела на нее, затаилась и сказала:

- Такие вот листья бываю!, когда маис растет у наших ручьев, где красная вода. Ты ни во что не веришь, потому что гордый. Гордым, куда им верить! Вера - для людей

смиранных. А только малое, униженное силу в себе имеет. Погляди хоть в лесу...

Они помолчали, каждый думал о своем, словно высасывая мысли из сигары, и с удовольствием, долго выпускали их с дымом через ноздри и через рот. Потом старуха развеяла дым, стоявший перед ней в весеннем утреннем прозрачном воздухе, постучала мизинцем по окурку и снова принялась укорять погонщика за его неверие.

Иларио же тем временем думал о своей Мигелите Акатанской. Как-то спьяну, наплакавшись (он всегда спьяну плакал, словно водку гнали из плакучей ивы), он выдумал историю

про любовь Нила к Мигелите и про швейную машинку, которая стучит в городке после полуночи...

И кто только это не повторял, хотя он сам все выдумал! Он даже в церкви слышал, как молились за упокой Мигелитиной души. Жители искали в церковных книгах запись о крещении этой мифической девицы. О ней рассказывали детям и невестам: непослушных детей пугали, что их швея заберет, а своенравным невестам напоминали о недреманной машинке, вестнице любви к недостижимому, которая вторит серенадам и споспешествует женихам. Ему ли, создателю легенды, верить в текун?

- И еще ты меня одно спрашивал, а я тебе ответила честно. Про Мигелиту я слышала от бабушки, Венансии Корсантес Сан-Рамон. Она и песенку знала, только никак не припомню... Запою-ка я, слова и придут...

*Я прошу, молю божью мать,
чтоб меня увели под стражей,
окружили меня, связали.*

Утешенье мое - тюрьма.

Мигелитой ее крестили,

Акатанской ее прозвали,

*а в тюрьме стоит божья
мать,*

темноликая, как она.

- Не может этого быть, донья Монча, я это сам выдумал, покойным

отцом клянусь, господом богом
клянусь - все выдумал спьяну. В
голову взбрело, язык сказал, оно
правдой и стало. Это уж прямо
выходит, как будто слюна, которая
сейчас у меня во рту, - не моя! Ведь
что такое слова? Та же самая слюна,
из рта льются.

- Значит, не веришь мне?

- Да вроде бы нет...

- Тогда послушай. Люди часто
думают, что они сами сочинили, а
это просто другие забыли.
Рассказываешь такое, забытое, и
думаешь: это я сочинил, это все мое.
А на самом-то деле ты чужое
вспомнил, напился - и всплыло у
тебя в крови то, что память предков в

тебе оставила. Ты ведь не только Иларио Сакайон, ты - все Сакайоны, какие были на свете, и еще все Арриаса, с материнской стороны. Твои предки жили тут, на этой земле.

- Старуха поморгала так легко, словно говорила веками, и продолжала: - Ты учуял чутьем про Мигелиту, словно в книге глазами прочитал, а пьяный язык это раззвонил. Не ты бы сказал, другой бы нашелся, не дали бы про это забыть, потому что было оно, не было, а в здешнюю жизнь вошло. Жизнь умереть не может, она всегда опасная, а погибнуть ей нельзя.

- Одно скажу, я все по-своему переделал. Тогда ведь, когда песню

эту вашу сложили, сеньора Нила не было. Я Мигелитино имя связал с человеком, про которого мне рассказывал отец. Спьяну и не то свяжешь.

- Значит, человек этот и машинка вроде ублюдков; но тут плохого нету, зато их не забыли и стали они как река. Легенды как реки, где текут, там и берут все, что попало, или уносят хотя бы отражение. Человек этот и машинка отразились в Мигелите.

Иларио раскурил от окурка новую сигару, сплюнул и стал глядеть на широкую равнину. Взор его уткнулся в застывший поток гигантских камней. Он полагал, что

горы - это камни, которые катились откуда-то и вдруг стали, замерли, остановились.

- Поеду, донья Монча, а на обратном пути поговорим. Вам тут птичка останется.

- Осторожно езжай, не скачи.

Старый пес устал спать, потянулся, встал на лапы, тонкие, как перья лука, и, пропуская всадника, прижался к стене, а потом хрипло и неохотно полаял. Донья Рамона, или Старая Ведьма, как называли ее те, кто считал колдуньей, снова принялась беседовать с прекрасной птицей, у которой были нежные, словно пух, перышки и яркие, словно искры,

глазки.

- Иди сюда, скачи, ковыляй, - приманивала она. - Я тебе маису в голубой воде размочила. Зеленой воды пить нельзя: травой станешь, петь не сможешь, а красная - хуже всего: от нее потеряешь разум и тебя подстрелят. У тебя под перьями тоже мозги есть, ты тоже думаешь - хорошо проснуться, хорошо погулять, хорошо свою Мончу увидеть... Иди сюда, ковыляй! Что, не нужна тебе моя забота?

Мончина тень вползла в курятник. Свиньи, просунув голову в сбитые треугольником дощечки, заверещали и расхрюкались так, словно их режут; куры в

сопровождении цыплят заметались и заклохотали, приподняв крылья; петухи нагло двинулись вперед, отбрасывая на бегу украшенные шпорами ноги; утки закричали и с трудом, вперевалку, пошли к дверям, словно не шли, а землю пахали; голуби слетелись к хозяйке поклевать маисовых зерен у нее из фартука.

Ну и прожорливы скот и птицы! А что поделаешь, их самих едят, и нас тоже едят черви.

Прекрасная птица прыгала с червячком в клюве.

Ах ты, вот оно!... Донья Монча поднесла руку ко лбу и почмокала, словно память, как червячок, упала ей на кончик языка. Да к чему и

вспоминать песенку - Иларио уже далеко.

*Нагрузили погонщики мулов
золотой, серебряной кладью,
повели их к синему морю,
божья мать стоит одна.*

*Божья мать в тюрьме стояла
до тех пор, пока Мигелита,
золотая краса Акатана,
не ушла от нас навсегда.*

*Глаза у нее как угли,
уста у нее - гвоздика,*

*божья мать в храм
перебралась.*

Мигелита навек ушла.

Дальше она вспомнить не могла
и долго стояла, запустив пальцы в
жидкие волосы. Была бы гитара,

слова бы припомнились. Птица съела своего червя и взлетела на ветку, усеянную душистыми цветами, к которым устремлялись бабочки, пчелы и даже зеленые вредоносные слепни.

А ведь что-то в песне есть и дальше, только никак не вспомнить. Донья Рамона почесала зад, пробормотала несколько слов и посмотрела, чем бы заняться. Вот метелка, вот тряпка пыльная... За образом пресвятой троицы заткнуты ветки, от грома... Мяукнула кошка, пятнистая, словно бабочка. Донья Рамона принялась искать мазь от чирьев. И еще ее подташнивало. Она прилегла. Не надо было пить

шоколад, а как не выпить на свадьбе - он такой вкусный. И на крестинах им угощают, какой праздник обойдется без шоколада и без тортов с птичками? Таких птичек младенец Христос сотворил из крошек, когда иудей стал было топтать хлеб. Младенец Христос только дунул, и крошки птичками взлетели с земли.

Мул пошел медленней, и погонщик решил, что проклятая вершина близко. Тут и звери идти не хотят, подумал он и надвинул шляпу на лоб. На затылок он сдвигал ее для форса, а сейчас надо глядеть исподтишка, как бы из укрытия.

Ему так живо припомнилась история о Мачохоне, который ехал к

невесте и обратился в светило, что перед глазами у него замелькали светляки. На того всадника налетела целая стая искр, и они его загубили.

- Эй, ты! - прикрикнул он на мула, который стал упираться, и дернул узду, чтобы повернуть его влево.

Липкий ледяной туман заползал ему под шляпу, под волосы, под куртку, под рубаху, под штаны, холодил руки, грудь, босые ноги и даже краги на них.

Светляки на него напали, но всадник им не поддался и ходит светочем в небе, крепко в седле сидит, спускается он на землю, туда, где лес выжигают, весь в золоте - от

сомбреро до черных конских копыт.

Иларио провел рукой по лицу. На лбу и на щеках как будто выпали иней. Иларио потер нос. Дышать туманом вредно. А что поделаешь, когда в этом белом краю едешь сквозь облака. Они сталкиваются бесшумно, сливаются, оседают на землю, взлетают, внезапно застывают от страха.

Когда в глазах зарябило летучее золото, неяркое в дневном свете и в белесом тумане, Иларио сжался и душа его прилипла от страха к костям. С ужасом следил он за искрами и думал о Мачохоне. Он подобрался, вынуждая себя глядеть на них прямо и не впадать в панику.

Главное тут - стремя не потерять. Что-что, а светляки и его из седла не выбьют. Вскоре облако искр миновало и потянулось сзади, словно кисея в блестках, которой покрыта голова тюремной Пресвятой Девы.

Поводья выскальзывали у него из рук, мул то и дело спотыкался, и это отдавалось у него в мозгу. Он раскидывал руки, набирая в легкие воздух. Вершина была совсем близко, земля стала блестяще-бурая, росли искривленные сосны, и тропа шла сквозь облако легче, чем мул. Иларио понукал его: «Эй, серый! Пошел, пошел!», пришпоривал, хлестал поводьями, только бы выбраться поскорей оттуда, где земля уходит из-

под ног. Но мул упирался, они висели в пустоте, застряли в облаке, словно окаменевший Мачохон. Его пробрал озноб, зубы - так-так-так - застучали, и шпоры затряслись, как железные цветы на ветру. Лучше свалиться в пропасть, чем застыть навечно камнем, обратиться в облако! Он нащупал револьвер и подумал, что в барабане - пять спасительных пуль. В случае чего можно застрелиться, а мул пускай сам выбирается. Только бы до конца света не торчать здесь, как белый овощ, картошка с корнями на голове, луковица с бородой, лысая брюква.

- Мария Теку-у-ун!... Мария Теку-у-ун!

И крик, и имя пропали в гулком громе, отдававшемся в пропасти его ушей. Он прикрыл уши и прислушался. Крик шел не извне, изнутри. Имя женщины, которую все кличут, чтобы вызвать из глубины сознания свою Марию Текун.

- Мария Теку-у-ун! Мария Теку-у-ун!

Кто не звал хоть раз, кто не кликал женщину, затерявшуюся в прошлом? Кто не искал, как слепой, ту, что отделилась от него, убежала, ушла и все уходит? Беглянку, Текуну, не удержишь - если остановишься, время обратит ее в камень.

- Мария Теку-у-ун! Мария Теку-у-ун!

Здесь, на вершине, имя это обретало всю свою горечь. Высокое «Т», две маленькие пропасти и бездонная пропасть «у».

Иларио был на самой вершине, у камня, вросшего в землю над бездной, к которой не подходил никто, только тучи бросала в нее невидимая рука.

Камень Марии Текун, образ измены, образ ушедшей, уходящей любви, убегающей и неподвижной. Он высок, словно башня, ветер играет на нем, как на флейте, и поверхность его тускла, потому, что он, как луна, светит только чужим светом, и еще потому, что он потускнел от воспоминаний.

- Мария Теку-у-ун! Мария Теку-у-у-у-ун!

Слепой голос слепого. Говорят, у слепца сошел туман с глаз, он здесь прозрел, но все вокруг ослепло, все застлала мыльная вода, в которой ничего не удержишь, ничего не увидишь, предметы скользят и стираются, словно буквы на школьной доске, плоские черные камни кажутся застывшими ящерицами, а голые деревья - рогами вмерзших в лед оленей.

Дорогу перебежал койот, выскочивший из-за невысоких сосен. Койот был совсем близко, рядом, но сразу исчез из виду в дымке дождя и гибких, как резина, зарослях. Там,

куда он юркнул, струилась по камням вода.

Иларио засвистел. Он вытянул из костей все железо, чтобы свистеть позвонче. Опасность миновала. Перед ним был обитаемый мир, где пылали цветы, пестрели цветочки, зеленели пастбища, вздымались в небо озябшие тополя, бродили стада овец, летали красные птицы, дикие утки и дым шел из кухонных труб.

Все, еще свистя, он сдернул ремешок от шляпы, душивший его, и вспомнил, что отец Валентин дал ему четки, а дон Деферик - сигару. Хорошо читать молитву и курить. Он выпустил поводья. Ни курить настоящие сигары, ни молиться он

не умел. Иларио засмеялся, и свист со смехом вместе зазвенели, словно колокольчики.

Был койот или не был? Как не быть, он же видел сам. В том-то и беда, что видел, но не совсем койота, как бы и человека, и притом знакомого. Иларио засвистел так сильно, что всосал кусок щепки. Его засмеют, если он скажет, что успел на вершину вовремя, как раз застал письмоношу в виде койота, когда тот (это придется соврать) был на текуний камень, под чьей шершавой, мокрой от слез шкурой томятся души беглых жен. Под стопой у этих беглянок прах и пепел, за спиной - ветер, срывающий гнезда, руки их -

осколки посуды, глаза - невеселые и немые кокосовые скорлупки, лишённые молока и мякоти, губы улыбаются лукаво и коварно, в срамных местах - один срам, а в сердце - злой смех досады. Они потеряли все, чего так страстно жаждут.

Иларио встряхнул головой - думал, думал, а толку нет, - укрепил ремень под подбородком, чтобы не придерживать шляпу, которую ветер пытался пустить по воздуху, как птицу, пришпорил мула и миновал какой-то хутор, по-видимому, единственное тут жильё.

Ему велели догнать письмоношу Ничо Акино, проводить по опасным

местам и вернуться; но видел он его или не видел? Непонятно. На вершине не было живой души, кроме чертова койота.

Он ехал, куда вез его мул. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, надо догнать письмоношу, хотя бы на центральном почтамте.

Дорогу ему перешел обоз. Погонщики лежали на спине в телегах, но не спали. Он поздоровался с ними не из добрых к ним чувств, а для того, чтобы спросить про сеньора Ничо. Письмоноша им не попадался. Они его знали хорошо, но по пути не видели. Отвечая, они даже не приподнялись, не поглядели, кто

спрашивает.

- Заважничали, клад какой везут! Бездельники, ответить по-людски не могут! Проснулись бы! Приличные люди - не лошади, с открытыми глазами не спят!

Он крикнул бы им все это и многое еще. Красные птички взлетали с дороги, когда он подъезжал к ним вплотную, словно пари держали, кто дольше не испугается опасности.

Навстречу ехали мужчина и женщина верхом на конях. Иларио увидел их, когда они были рядом - так загляделся на алых птичек, да и появились они из-за поворота. Конь, на котором сидела женщина, пошел

по самой середине дороги. Иларио посторонился, чтобы с ним не столкнуться. Женщина чуть не выронила клетку, которую заботливо держала в руках. В клетке бились крылья, а красивые, как у куклы, косы бились у женщины на груди. Глаза у всадницы были зеленые, лицо бледное. Мужчина придержал коня, тот заплясал на месте. Путники поздоровались, хотя не знали друг друга, так уж заведено в пути, и погонщик спросил о письмоноше, не попадался ли он им. Ехали они из столицы и вроде бы никого такого не видели. Почтальоны ходят по боковым тропкам, слышал Иларио из облака пыли, которую подняли

копыта удаляющихся коней.

Что же, значит, он так и пошел, подумал Иларио, или койотом обернулся, говорят ведь люди, что он потому и носит письма быстрее всех. Не приведи господь, его я и встретил на Вершине Марии Текун. Лучше об этом не думать, очень жутко, я что подумаю, то и выходит. Правда, что тут плохого может выйти? Встречу я его на почтамте, на месте как бы преступления, когда он почту будет сдавать. Встречу, огляжу с головы до ног, чтобы убедиться, он ли это, сеньор Ничо, который вышел из нашего Акатана, хоть и оборачивался по пути койотом. Наверное, все же не тем, что мне под ноги попался,

тот какой-то был перепуганный. Значит, погляжу и поеду скорей назад, сообщить, что он добрался, письма ихние дошли и деньги, им главное - чтоб дошли деньги, а не всякие там словеса. Конечно, что писано пером, не вырубишь топором, а все-таки время пройдет - оно и не нужно!...

Он так долго не спал, не ел и так далеко ехал, что глаза у него стали как вишни из наливки; он так долго сидел в седле, что ноги онемели, спину разламывало, голова то и дело падала. Так и вступил он в столицу, зато пленную утренней тишиной и утренним шумом и окруженную с запада спящими горами, а с востока -

пылающим на солнце песком.

Дымок над кофейными чашками смешивался с дыханием вставших пораньше жителей, пришедших позавтракать под сейбой, где у большого стола хозяйничала женщина, а поленья, пылавшие в очаге, будили гулом пламени птиц, сидевших на огромных, раскидистых ветвях.

Женщина осторожно снимала с огня бурлящий кофейник, далеко отставляя руку, чтобы не обжечь паром уже обожженное солнцем и дымом лицо. За спиной у нее спал младенец, руки были голые, платье - бедное, полупрозрачное, словно шкурка посиневшего от холода

недозрелого плода.

Когда погонщик спросил чашечку кофе, она поинтересовалась, не Хусто ли он Карпио. Тогда ему надо поскорей уходить - его ищут. Он ответил, что его зовут иначе, и она любезно объяснила, что Карпио обдурил это чертово начальство, подсунул золу вместо извести, и вчера целый день не могли работать.

К столу подошел водопроводчик и пропыхтел: «Здравствуй, Хуана» - из-под шарфа, закрывавшего ему и шею, и рот. Он положил на землю отвертку, а женщина подала ему кофе. Водопроводчик чуть горло не спек, кофе прямо кипел, потом вынул пригоршню желтоватых сигар,

толстых, словно удавы, и взял одну губами прямо из горсти. Погонщик глядел на него. Роста он был примерно такого же, как сам Иларио, но казался выше из-за городских брюк, хотя нахлобученная чуть ли не до плеч шляпа и укорачивала его. С женщиной они беседовали о золотом зубе. Водопроводчик, еще раньше опустивший шарф, чтобы пить кофе, затаился как следует, выпустил дым через ноздри, отчего уподобился двустволке после выстрела, разинул мясного цвета рот и показал золотой клык. «Красота», - не то сообщил, не то спросил он. «Вам к лицу, - отвечала женщина, - дело хорошее, а куда вы сейчас направляетесь?» -

«На ипогром, - сказал водопроводчик, - трубы прочистить, засорилось у них что-то, вместо воды одна грязь идет». - «Вот мы грязь и пьем, - сказала женщина, моя чашки в тазу, - повсюду одни беды, все дорожает, а смерть не берет, хоть нас скорпион кусай самый ядовитый, мы лекарства загодя наелись». Водопроводчик засмеялся, сверкая золотым зубом.

Зашел старичок, которого звали или прозвали Сосфеном. Кофейница знала его, если знаешь вообще тех, кто заходит выпить кофе с утра, когда ты еще толком не проснулась и слабый свет от плиты смешивается со слабым светом солнца. Она его

знала, он давно ходил к ней по утрам, но звала просто «дон», без имени, подозревая, что Сосфен - это прозвище.

Старик отхлебнул кофе, посмаковал и, прихлебывая, стал оглядывать глазками, вернее, очками все вокруг, словно заново открывая дерево, церковь и старые, веками стоящие здесь дома. Допив свою порцию, он расплатился, потоптался как-то беспомощно, потер руки и пошел. Кофейница крикнула ему вслед: «Не забудьте, завтра я не работаю; может, на рынке позавтракаете!» Дон Сосфен вернулся, переспросил, понял, сердито потряс головой и сообщил,

что профессорам нельзя пить кофе на рынке - это пятнает их ученую честь. «Оно и лучше, - говорил он, - оно и лучше, незачем мне завтра наедаться перед лекцией о богоподобном Платоне...»

Трое мужчин вошли и спросили кофе, кофе, кофе. По лицам их было видно, что они не спали всю ночь, а несло от них луком и потом. «Играли вчера?» - спросила кофейница, ставя перед ними три дымящиеся чашечки. Самый толстый, высокий мулат с черными глазами, отвечал: «Серенада была, а сегодня в девять утра опять работать, ни отдыха, ни срока». - «У вас теперь новая маримба?» - спросила кофейница.

«Нет», - отвечал мулат, стараясь найти ручку у чашечки, чтобы не обжечь пальцы. Другой музыкант вынул из брючного кармана платок, чихнул и высморкался. «Ребенка разбудите, кто так чихает, маримба - и то тише!» Ребенок заплакал, мать перебросила его со спины вперед и вынула полную молока грудь. «Хуане бы кофе с молоком продавать», - сказал третий музыкант. «И твоей кухарке тоже, только у нее выйдет кофе с мусором».

Пришел, насвистывая, новый посетитель, наполовину итальянец, в куртке с поднятым воротником. За ним бежали охотничьи собаки. С соседней колокольни крикнул

пономарь: «Хуана, вари мне кофе». «Скоро служба!» - спохватилась она, задирая голову. Музыканты и охотник ушли, о чем-то беседуя.

Иларио расплатился. Вынимая деньги из узелка, он сказал: «Значит, завтра вас здесь не будет...» - «Да, я завтра... - начала она, но прервала фразу, чтобы не объяснять своих дел назойливому чужаку, и сменила дружеский тон на язвительный: - А вы что, уезжали и вернулись?»

Зазвонили колокола и прервали их разговор. Погонщик иронии не уловил и ответил, что вообще нездешний. Мула он привязал к тумбе и теперь отвязал его и отбыл, а навстречу ему валил самый разный

народ: кто с ношей, кто верхом, кто в повозке. Мужчины, женщины, дети разбредались по городу. Кто ехал верхом, тот двигался быстро, кто что-нибудь нес на спине или в руках, тот трусил рысцой, а телеги едва-едва продвигались, словно по болоту. Ракетами неслись автомобили, легче ракет летели велосипеды со спицами и еще какие-то, плюющиеся паром, тяжело катились нагруженные дровами грузовики.

С одного грузовика на Иларио залаяла собака, прямо в лицо, в самые уши, и он испугался, потом фургон чуть не наехал на мула, но вообще погонщику было весело, ему нравилось, что кругом столько

народу, самого разного, молодых и старых, низеньких и высоких, здешних и нездешних, со всей страны. Он никого из них не знал, одеты они были пестро, шли все в разные стороны, и не только по делу, а словно им положено было гулять по улице, чтобы город кипел жизнью весь день напролет. Иларио остановился у каких-то ворот. В каменном амбаре торговали сеном. Погонщик оглядел толстые охапки у стены и крикнул продавца. Тот, дергаясь, словно жеребенок, взял у него деньги и сказал: «Берите ваше сено». Обиженный Иларио поправил его, уточнив, что сено нужно не для него, а для мула. Сперва ему в городе

очень понравилось, но, пока он ехал, глаза по сторонам и разинув рот, лоб его все больше морщился, словно вода под ветром, - каждую минуту ему чудилось, что его вот-вот унижат. Он сжимался от страха, как купленный петух, и, чтобы взять над городскими верх, думал обо всех: «Бедняги!...» По мостовой прошли оркестранты. Погонщик посторонился. Они прошагали совсем рядом, надутые, потные, одинаково одетые. Он поглядел на них и с глубокой жалостью сказал: «Бедняги!...» Подальше, на возвышении, словно лектор на кафедре или судья на ринге, стоял полицейский и белыми руками

регулировал движение; разглядев его как следует, погонщик с удовольствием сказал: «Бедняга!...» О солдатах, прошедших мимо с барабанами и трубами, и говорить было нечего - куда несчастней!... И вопивший газетчик, и индейцы с метлами, и тихие студенты в одежде одного и того же цвета сокрушали его сердце так, что он тайком (в городе все увидят) сжимал обеими руками луку седла. Что ни говори, он путник, всадник, а они тут сидят сиднем, ни в чем не смыслят. Ах, бедняги!... Бедняги!... Разбедняги!...

Проехав еще, он остановился у какого-то дома - мула напоить и посмотреть, нет ли здесь знакомых,

которых можно спросить о сеньоре Ничо. Мула он напоил и кинулся прочь: из комнат несло давленными клопами. Люди прямо друг на друге живут. Вот бедняги так бедняги!...

Магазины, торговавшие одеждой, были прекрасны, как алтари. В витринах висели брюки, пиджаки, юбки, детские вещи. На полках лежали ткани, и приказчики неспешно разворачивали их по всему прилавку, если кто-нибудь покупал кусок. Подумать страшно - целый день на ногах! Ноги отвалятся, а сам ожиреешь, будто каплун. Улыбайся, прилизывайся, себя в чистоте держи... Ах ты, бедняги, и не знают, какой в горах ветер! Были среди

магазинов и аптеки. Когда зуб заболит, аптека раем покажется, так было и с ним в прошлый приезд. А там ведь и яд стоит в скляночках, блестящих, как гадючьи глаза. Таким ядом убили в первый раз иломского касика, но он выпил целую реку и воскрес, а потом по своей воле утонул, когда его индейцев всех порешили. К аптеке впритык стояла обувная лавка, и казалось, что башмаки сами ищут необурых, как он, - у него, Иларио, ботинки были, он надел их, въезжая в город, но в горах снимал, босым куда как легче. «Металлические изделия». Инструменты всякие, ножи, кинжалы, прямо как на танцах в

деревне... И плуги, и подставки для ламп... На площадях стояли статуи на манер святых в церкви, только из камня, и, заворачивая к рынку, Иларио подумал, как всегда: «За что бы это лошади поставили памятник?» Превратили в камень беднягу, поставили на шумной улице, да еще полтуловища - в стене, которая сама как окаменевшее время. Его, Иларио, время не касалось. Все старели вокруг него; все видели его - и не видели. Так, еще одна пешка на шахматной доске города... Одни дети глядели на него. Дети и приезжие.

Они с мулом тысячу раз поднимались к рынку по Солнечной улице, но с ними всегда был

Порфирио Мансилья. Сейчас Иларио не сказал ему, что едет, а то бы тот его одного не пустил. Но когда едешь с поручением, товарища брать не надо, и к тому же Порфирио занят: он собирался к морю - двух мулов купить.

Иларио прибыл из тихих краев, но уже принаравливался к толкотне и шуму. Проезжая мимо скульптурной мастерской, он приостановился. Нехорошо смотреть на неосвященных святых, но бес подстрекал его. И зачем это разрешают делать святых, как манекенов каких-нибудь или комоды? Иларио знал одного деревенского индейца, который,

получив заказ, брал свои инструменты, исчезал, до самого конца работы молился, и видели его статую одни только цветы. Может, поэтому Иларио было неприятно смотреть, как за балконом, за окном, курят, свистят и сплевывают мастера и стоят голые безногие святые, просто чурбаки. Он обтер рукой пот. Да, и об этих городских святых иначе не скажешь: «Бедняги!...»

С ним поздоровался знакомый, Минчо Лобос. Увидев его, Иларио, прямо в седле, кинулся его обнимать.

- Чудеса! - сказал приятель. - Вот не ожидал! Куда едешь?

- Чудеса не чудеса... - отвечал Иларио, обрадовавшись, что можно

перекинуться с кем-то словом, и, отъехав к тротуару, прибавил: - Ах ты, Минчо, Минчо! Куда едешь? Что поделяваешь? Я тебя сто лет не видел.

- Да так, ничего. И я тебя не видел. А еду я вернуть Пресвятую, нехорошая вышла, почтения не внушит.

- Не годится, значит...

- Глаза у нее злые. Слезай с мула, вместе ее возвратим.

- Я на почту спешу. А ты часом не встречал нашего Ничо Акино, письмоношу?

- Письмоношу, говоришь... Да нет, вроде не видал. Пошли со мной, я Деву отдам и тебя провожу.

Иларио согласился. Кого не уговорит Минчо Добос! И рожа у него такая добрая, и просит от всей души.

Индеец-носильщик тащил статую, обернутую простыней. Все трое вошли в мастерскую, неслышно ступая по стружкам, а встретил их приветливый запах кедра, краски и лака, отдающего бананом.

Минчо Лобос был человек добрый, мирный, незлобивый, но тут он накрепко схватился с главным скульптором, бледным человеком с пышной гривой, похожими на брови усами и галстуком-бабочкой. Вещи здесь были хрупкие, деликатные, и погонщик старался двигаться

поосторожней, чтобы не свалить ненароком святых, стоявших на столах, верстаках, скамьях, полках. Святые были пыльные, никто о них не заботился, и солнце на них не светило, хотя оно и сверкало во дворе, заливая светом темную свежую зелень.

- Хоть даром дарите, не возьмем! - голосил Минчо Лобос. - Пускай она писаная красотка, а глаза у нее злые!

- Да что у нее с глазами, объясните вы мне?

- С глазами у нее... Не знаю, не объясню, тут понимать надо. Глаза - зеркало души, а разве вот у нее отражается душа Божьей Матери?

- Если вы не можете ничего объяснить, как же я ее заменю? Лицо делать долго и трудно. А труднее всего его оживить. Вы и представить не можете, сколько надо терпения, пока наводишь на дерево лоск собственной слюной и свиным пузырем. По-вашему, сделал, и все...

- По-моему, не годится она. Я плачу, могу же я и требовать! Глаза не те...

- Глаза у нее святые, - пояснил скульптор глухим, чахоточным голосом. - У святых в глазах ничего не отражается. Вот вам святой Иоаким, вот святой Антоний, вот, подальше, святой Франциск, вот Христос несет крест...

- О вкусах не спорят. Меняйте ей глаза, а то не заплачу. Найдем другого, не вы один на свете.

- Это будет нечестно, мы же договаривались, и я согласился взять пока что половину платы. Всегда что-нибудь да не то выйдет, если заказ из деревни. Говорят, платье шить на заказ - лучше удавиться, так что же нам сказать, когда такие темные заказчики!

- Вы меня не оскорбляйте, а перемените ей глаза!

- Опять вы про глаза!

- Да, про глаза. Вы ей, прости меня господи, звериные какие-то вставили... - Минчо Лобос затрясся сам от собственных слов, но сказать

их пришлось, он шел до конца. Губы у него дрожали, плясала шляпа, которую он держал в руках, и лицо посерело.

Вошел молодой подмастерье, насвистывая вальс из «Веселой вдовы». Завидев чужих, он замолчал, положил на стол свертки в тонкой бумаге и, воспользовавшись наступившим молчанием, сказал:

- Принес я вам оленьи глаза. Говорят, ставьте их снова, других нету. Вот еще тигриные, может, понравятся. Есть у них и птичьи, но эти покруглей и посветлей.

- А тебе бы ослиные вставить! - возопил скульптор, трясясь от ярости, как лист, и кидаясь на

ученика, который тут же и выскользнул за дверь, зная по опыту, каков во гневе маэстро. - Этот лавочник меня обманывал, - объяснил он пришельцам. - В каталоге значится «Глаза для святых», а что общего у святого со зверем?

- Продавец, когда их паковал, - робко вмешался подмастерье, - сказал кассирше: «У святых и у зверей глаза одинаковые, потому что и те и другие безгрешны».

- Сам ты зверюга! Мне вернут из деревни святую Анну - кому нужна Анна с оленьими глазами! А Иоанн Предтеча!...

Почта была недалеко. Лобос

отослал индейца назад, объяснив ему, что матушка Дева останется тут, ее поправят, приукрасят. Иларио вскочил на своего мула, Лобос на коня, они вмиг одолели две-три улицы и остановились не у главного входа, а за углом, в длинном, узком переулке.

- Войду, где у них выход... - пояснил Иларио приятелю, а тот остался сторожить мула и коня.

Как был, при шпорах, со шляпой в руке и мешком через плечо, он вошел в большие двери и увидел множество людей в светло-зеленой форме. Одни сидели на длинных скамьях, расстегнув китель и вынув потные пятки из ботинок, другие

шатались по залу, и никто ему не отвечал. Они и не слышали его - кто перешучивался, кто потягивался, кто растирал усталые от ходьбы ноги, кто собирался сортировать письма, прибывающие отовсюду в полных и полупустых мешках, на повозках, на телегах, на служебных машинах или просто у почтальонов на спине. Иларио пошел дальше, и наконец какой-то высокий и тощий человек им занялся. Он услышал его вопрос, покачал черепообразной головой и что-то собрался сказать, но в носу у него засвербило, он замахал руками и оглушительно чихнул, держа наготове носовой платок. Иларио спросил снова, и темнолицый

чиновник повторил словами то, что уже выразил знаками: почтальон из Сан-Мигель Акатана Дионисио Акино пока что не являлся. Должен был вчера к вечеру прийти, самое позднее - сегодня утром, но подевался куда-то.

- Обычное дело, - ворчливо прошамкал старик, лязгая плохо прилаженной челюстью. - Доверяют человеку, он деньги носит, хотя, заметьте, не кассир, а лишнего ни гроша не платят, и на дорогах у нас небезопасно. Идет он боковыми тропами, один, часто без оружия. Ваш этот сбежал, а сколько их уходит за границу, не перечесть. - Тут он потер костлявые руки. - Деньги в зоб,

и поминай как звали.

Иларио глядел на него, не в силах вдохнуть воздух. Он весь горел, словно его обложили горчичиками, он маялся, как корень без земли, как река без русла, пробивающаяся сквозь сонные заросли, предчувствие томило его. Он понимал, что выходит в океан правды. Не слова чиновника его напугали - он и так все знал заранее, хотя и не хотел верить, а теперь уж сам убедился в том, чему противилось все его человеческое естество: и плоть человека, и дух человека. Как поверить, что твой брат, рожденный и вскормленный женщиной, омытый ее слезами, по своей воле обратится в зверя, в

животное, втиснет душу в низшую тварь, которая сильнее его, а все-таки ниже?

Сеньор Ничо и койот, которого он встретил на вершине, - одно и то же. Он видел этого койота вблизи и чувствовал, что он человек, и даже знакомый.

Иларио молча вышел, отирая рукавом со лба капли холодного пота. Кое-как нахлобучил шляпу и, сам того не замечая, очутился в заросшем травой переулке, где синели жестяные, колючие листья каких-то растений и нежно желтели легкие, как мотылек, цветы.

- Худо тебе, - сказал Минчо Лобос, взглянув на его искаженное

страхом лицо. Иларио взял поводья из его рук, намотал их на свою руку и сел в седло. - А мне и того хуже, - прибавил Минчо, укрепляя подпругу. - Знаешь, прямо не могу домой явиться. Они там ждут-дожидаются узнать, что стало с Девой. Когда я ее принес, мне сразу показалось, что у нее глаза не такие, но все обрадовались, разликовались, и я решил - ничего. А теперь мне прямо в лицо скажут: как не стыдно! Нет, ты посуди, разве можно вставлять святым чучелиные глаза?

- Вот что, Минчо, прав-то ты прав, но убиваться тоже не стоит, не к чему, пойдем лучше выпьем, и я тебе расскажу, что со мной было.

Страшно мне! У других зверей глаза
человечьи.

- Это у чучел?

- Нет, у живых. Чего ж тогда
удивляться, если у святого глаза... Ну
скажем, как у койота...

- Одумайся, что говоришь! Не в
лютеране ли подался?

- Еще чего!

- Спасибо за приглашение, но
выпьем мы с тобой в другой раз.
Если я пьяный вернусь да еще скажу,
что Пресвятой Деве вставили оленьи
глаза, они меня на месте прикончат,
они такие.

- А ты не допьяна пей.
Пропустим по глоточку...

- Нет, Иларио, спасибо тебе. И

про зверей с человеческими глазами в другой раз послушаю. Я и сам знаю, что они есть, мне дед рассказывал, он видел лекаря, который обращался в оленя, в Оленя Семи Полей, но то в старину...

Минчо Лобос протянул погонщику руку. Они простились. Каждый поехал в свою сторону, туда, куда влекли его думы. Иларио чуть не обогнал машину. Мул его несея так, как никогда не несея, искры из-под копыт летели. К счастью, он слушался всадника и не своевольничал.

В парикмахерской, как всегда, Иларио уселся в кресло, словно в седло, устроился поудобней и

позвенел шпорами. Парикмахер, дон Тринидад Эстрада де Леон Моралес, приветливо похлопал его по спине.

- Постригите, как я люблю, и побрейте, - велел Иларио сразу, еще вешая шляпу, а теперь, закрытый простыней ниже колен, повторил: - Побрить и постричь, как я люблю.

- Не беспокоит? - спросил дон Тринидад, брея ему шею машинкой.

- От этой вашей штуки зубы болят, придется в аптеку идти.

- Вот еще тут немножечко, а то не выйдет по вашему вкусу, дон Ила. Вы мне пока что расскажите, как там, что в ваших краях. Дороги сейчас вроде бы ничего... Вы как, надолго к нам?

- Сейчас уезжаю...

- Значит, не за покупками... А дон Порфирио не приехал, дома остался. Я думал, вы вдвоем, как всегда - вы же прямо братья, все вместе, смотреть приятно. Я слышал, в тот раз у вас мул пропал или украли его.

- Потом нашли. Он ушел гулять, понравилось ему у вас.

- И вам, я думаю, у нас нравится...

- Нравится, а жить бы не остался. У вас тут всего много, и плохого тоже. У нас всего мало, но что уж есть, то хорошее. И свободней там, в горах. Вы тут, бедняги, как в тюрьме, на все разрешения просить,

что запрещается, что воспрещается, шагу не ступишь. У нас там попроще люди, распоряжаются меньше.

- Поручение ваше я выполнил.

- Это Порфирио поручал, да не важно, все одно.

- Дороговато вышло, трудно их достать. Зато на славу и, заметьте, с пулями, это тоже не валяется... Теперь не двигайтесь минуточку...

Дон Тринидад говорил ему в самое ухо, подбривая шею и глядя на волосы, падающие вниз кусками черного кокоса.

- Договоримся, я вам сообщу, - продолжал дон Тринидад, а машинка вторила ему: рапа-рапа-рапа... - Сам я его видел, и, если вам понравится,

сделаем дельце. Когда его принесли, я сразу подумал про вас и про дона Порфирио... Один мой знакомый знал, что мне такая штука и требуется. Я ему не заказывал, он сам принес и оставил, чтобы вы посмотрели. Я сказал, что вы вот-вот приедете, но так скоро не ждал.

Иларио молчал и гляделся в зеркало, где отражались смуглое лицо, большие темные глаза, красивые губы, довольно высокий лоб, орлиный нос. Не такой уж у него лютый вид! Неправду сказала Алеха Куэвас! Да, кстати, как она запляшет, когда увидит шаль. Он ведь не сразу пошел стричься, а был у китайцев и купил алую шаль, шелковую, точно

такую, как та, которую несчастный Ничо привез жене, на зависть все той же Алехе.

- Понравится вам, как не понравится! Берите, заплатите позже, сегодня не обязательно.

Прав Порфирио Мансилья: зеркало - как совесть. Видишь себя, какой ты есть и даже получше - ведь перед зеркалом, как перед совестью, всегда прихорашивают.

Машинка замолчала. Дон Тринидад подул на нее несколько раз и положил на место.

- Теперь причешем, подстрижем немного, спереди оставим челочку, будете зачесывать набок, если захотите.

Вскоре стрижка завершилась. Зад у Иларио был каменный, но он умел долго сидеть только в седле.

- Пробор, пожалуйста, вот тут...

Дон Тринидад причесал его такой жесткой щеткой, что он закрыл глаза, потом снял простыню, шумно встряхнул ее и бросил на сломанное кресло.

- Вот он, дон Ила. - Парикмахер вынул из ящика большой револьвер и сунул его клиенту в руки. - Красота, а не вещь! Для такого калибра пули всегда найду геля. И обойма прилагается.

- У меня свой есть, но я вам еще тот раз говорил, он уже староват. Мы договаривались, что обменяемся и я

вам доплачу.

- А вы свой продайте, или я продам. За этот надо платить наличными, тому знакомому нужны money [Деньги (англ.)]. Вы револьвер берите, я заплачу, а вы мне потом вернете. Свой можете оставить, я предложу, только скажите цену. Что-нибудь да выручим. Не пожалеете, дельце хорошее, револьвер на славу, хоть в койота стреляй.

Проверяя пули в обойме, парикмахер не заметил, как скривился при этом слове Иларио Сакайон. Ему почудилось на минуту, что он целится в того койота, с текущей горы, хотя знает, что он не

койот, душой знает, чует. Та часть души, над которой не властвует ум, мгновенно и навек приняла все, что владелец ее прежде считал суеверием. Выстрелишь в койота, а Ничо Акино падает раненый или убитый. А как его, койота, хоронить? Как вернуть душу человеку? Иларио все еще держал многоценный револьвер. Он быстро положил его и потянулся за шляпой.

- Берите, дон Ила, пожалеете!

- Что я, разбойник? Заеду другой раз, может, и возьму, если никто не купит. Я вам чуть не забыл заплатить.

Ожидая сдачу, он закурил, сплюнул в плевательницу у входа, пожал руку дону Тринидад Эстрада

де Леон Моралесу и вышел на улицу, где, поджидая его, дремал серый мул.

Шум стоял такой, что, разлетись он на куски, его можно было бы съесть или, верней, слизать, словно желе с блюда. Когда погонщик возвращался из города, ему всегда казалось, что у него липкие руки, лицо, одежда. Проезжая мимо самого лучшего магазина конской сбруи, он загляделся на витрину. Там стояла огромная лошадь, а в дверях, как бы встречая покупателей, - еще одна, такая же, и вся сбруя их - седло, поводья, стремяна - сверкала и переливалась золотом и серебром, словно ее усеяли светляки. Всадников на них не было, но он,

проезжая здесь, всегда видел Мачохона, как те, кто выжигают поля. Очень уж все сверкало. На таких не расскачешься, подумал Иларио, они всегда стоят, только кажется, что бегут, будто солнце или звезды. Сядешь на них и, чего доброго, обратишься в памятник, да и пустые они, наверное, как лошадка, которую дон Деферик подарил на именины сыну майора. Лучше уж та лошадь, каменная, с белой гривой. Глаза у нее блестят, когда на нее светит солнце, стоит она как вкопанная у стены, и круп у нее прямо полированный, потому что мальчишки на переменах влезают на нее и скатываются вниз.

Иларио вернулся туда, где торговали сеном, и въехал во двор. К вечеру здешние жители совсем одурели и слонялись по галерейкам. Кто-то играл на гитаре и пел:

*Плела мне женщина сети,
хотела меня сгубить.*

*Пока я живу на свете,
не буду ее любить.*

*Она меня обманула,
она меня не любила,
губила
меня.*

*А тот, кто ее полюбит,
пускай боится обмана,
пускай изменяет первым,
чтоб так не болела рана.
Она меня обманула,*

*она меня не любила,
губила
меня.*

*Мы - прах, мы - сухие листья,
умчит нас, развеет ветер,
и я тебя не увижу,
пока я живу на свете.*

*Она меня обманула,
она меня не любила,
губила
меня.*

Иларио пристроил мула так, чтобы он никому не мешал, напоил его, дал ему сена и с седлом в руках пошел на галерейку. Там он сразу встретил своих приятелей Бенито Рамоса и Касими́ро Солареса, которые сгружали с мулов початки в

сетчатых тюках. Приятелями ему были оба, но Рамоса он не любил, и тот не питал к нему нежных чувств. Бывает так - не любят люди друг друга... Рамос поздоровался с ним, но сразу стал грубить и подшучивать.

- Кого я вижу! - крикнул он. - Иларио! Куда только не сунешься...

Иларио в долгу не остался.

- На себя погляди, - сказал он, - где тебя только не встретишь!

- Ты уж не крути, говори прямо, что я черту душу продал, не обижусь!

- Ты сам и сказал, не я...

Мулов разгрузили, какие-то женщины поинтересовались, не на продажу ли этот маис, Иларио принялся бренчать на гитаре. Шляпу

он снял. Если с неба в нее упадет звезда, это к счастью.

...она меня не любила.

губила

меня...

Приятели сидели на ступеньках и беседовали в полумраке. Бенито Рамос сказал, что его совсем допекла застарелая грыжа. Болит и болит, помрешь - не заметишь, если на нее надавить.

- Уж давил небось, признайся, - пошутил Иларио, переходя в наступление, чтоб не тронули его самого. Но Бенито невесело молчал, и наш погонщик, пожалев о своей грубости, сказал почти что ласково: - Ты бы к доктору ходил. От грыжи

сколько народу вылечилось. Режут ее. И лекарства есть. Такую болезнь запускать нельзя - хуже будет.

- Я и сам так думаю, для этого больше и приехал. Надеялся я. мне сеньор Чигуичон Кулеббро поможет, а он не помог, не вышло у него. Пил я натошак травку вяжущую - дрянь, каких мало, и еще он мне прописал масло, гвоздями пахнет.

- Резать надо. Попотрошат тебя, это ничего, мясо есть.

- А ты зачем приехал?... - с трудом спросил Рамос. У него даже голос сел от боли.

- Это у тебя не рак... - Иларио не сразу решился выговорить жуткое слово, от которого во рту горько,

словно ты жабу пососал.

- Нет, не рак. Это грыжа врожденная. Рак бы сеньор Чигуичон вылечил. Я. надо тебе сказать, того и боялся, и ему говорю: так и так, а он отвечает: «Это я лечу». И правда, я сам видел. Он таким манером рак лечит: поймает ядовитую змею и колет ей другой яд, безвременник. Сперва она ярится, а потом, Чигуичон мне рассказывал, задеревенеет вся, но живая, вроде как бы растение. Вот ее яд он и дает больному, и тому хуже становится, зубы у него падают, волосы, но этого - нет как не было. Я тебя спросил, зачем ты приехал, что не отвечаешь?

- Послали меня. Я уже домой

еду.

- Мне бы твоё здоровье. В постели устанешь - верхом отдохнешь. Я в твои годы ходить не мог, противно было. Воевали мы тогда с этими индейцами из Илома, а начальство у нас было полковник Годой и один такой, Мусус. Теперь он вроде бы майор, а тогда был лейтенант. Чисто петух ощипанный, зеленый весь,дохлый.

- Он у нас главный в Сан-Мигеле. Толстый стал, а сам невеселый. Угрюмый человек.

- Вот его и спроси. Мы еле-еле успевали коней сменять, хоть дороги были хорошие. При нас Годой и погиб. Он только для войны и

годился. Заманили его колдуны в опасное место, Трясину, и погубили там. Мы шкуру спасли, потому что увидели индейца в гробу и повели его в деревню Корраль де лос Транситос. Улегся, понимаешь, в гроб, думал, завтра пойдет. А полковник Годой решил, что это скотокрады подстроили тамошние. Они там кишат. Полковник наш, я уже говорил, отправил на тот свет много мнимых покойничков. А сейчас глядит - покойника и нету, один гроб. Они, бывало, ставили пустые гробы.

- Сам в этой лодке уплывешь...

- Да не от этой болезни. Так вот, увидел полковник гроб в лесу, в самой чаще, где никто не ездит, и

решил, что это они подстроили. Открыли мы этот гроб и чуть сами не подохли: индеец лежит, в белое одетый, на лице шляпа. Спит, не слышит. Ткнули его пистолетом, и он во всем признался. Был он, конечно, живой, мигом выскочил и говорит: гроб этот на заказ, а несет он его мертвому лекарю из той деревни. Век бы тебе рассказывал. Вспомнишь - и меньше болит. Может, для того историю и выдумали, чтобы о нынешнем забыть...

Постукивая пальцами правой руки по костяшкам левой, Бенито Рамос, которого звали то молодцом, то чертовым другом, довольно долго молчал, о чем-то думал, и даже

отказался от сигары, предложенной Иларио.

- Расскажу тебе про это еще... Может, забуду хоть на время свою напасть. Сигару я у тебя возьму, чтоб тебя не обидеть, и еще закурю, оно и полегче станет. Так это в брюхе колет, давит, мутит, как будто ревматизм в кишках. Дай-ка огонька, а плевать не надо, своя слюна есть. От боли слюной зальешься. Так вот, повел нас Мусус из Трясины в ту деревню. Индеец гроб тащит, в котором лежал, а мы держим маузер наготове на всякий случай. Полковник нам приказал: если гроб не для лекаря и не для другого покойника, положить в него индейца,

заколотить, расстрелять в гробу и зарыть в землю... - Он затаился, выпустил маленькими облачками дым из носа, сплюнул прилипшие к языку табачинки и продолжал медленнее: - Индейца мы не расстреляли и полковника больше не видели, а он, надо сказать, только для войны и годился... - Бенито покурив немного. - Не буду тянуть. Когда мы еще не знали, что лес горит - даже запаха не было, тишина, - привиделось мне все как есть, что творится в Трясине. Ну, как представление в театре...

Иларио рассмеялся, расхохотался даже, и никак не мог перестать, хотя и сам дивился, с чего

так смеется.

- Ха-ха-ха... в театре... ха-ха-ха... в театре... ха-ха... твой помощничек выступал... ха-ха-ха... помощничек рогатый! - Он только и повторял, словно икал: «помощничек», «в театре», «ха-ха-ха»... - Вышел, значит, и сцепился с ангелом... ха-ха-ха! - извивался от смеха Иларио, словно его завели, и взмахивал руками, словно тонул. Он стал искать носовой платок, чтобы отереть слезы, и шляпа у него упала.

- Чего ржешь?

- Ладно, ты рассказывай.

- А чего ты ржешь и плачешь?

- Да ты говори, говори! - кричал Иларио, помирая со смеху. Он так и

видел: Бенито Рамос стоит на сцене, одетый чертом, а грыжа у него, в наказание, болит всякий раз, как он ударит ногой в пол и возвестит о том, что ведет свой род от самого сатаны. Сперва он сразится с царем мавританским, у которого изо рта бьет пена, а из зада течет что-то желтое, победит его, вступит в единоборство с архангелом и получит, если одержит верх, пьяного индейца.

- Да ты не понял, я как бы зритель был, а не выступал! Зря разоржался!

- Ладно, ты мне скажи спасибо - смех всякую боль спугнет. Значит, видел ты все, как в театре, а еще

ничего и не было.

- Видел и Мусусу с ребятами сказал. Вот как тебя вижу: стоит в Трясине наш полковник и весь отряд, а окружают их. три круга смерти. Годой ничего не чует, что-то солдатам говорит. Если считать от него, первый круг - глаза филинов, одни глаза, филинов нету, а были бы - так вроде тыквы безглазой. Второй круг - лица колдунов, одни лица, без тел, много-много, все в воздухе висят, как в небе луна. А третий - заросли с кровавыми шипами.

- Такого и спьяну не увидишь...

- Верно, а все так и вышло. В сводке написали, что полковник Годой с отрядом, возвращаясь из

разведки, погибли по вине лесного пожара; а на самом деле было...

- Как ты, значит, предсказал. Сгорел он или в битве poleg. Все наружу выходит...

- Не сгорел он, и битвы там не было. Колдуны-светляки напустили на него холодный огонь горя, и сделался он маленький, будто кукла. Знаешь, такие игрушки вырезают из дерева, плоские, с острым краем, те, кто не могут купить. Так он и остался, как видишь...

- Это ты видел...

- Я-то видел, а теперь, меня слушая, видишь и ты. Они ему участь наслали хуже смерти. Индейцы, я так думаю, больше нас умеют, хуже

смерти наказание знают.

Патлатый мальчишка в полутора башмаках (один падал с ноги) заголосил, предлагая газеты. Рамос купил одну и медленно стал разворачивать эту бумажную, усеянную буквами простыню; видно, подумал Иларио, очень больно стало.

- Ну, купил, так почитаем.

- Как тут почитаешь, темно.

Может, к огоньку придвинемся?

- А я думал, ты и в темноте умеешь читать...

- Не доводи ты меня, в рыло дам! Гляди, про твои места написано: «Про-пав-ший поч-таль-он». Не могу я быстро читать, давай ты...

Иларио схватил газету, но Рамос

грабить себя не дал, вырвал ее и стал читать дальше:

- Сан-Ми-гель А-ка-тан.

Телеграф со-об-щает, что почтальон Ди-о-ни-сио Аки-но Ко-хай исчез с двумя мешками ко-кор-рес-пон-ден-ции. От-дан приказ о поимке. - Бенито потер пальцем глаза, от чтения они уставали. - Вот и все, больше ничего, слышишь, полоумный? Исчез почтальон. Хоть бы объяснили... Ты его знал? Ах я дурак, тебя же за ним и послали! Черту я душу не продавал, а газете продал, все знаю наперед.

- Там что, написано про меня?

- Ты сам говорил, помешанный.

В газете я все тебе прочитал. Пропал

у них почтальон. Исчез. Нету его. Знал, наверное, что много денег в письмах насовано. Деньги почтой посылать нельзя. Бумажки вроде бы, а какие вредные! Я всегда сам хожу плачу. Так оно вернее. Деньги - не письма.

Он сплюнул. Рот его снова наполнился слюной, его замутило от боли и зазнобило, словно вместе с ним затряслась земля.

- Ладно, Бенито, я ложусь, устал. Заговорились мы с тобой. Я, как выехал от нас, не спал. Велели мне нагнать почтальона до гекуньей вершины, а он, видно, сбился с пути и заблудился. Не поймешь, что творится, прямо как во сне. - Он

смачно зевнул. - Ой, я и правда сплю!
Узнаешь часом, где сеньор Ничо,
скажи... даром, что ли, душу
продавал?...

- Ну что с тобой толковать! Все
свое твердишь. Дождешься у меня. -
Бенито как бы сделал выпад шпагой.
- Ложками будут собирать!

- А ты куда ходил?

- Гулял я...

- Пригласил бы меня, - сказал
Иларио, постилая на холодную
тростниковую циновку согревшееся
под седлом одеяло.

- Да, со мной бы не соскучился.
Хорошо там у них!... Толку мало, а
все удовольствие. Приятно, когда
тебя любят, хоть бы и за деньги. Ой

ты, ток ударил! Столб ихний локтем задел. Тьфу, как проняло... до самых пальцев. Это меня бог наказал, чтобы не говорил, чего не надо.

Приятели растянулись на циновках, подложив куртки под голову, и побеседовали, прежде чем, как Соларес, сунуть голову под одеяло. Говорили они сонно, через силу, словно качались в утлом гамаке над грохотом Касимилова храпа.

- Значит, когда тот, с газетами, явился, я тебе рассказывал...

- Да, - сквозь сон отвечал Иларио, - а потом явился Касимио...

- С тех пор слава и пошла, что я е чертом в сговоре. Видел я все, что

будет с полковником, или все, что с ним тогда было... Понимаешь, я не знаю, позже это с ним было или тогда. Но так и так, я ведь далеко был. Конечно, не я один вперед вижу. Таких людей мало, это редкость, а все же черти тут ни при чем. Это дело естественное или сверхъестественное, ну, как наша мысль. Ты вот мне скажи, что в человеке чудеснее мысли? И потом: может, мне бог все открыл? Теперь я так не умею. Раньше, бывало, накатит невесть откуда, словно птица прилетит, я и носом чую, и вижу, и слышу, и умом думаю. Потом приходилось поднатужиться, сразу не шло. А теперь - нет как нет... Все

проходит... Иларио, ты слышишь?

- Слы... очн... инте-сно... про...
шло у тебя...

- Ты уже не понимаешь ничего...

- Очн полез-зно... - Иларио стал
тщательно выговаривать слова, -
вперед все знать... что будет...
знаешь - и меры... это... примешь...

- Он заговорил совсем хорошо: -
Например, на тебя стена упадет, а ты
узнаешь раньше и уйдешь с того
места, пока не раздавило. Чего-то я
проснулся, спать расхотелось...

- Как же иначе! А я вот теперь
понял, что наперед знать плохо.
Скажем, видел я, что моя матушка
скончается, и тут мне сказали, что ее
суком большим убило. А я сам видел:

она падает, как листик, даже руку протянул, да как ей поможешь, если она в горах, далеко?

- А жена твоя... - начал Иларио, переворачиваясь на циновке подрумяненной спиной кверху. Ему не давали спать и усталость, и толки о черте, и храп Касимиро, от которого несло какой-то дрянью, и мысли о несчастном письмоноше, из человека обратившемся в койота, и святые со звериным взором - что за свинство!... Нет, это надо же, Пресвятой Деве - оленьи глаза!...

- Жена... - Рамос подобрал под себя ноги. - Разошлись мы, - жалобно сказал он. - Я ее с детьми отослал в Агуасарку. Истая она разбойница...

- А ты один остался? У вас-то детей не было?

- Нет. То-то ее к своим и тянет. Любовь - это все врут, а на самом деле человеку детей хочется. Увидишь ты бабу, захочешь с ней спать, а дело тут в ребенке! Спишь ты с ней, греешь, целуешь, слова говоришь, а ребенок в этом во всем главный. Да, ушла она со своими детьми... так всегда бывает, когда на детной женишься... оставят тебя старого, слабого... Закурим?

- Не люблю я лежа курить...

- Жил я с ней и не жалею, Иларио. Каяться-то каюсь, старые всегда каются, да поздно. Худо ли было, хорошо ли, а время пройдет, и

примерещится, что даром жизнь прошла...

- Ты не очень дыми - Касимиرو чего-то ворочается. Эй, Касимиро!...

- Для того детей и заводят, чтобы в старости не казалось, будто даром небо коптил, дни считал. Жизнь сквозь пальцы уходит, а дети у тебя есть - и как будто стадо завел, только его ни съесть, ни продать нельзя...

- Эй, Касимиро, потише храпи! Темно говоришь, Бенито, одно я понял: детей у тебя нет. Что же не завел?

- Колдуны эти, светляки, меня заколдовали. Мы все, кто Иломовых индейцев губили, ни одного не оставили, так и живем под

заклятием: в то утро солнце взошло, а в нас оно погасло. Напустили на нас порчу. У кого дети были - умерли, даже внуки поумирали, у старого Мачохона сын к светлякам ушел, ходит светилом в небе, а мы без детей так и остались. Одна баба понесла, так я ее бросил: значит, изменила мне - мы же заколдованные...

- А у майора Мусуса есть сынок...

- У него, да не от него. Мусус там воевал, с чего бы его порча миновала? Порча эта, колдовская соль, все там выжгла подчистую. С тех пор так и зовется - Порченное Место.

- Ты маис в сетках привез?...

- Да, в сетках он... Вот гады индейцы, и тут умны! Сам посуди, как у них раньше хорошо все росло, разумно. И арифметики не нужно, на пальцах подсчитаешь. Маис надо сеять, как они сеют, для себя, а не на продажу. Маис - пища для семьи, только на то он и годен. Видел ты, Иларио, богатого торговца маисом? Удивительно прямо, мы все еле концы сводим. Один раз, помню, у меня и на свечи денег не было. У кого сады, стада, пасеки - те богатые... Не по-здешнему, по-деревенскому, но богатые. Истинно, лучше быть первым в деревне... да... А у индейцев, кроме маиса, тоже все

это было, понемногу, но было, не жадничали они, как мы. У нас ведь, Иларио, не от хорошей жизни эта жадность. Приходится - маисом одним не проживешь, да сколько мы его и собираем, только землю всю высосешь... Разговорился я с тобой, не сплю... Оно конечно, что спящий, что мертвый - все тело неподвижное... Торговец из земли соки выжмет, вымучает ее, как змею изрубит, а потом и оставит, не его она, хозяйская. А разрешат ему лес выжигать - тут держись... Видел я в начале нашего века, как горели иломские леса. Полковник Годой нам объяснил, что это победное шествие прогресса, а тут, прямо на глазах,

самые ценные деревья в прах сгорали. Прогресс этот кедр, сосны, эвкалипты, сейбы в дрова превратил, и мы, военные, не отстали, силой все пожгли, всех порубили...

Мысли о загубленном добре мешались с острой, давящей болью. От предрассветного холода Бенито Рамосу стало еще хуже, словно его все время кусала оса. Голова его упала набок, и он забылся.

Кофейницы под сейбой и впрямь не было. Стол стоял перевернутый, очаг остыл, там лежал лишь кусок сожженной мешковины и утренний холодный ветер шевелил золу. Выехав из города, Иларио отпустил поводья. Ему хотелось отдохнуть - рассказы

Рамоса и храп Касими́ро не столько даже утомили, сколько задурили его. Он был как высосанный, в голове пусто, думать он не мог, только зевал и зевал. Электрический свет пробивался из дверных щелей в синеватый уличный воздух. Открывались булочные. Задержался он все же... Хорошо хоть там, дома, из газеты знают, что почтальон исчез. Газета лежала у него в мешке - Бенито любезно ее подарил. Иларио остановился у какого-то дома, и ему дали горячего кофе, лепешек, бобов и творогу. Жаль, перца не осталось! Угощали его две девицы - одна даже очень ничего, хоть и не причесана, и платье измято - видно, одетая спала.

Старшая заметила, что сестра понравилась путнику, и не оставляла их вдвоем. Лучше помнить такую красотку, чем грыжу и размышления Рамоса, продавшего душу черту.

Так и вышло: деревья, ограды, камни, равнины, ручьи мелькали мимо, а Иларио видел только красивое личико младшей девицы. Куда ни взгляни, всюду была она. В молодости душа видит то, чего хочет тело. А в старости все наоборот. У старых тело хочет того же, чего и душа, а душа с течением лет хочет одного: улететь.

Хороша девица... Лучше некуда! Прямо хоть вернись и женись. Теперь надо было повернуть мула и ехать,

все так же видя перед собой красивое личико, но уже не от него, не от лица, а к нему. В конце пути будет домик с цветами в горшках и в жестянках из-под керосина, увитый зеленью по самую крышу.

Он никак не мог решить, ехать ему или нет. Мул вошел в реку, чтобы напиться, он его придержал, нет, не придержал, но что-то с поводом сделал, и мул остановился. Хорошо бы вернуться к той красавице... красотке... девице... а, ладно, какая девица, он ведь с Алехой связанный! Везет ей шаль. Она из его селения. Деньги у нее есть... Кроме кабачка, у нее и земли участок. А главное, самое главное, дороже всего на свете

похожа она на Мигелиту. Не красотой, красоты у нее немного, просто обе они акатанские. А Мигелита не Гекуна какая-нибудь, она свое отстрадала и дом уважает. Мигелита шьет, когда все уснут, ночей не спит, на хлеб зарабатывает, из дому не выходит, разве что ненадолго. Он препоручил себя тюремной Деве, а мул, напившись, тыкался в воду мордой и с удовольствием отфыркивался.

Мул напился, чтобы легче было трусить по каменистой дороге, а сама река становилась все мельче и еле перескакивала с камня на камень. Следуя ее извивам, погонщик ехал под шум водоворотов, меж

серых и синеватых гор, и выехал к озеру, на берегу которого, словно двенадцать апостолов с бородами из пены и окаменевшей сетью, расположились двенадцать деревень. Жили там темнолицые люди с рыбьими глазами.

Он делал большой крюк, огибая Вершину Марии Текун. Горы над ним бодались, словно козлы. У пенистой, быстрой реки ему казалось, что мул не движется, а теперь он не замечал, что едет вверх, горы все росли и росли. Сколько бы мул ни прошел, склону не убывало, он тянулся до самого неба. Где-то падала вода, звон отдавался в ушах Иларио, и ему чудилось, что земля не только

поднимается вместе с ним и быстрее, чем он, но и падает в бездонную пропасть.

Шум реки был уже едва слышен, словно шелест жидких птичьих перьев. Ремень дороги опоясывал брюхо горы, и погонщику казалось, будто гора эта - какой-то одичавший конь. Шумели деревья, пела птица в тишине, и слышно было и тишину и птицу. Погонщик защищался от шипов, отводя рукой ветки и наклоняя голову, прикрытую широкополой шляпой. Где-то пробежал олень. Кто-то заскреб копиями по дереву. Еще немного - и пойдут поля, и крохотными ястребами закружат комары. Иларио

привстал в стремянах и обернулся. Проехал он немало. Теперь перед ним лежала большая хорошая дорога, по которой шли индейцы и стада, ехали телеги и всадники. Одни - туда же, куда он, другие ему навстречу. Знакомых не было, но многие здоровались с ним. Озеро блестело и слепило глаза. Мул позвякивал колокольчиками, он намучился, а теперь ему было легче идти. Иларио тоже приосанился и поигрывал поводьями, упершись ногами в стремяна. Он остановился и закурил сигару, которая давно торчала в его обветренных губах. Смелые черные птицы взлетали с пастбищ, поклевывая навоза, и не боялись ни лобастых

волов, ни сонных телок. Словно воздухом горячим дохнуло - прошли погонщики, гоня груженных мулов. Иларио захотелось вернуться с ними. Они попрощались с ним, засвистели... Поверить трудно, что есть люди, которые сиднем сидят или пускай ходят, да на одном месте.

Услышав женский голос, он оглянулся.

- Тяжело бедным быть!...

- А я вас не заметил, вы так тихо в дверях стоите! Как жизнь, донья Канделария? Все торгуете? Я как раз недавно думал, хорошо бы свининки поесть... Шкварочек нету? Всего-всего накуплю! Как живете?

- Слава богу, не жалуясь. А вы

куда путь держите? Чуть не проехали мимо меня...

- Я в Сан-Мигель...

- Мулов не купили?

- Нет...

- То-то вы один. Олегарио с доном Порфирио тоже тут где-то, может и у нас...

- Знаю-знаю. Братья ваши как?

- Сейчас они дома, девять дней, как с гор вернулись. Заходите, скоро стемнеет, а дальше переночевать негде. И потом, у нас пир идет...

- Да, лучше вовремя явиться, чем приглашение получить! А как к ним пройти, с вашего разрешения?...

- Я сейчас вернусь. Очень рада, что вы приехали.

Мария Канделария по-прежнему торговала мясом у дороги. Она потолстела, носила все желтое, и на выцветшее золото ее кофты вечной траурной лентой падала черная коса. Нежные глаза тревожно глядели на дорогу - не явится ли Мачохон просить ее руки. В дороге была вся ее жизнь. Братья не раз просили ее бросить торговлю, они теперь не нуждались, но она не могла и не хотела покинуть пост, словно надежда и впрямь питается ожиданием. Она ждала, и это давало ей надежду. Лавочка, где она торговала свининой, колбасой и шкварками, была обставлена скромно, там не было ничего, только

статуя Пресвятой Девы, надежды подательницы, перед которой всегда горела свеча. Братья торговали маслом в столице, там дороже платят, и еще они возили туда дрова; но Канделария, как это ни глупо, загоревала, похудела даже, когда они сказали, что масло будут увозить. Ей казалось, что они увозят ее подвенечное платье, простое белое платье без кружев, облегающее тонкий стан. Ей было без малого восемнадцать. Приезжая, Мачохон брал ее за руку, и они подолгу молчали, а если говорили, то о чем-нибудь пустячном, чтобы заметить хоть что-нибудь, кроме самих себя. «Гляди, куры!» - говорил Мачохон,

чтобы она заметила, как курица квохчет, а ему и самому было трудно это заметить, квохтанье вдруг, внезапно врывалось в их безмолвный, сокровенный разговор. «Огонек...» - говорила она, когда трещала свеча у распятия. «Ох, эти собаки, на всех прохожих лают, не надоест им!...» - говорил он. «Листочек...» - говорила она, когда ветер шевелил листья. Все было важно для них. Да, тогда все было важно. Вот Мачохонова шляпа, к примеру, - где он положит ее, там и пахнет восемнадцать дней. Бывало, весь дом благоухал. Шпоры у него звенели, он так твердо ходил, будто печатал, по-мужски. И голос у него

был мужской, звонкий.

Мария Канделария подняла холстину, отделявшую лавку от дворика, и выглянула туда, где пировали ее братья с женами, детьми и друзьями. Стакан ходил по кругу, снова и снова наполняясь водкой. Маримба звала танцевать. В углу томились гитары. Люди говорили вразнобой, смеялись, обнимались. Порфирио Мансилья обнял и повлек за собой Иларио, а за ними шел Олегарио, хлеща по земле бичом, длинным, как обезьяний хвост.

Среди гостей выделялся темно-желтый старичок, бродячий лекарь, который требовал, чтобы его величали доктором. Все толпились

вокруг него. Канделария расслышала, что речь идет о ней. Бог с ними, ей-то что! Доктор, противный, как белая вошь, утверждал, что хочет на ней жениться. И по годам она ему подходит, объяснял он братьям, а почему-то не соглашается.

Порфирио, Иларио, Олегарио и другие погонщики подошли к ней, перешучиваясь, пересмеиваясь, улыбаясь.

- Что вы одна, что не танцуете? - спросил Иларио из-за плеча друга, который за руку здоровался с ней.

- Куда мне!

- А мы им покажем! - сказал Порфирио. - Увидят, что такое танцы танцевать!

- Ох, что вы! - воскликнула она, вырывая у Иларио локоть.

- С чего сегодня гости? - спросил Иларио.

- У Андреса, брата моего, дочери сегодня помолвка.

- Чонита замуж собралась, - сказал Порфирио. - И никто не знал! Так и вы, донья Кандуча, напугаете нас.

- Разве уж вы, дон Порфирио, на мне женитесь. У других вкус получше.

Они замолчали, чтобы послушать маримбу. Гитаристы уже перебирали струны. На улицу, воя, лая, припадая на одну лапу, кинулась собака, которую чем-то огрели на

кухне.

- Ах, какая Хавьера
бессердечная! - воскликнула донья
Канделария, разгладила белыми
руками чистый стародевичий
передник и прошла среди гостей на
кухню поворчать на служанку. Та
была из индейцев, сильно пила,
всегда ходила беременной невесть от
кого и не славилась добрым
поведением. Нрав у нее был наглый,
но руки золотые - все умела делать.
Правда, она зарилась на чужое, за что
ее и послали молоть маис.

На упреки она не отвечала, даже
глаз не подняла, пока не перемолола
все, что было на камне. Потом
остановилась и выпрямилась.

- Братья ваши велели ее на кухню не пускать... Много чего велели ваши братья... Им бы только распоряжаться... Да идите вы к ним, у людей праздник, не глядите вы в огонь...

Мария Канделария неподвижно смотрела в самую сердцевину очага, полного дров, углей, пламени и дыма. Дым - от пламени, пламя - от дров, дрова - от дерева, дерево - от земли, земля - от мечтанья. Брови ее хмурились. Она держала в руке уголок фартука, на случай, если заплачет, выпустит наружу долго скрываемые слезы. Дым - от пламени, пламя - от дров, дрова - от дерева...

Служанка тронула ее локоть шершавой, холодной, мокрой рукой. Канделария, не замечая, выскользнула из кухни. Надо за всем присмотреть, кто же еще присмотрит, там слушают споры этих Иларио. Так ласково звала она всех погонщиков.

- Я бы на месте Олегарио не мешал тех мулов покупать, а потом пускай судят, какой ты знаток, Порфирио, и стоят ли они так дорого.

- Не вини ты меня, Иларио, я его просил их не брать, он сам тебе скажет. Вот тебе крест, говорил, что невыгодно, очень за них запросили, а ты, Порфирио, предал меня...

- Выпейте водочки, - сказала Канделария, подходя к ним и протягивая старшему уставленный стопками поднос.

Порфирио упираться не стал, но переругивался с Иларио насчет мулов, пока тот не вытянул из него все, что случилось в городке после исчезновения письмоноши.

Творилось там бог знает что. Отец Валентин сообщил с кафедры, что Архистратиг Михаил, главный из всех архангелов, сразу после дня святого Франциска снесет огненным мечом текунюю вершину. Надо сказать, письмоноша унес в запечатанном сургучом конверте деньги для курии. Послали за

начальником почты, но по дороге его хватил удар, и он окривел и лишился речи. Дон Деферик хотел организовать демонстрацию протеста против преступной беспечности властей, отправивших почту с человеком, на которого возводили ни с чем не сообразную ложь.

- А, черт, и где ты такие слова берешь!

- Так дон Деферик сказал. Сам слышал, он сказал раз девяносто: «Ни с чем не сообразную...» Но демонстрации не было. Майор, хоть он ему и кум, пригрозил тюрьмой. Один китаец на все плевал. А так сбесились даже арестанты - ведь их

судьба зависит от этих бумаг. Даже Алеха Куэвас забеспокоилась, только не о почтальоне, а об одном лоботрясе, который полетел за ним вдогонку и не догнал: околдовали по дороге, не иначе в койота обратился.

- Ой и гад же ты, Порфирио!

- А ты ее так не бросай. Сказал бы, что едешь. Не ровен час, уведут!

- Прямо, свиньи ее съедят!... На ней свет клином не сошелся. Мне донья Канделария останется, она свое счастье заслужила. Ваше здоровье, донья Канде, выпьем за ваше счастье!

Стопки зазвенели, у доньи Канделарии задрожали руки. Она вся задрожала, услышав слово «счастье»,

все ее изъеденное печалью тело. Но никто из трех погонщиков этого не заметил. Они весело выпили. Стопку вверх, водку в себя, голову вниз, чтобы остаток сплюнуть.

По дороге к маримбе доктор остановился около них, взял стопку с подноса, не глядя - глядел он в глаза Канделарии - хлопнул водку, как воду, причмокнул и сказал:

- Видно, девицам нравятся всадники! Они такие простые, открытые души...

Погонщики поблагодарили его за комплимент. Только Порфирио завелся - его уже развозило, а он был буен во хмелю, да и вообще его, силача, подмывало сцепиться с

таким типом. Он терпеть не мог, когда лезут в городские и остаются ни там ни сям.

- Вы нас, всадников, лучше не трогайте, - сказал он, - а донья Канделария - девица, потому что ей так хочется. Она женихов пачками выбрасывала. Недалеко ходить, Хуан Сокавалье себя из-за нее порешил. Он тоже был всадник, ну а жених ее - тот был всадник из всадников.

- Он и сейчас... - робко вставила польщенная Канделария и опустила красивые глаза, глядя на пустые стопки, которые доктор и погонщики поставили на поднос.

- Верно, и сейчас, потому что она его навечно любит! Кого любишь,

тот всегда жив. Умрет, уйдет, что хочешь, а жив, пока его женщина не разлюбила и пока она не умерла. Вот как мужчины полагают, а уж Мачохон был мужчина из мужчин!

- Был? Да он и сейчас...

- Да, донья Канде, - вступил в беседу Иларио, - и был, и есть, пока его женщина любит. Он и всадник, и в небе светит.

- Вот это по мне, - сказал повеселевший от слов и водки Порфирио, а Олегарио крикнул: «Браво!» - Отбрить, так сразу. Однако эту водочку допить надо. С вашего разрешения, донья Канде... выпейте и вы, дон медик...

Гремела маримба, звенели

гитары, кружились в пляске гости, чернела и поблескивала серебром коса Марии Канделарии, желтела ее кофта, обтягивая подпертую корсетом грудь, а все Иларио с трудом стояли на месте, их так и подмывало кинуть звезды ночного неба под ноги своим красоткам.

Подошли жених и невеста: Чонита Рейноса, дочка Андреса, и Сакариас Менкос. Губы у нее были пухлые, как розово-лиловый цветок; от него пахло кроликом, и с виду он был диковат. Хотя и обулся ради торжества. Вышло даже и хуже: он ходил как подкованный - мешали ему ботинки. Жених и невеста подошли к погонщикам и доктору послушать,

что им рассказывает тетя
Канделария.

- Ночью меня часто будит стук копыт... Я выхожу и вижу на дороге золотое облако... Мачохон проезжает близко, но они его ослепили, и он не знает, что я его жду, не сплю, словно серые листья дубов в лунном свете. Он проезжает близко и далеко: близко - потому что рядом, далеко - потому что не видит меня. Страшная моя судьба и простая, - говорила Мария Канделария, никого и ничего не видя, - такого не бывает, а бывает - раз в тысячу лет... Ранило меня искрой... Истинная любовь - это рана. Мужчина может чем угодно быть, а женщина - образ того, кого

она любит... - Она уже еле бормотала, углы ее рта опустились, подступали слезы, но их победил смех женщины, которая так и не стала взрослой. - Помню, мы тут с ним плясали. Давай, сказал он, танцевать и обниматься, и все норовил подставить мне подножку, не со зла, а чтобы схватить меня пониже спины, когда я упаду... Ударила я его...

- И поцеловали, правда, тетечка?
- спросила невеста. Родные и друзья знали этот рассказ наизусть.

- А я, дурак, и не ведаю, - вмешался Олегарио, посасывая окурок и глядя исподтишка на Чониту, с которой очень бы недурно

было танцевать и обниматься, - все светила небесные из всадников или нет?

Доктор собрался что-то ответить, а Порфирио ткнул приятеля локтем в живот - не за вопрос, конечно, а за двусмысленные взгляды.

- Сакариас, этот на твою невесту зубы точит! Ешь ее скорей, чтоб он на нее не позарился да из рук не выронил.

- А ты, Чонита, съедобная? - откликнулся жених, пытаюсь высунуть руки из слишком длинных рукавов новой куртки и облизывая рыжие от какого-то напитка усы.

- Запретный плод, вот она кто,

потому к ней и тянет! - подхватил Иларио.

- Кому запретный, кому нет, - ответил жених, высвобождая наконец руку и обтирая жесткие усы. - Кто женился, тот эти плоды только и собирай!

- Мы еще не женатые, Сакариас... - сказала Чонита и надулась.

Кто-то играл на гитаре и пел:

Бедный ствол без ветвей и без листьев,

и тебя иссушила беда...

Бенигно. Эдувихес, семейство Моратайя и прочие друзья окружили гитариста и, стоя неподвижно, с удовольствием слушали песню.

Старше всех был Эдувихес. Сквозь волосы его светился череп, а сквозь череп - важность и печаль. Он шесть раз был алькальдом, и на шестой чуть не погорел: казначей сбежал со всеми деньгами, даже налог на манго унес.

Две старухи перекрикивались во всю глотку - у них давно в ушах закаменело. Они делились тайнами, заглушая маримбу. Обсудив во всеуслышание бывшего алькальда, они перешли к доктору.

- Червяк он могильный, все они такие в городе-е!...

- Какой там червяк! Мошь ломбардная!...

- Не скажу, не знаю, а кажется

мне, что он Канделарию обхаживает! Ну, это мы еще посмотрим, куда ему-у!

- Выпейте анисовой! Вон кофе дают с пирогом! Суматошные они люди... и дед их, старый Рейноса, такой бы-ыл!

- Их как фамилия, Рейносо или Рейноса?...

- Бог его знает! Когда у деда ихнего с бабкой бывали гости, все кувырком шло! Помню, Канделарии помолвку готовили!... Мы вон там сидели!... Самая любимая дочка была. Деда Габриэлем звали, да... Габриэль Рейносо!... Оленя убили, поросят и не сочтешь, шесть индеек...

- Прямо шесть! А ликер хороший! Может, было бы у них потише, и свадьба не расстроилась бы!

- Беда приглашения не ждет. Выехал Мачохон из дому и не доехал!

...

- Тут помолвку собирались справлять?

- Тут, на этом самом месте. А время прошло - и Чониту замуж выдают. Одно слово, свадьба...

- Светится, как золото, - говорила Канделария толстым рябым свинопасам, - а я часто слышу, что он плачет, словно младенец. Поверьте мне, большие светлые пятна в ночном небе очень тоскуют. Я все

гляжу на них, гляжу, прямо
сроднилась с ними и вижу: плохо им.
Бескрайний свод расцвечен
разлукой...

- Тетечка, - позвала ее Чонита, -
гости хотят с хозяевами выпить там,
в зале!

- А папа где?

- Тут, с мамой, только тебя и
ждут. Доктор говорить собрался.

Гостиная была битком набита.
Даже в дверях толпились люди,
заглядывали с галерейки. Медик
судорожно восклицал:

- ...Голубка не убоится коршуна!
Кавалер выбрал даму, и они совьют
гнездо! Бокал жизни пенится
радостью!...

Крики его нарушил голос Порфирио Мансильи, а гости шикали на невоспитанного погонщика. Иларио силком вывел его.

- Ладно, Порфирио, не лезь! Пошли, бога ради, слушаем гитаристов, они с земель Хуана Росендо!

В гостиной захлопали, тост кончился.

- Вон Олегарио пляшет, - сказал Иларио, стараясь отвлечь друга от ненавистного медика. - И тут он штучки строит! Ногу свою партнерше между ног сует. Да и вонь от него, накурился... Хорошо, я не баба, не надо с ним танцевать.

Порфирио сердито скреб

мохнатое ухо и не отвечал. Он не любил возражений. Медик ему не понравился, истинно - белая вошь, и этого было достаточно, чтобы искать с ним ссоры. Ткнуть бы его как следует шипом железным, пускай сам себя лечит, если он такой доктор, что-то он на докторов не похож, просто хочет приданным поживиться...

- Ну что тебе?... - не отставал Иларио. - Ты прямо как эти глухие старухи! Им ни жизни, ни дружбы, ни любви - все о деньгах да об угощении!

- Спой-ка что-нибудь, Флавиано, не ломайся, - сказала девица в ярком платье темнолицему белозубому

парню, которого прозвали Хлеб с Творогом за темное, как хлеб, лицо и белые, как творог, зубы.

Один из гитаристов наклонился, припал ухом к гитаре, лежавшей у него на коленях, и стал ее настраивать, ловко подкручивая колки. Когда звук его удовлетворил, он выпрямился и дал певцу знак: «Готово!»

- Понравится ли, - сказал Флавиано, сверкнув белозубой улыбкой. - Поют это в одном селении... Вальс такой...

Порфирио оперся о плечо приятеля и сменил гнев на милость. Иларио прикрыл глаза, чтобы лучше было слушать.

*Я прошу, молю божью мать,
чтоб меня увели под стражей,
окружили меня, связали.*

Утешенье мое - тюрьма.

Миге литой ее крестили,

Акатанской ее прозвали,

а в тюрьме стоит божья

мать,

темнолицая, как она.

*Нагрузили погонщики мулов
золотой, серебряной кладью.*

*повели их к синему морю, t
божья мать стоит одна.*

*Божья мать в тюрьме стояла
до тех пор, пока Мигелита,
золотая краса Акатана,
не ушла от нас навсегда.*

Глаза у нее как угли,

*уста у нее - гвоздика,
божья мать в храм
перебралась,
Мигелита навек ушла.
В Акатане по ней тоскуют,
вспоминают, как она шила,
говорила женищинам честным:
нареченных подолгу ждут.
Нет любви, где нет ожидания.
Поцелуи сплетают цепи.
В темном небе стучит машинка,
а меня под стражей ведут.*

XVII

Печально отрываться наутро от
места, где был праздник. Во рту

горит, в животе печет от водки, на душе - тоска, пепел радости. Погонщики решили тронуться в путь к четырем часам утра, но до половины седьмого толклись по дому, где не спали только свиньи, куры и псы. Хотелось выпить доброго чилате, но отыскалась лишь кофейная гуща, праздничные опивки. Иларио все бы отдал за песню о Мигелите, но музыканты с земель Хуана Росендо уже ушли. Напев он запомнил, а слова смутно курились в памяти, подобно горячему пару, поднявшемуся от земли в этот нежаркий час, когда солнечный свет еще не мог пробиться сквозь морозящий дождь, который

становился все гуще. «До свиданья!» - крикнули погонщики донье Канделарии с заднего порога, и никто им не ответил. Где-то уже пекло солнце. Гребень гор лоснился лазурью и золотом, а тут, у них, повсюду чавкала глина и мокрый воздух пахивал мхом. Погонщики присели, чтобы защититься от густеющего дождя. Вокруг спали мокрые деревья, а звери шуршали и шумели, тоже словно во сне.

Преодолев небольшой, но крутой, чуть не отвесный склон (и назывался он зерно: Разбойничьим склоном), погонщики решили переждать ливень на белесом от извести плоскогорье. Один за другим

зашли они под навес крыши и загнали туда коней и мулов. В этом доме почти никогда никто не жил, но сейчас там время от времени бывал некий дон Касуалидон, испанец из испанцев, хотя ирландского происхождения, о чем говорили и голубые фарфоровые глаза на медном от холода лице, и рыжие волосы, медовыми струями стекавшие на лоб, на уши и на бычью шею. Черты эти, как и рост, отличали его от местных жителей; те были как на подбор страшны, мелки, головасты и взором напоминали голодного солдата, поскольку от здешней воды глаза у них выкатывались, вырастал зуб, вздувались вены и все усиливался

страх.

Равнины и горы чесночного цвета вымел ветер, несущийся от океана к океану, и удержались тут лишь обрывки низкорослых трав да крепкие, когтистые кактусы.

Кони и мулы ржали, трое мужчин нарочито громко беседовали, и на весь этот шум из темноты дома неспешно вышли люди, моргая от света. Порфирио хорошо их знал.

- Ух ты! - сказал он. - Чего вас тут черти носят?

- Кому говорить, - ответил ему Мельгар, прозванный Культей. - А вас чего носит? Проходу от вас нет.

Выходя из дома, испанец Касуалидон держал руки в карманах,

только большие пальцы торчали, словно курки.

- Мы думали, это отряд, - сказал он, - тут караулы шныряют, как мыши летучие...

Культя Мельгар перебил его.

- Пошли ко мне, у меня победней, зато отряд не заедет, не то что сюда. И петух у меня имеется...

- Торопимся мы, - сообщил Порфирио, недовольный этой встречей. - Другой раз придем, вся жизнь впереди.

- Воля ваша, - печально сказал Культя и скорчил скорбную рожу.

- Разве можно людей силком тащить? - завелся Олегарио. - Кто без греха, все мы человеки. Еще мулов

потеряем...

- Или моих займете... -
откликнулся Мельгар.

- Что ты к нам пристал? -
возмутился Иларио, Олегарио же
спросил:

- А где твои мулы. Культя?

- Воспитанные люди вопросов
не задают, - назидательно сказал
Мельгар. - Верно. Сикамбра? Так у
вас, у испанцев, принято? -
обратился он к дону Касуалидону,
которому это прозвище нравилось не
больше, чем пинок под зад. - Мулы
как мулы... Где надо, там и есть...
Кто может, уведет...

- А, черт, ставлю на другого, он
еще лучше:

Слова эти вырвались у Иларио из самого сердца, и мужчины молча приняли их. Никто не говорил, все только пыхтели, навалившись на стол, чуть ли не припадая к нему лбом и не слыша ливня, барабанившего по крыше и по тростниковым стенам. Дым стоял столбом во влажном воздухе. Игроки жадно глядели на маленькие роковые кости. Три... пять... шесть... выиграл!... Один... два... четыре... проиграл!... Игроки глядели в странный мир, где сейчас нет ничего, а через миг - ничего не исправишь, и богатством твоим ведает случайное сочетание условных знаков судьбы.

- Дай швырну! - крикнул

Олегарио, хватая за руку друга, который уже взял кости, чтобы разыграть второго мула из купленных на побережье.

- Почему это ты? - вырвался Иларио, сжимая кости в кулаке и сопротивляясь натиску. - Ты мне руку сперва разожми.

- Тебя женщина любит, тебе нельзя, а у меня никого нету. Она тебя ждет. Если ты ее любишь, дай мне кости... - Погонщики никогда не называли по имени женщину, к которой относились серьезно. Назовешь имя - и как бы овладеешь чуткой возлюбленной. Зато о тех, с кем они просто спали, они говорили без умолчаний.

- Дай кости, уважь ты меня, мула потеряешь...

- Отстань!

- Не отстану.

- Я выиграю!

- Проиграешь! Жалко обоих терять. Давай брошу; ну не ради твоей, так ради Мигелиты!

Услышав имя девицы, созданной его воображением и ставшей для него такой же реальностью, как и живые люди, Иларио выпустил кости из потного кулака, и пальцы у него задрожали.

- Ас ним играть то же самое? - спросил испанец Касуалидон, навалившись на Культу с того бока, где не было руки. - Он мула отдаст?

- А то как же... - отвечал Порфирио, охваченный диким страхом. Он был силен и смел, в драке держался до последнего и бил наповал, но игры не любил и боялся. Не с кем схватиться толком, некого побороть. Удача - пустое дело, ею балуются те, кому не по плечу труд, который из врага становится другом. Жить надо, они и швыряют кости, и ловчат при этом.

- Конечно, отдаст, - сказал Культия. - Что в лоб, что по лбу. Дед мой, чтобы гамак не прохудился, спал в трех гамаках по очереди.

- Бросаю! - крикнул Олегарио, но костей не бросил, сдвинул шляпу и с неудовольствием воззрился на

огромного лысого петуха. Теперь дело ясное! Вот почему им не везет... - Петуха бы убрать... - сказал он. - Нехорошая птица... Выкиньте-ка его!... Мы туч гибнем, а эта дрянь ошивается!

- Оставь петуха, - ответил Культя Мельгар, - ничего он тебе не сделал.

- Не везет мне из-за него! Если ты с ним в сговоре, так и скажи, я играть не буду и его не трону. Что я, дурак, против двоих переть? И кости твои, и петух еще... Знал бы, своего бы принес.

- У себя распоряжайся, а тут не заводись! Ты погонщик, ну и гони сюда беса, а петуха не тронь!

- Дерьмо ты собачье...

- От дерьма слышу!

- Тьфу, мерзость! Даже страх берет. Не вышвырнишь его на двор - не буду играть. Не могу я при нем!

- А чего такого?

- Да он тебе ворожит!

- Заткнись ты, давай играть!

- При петухе не буду!

- И верно! - воскликнул Иларио.

- Без этой щипаной твари нам бы повезло!

- Объясни ты ему, Сикамбра! - взмолился Культя, скаля клыки - других зубов у него не было.

Испанец Касуалидон, не любивший своего прозвища, попытался унять страсти, объяснив, что петуха выбросить нельзя, так как

он предупреждает о приближении отряда.

- Ну и что? - не унимался Олегарио. - Одно дело - отряд, другое - петух. Нет уж, я погонщик, так мулов и погоняю, а не птицу, и хлыстом, а не тыквой по голове.

Скаля прокуренные гадючьи клыки. Культя Мельгар объяснил подробней:

- Земля у нас мягкая, а сегодня и дождь, коней не услышать. Идут они, как по ковру. Нападут - не заметишь.

- А петух что, караулит? - ехидно спросил Олегарио.

- Кости положи...

- Еще чего! Играть я и сам хочу, вы у нас мула оттягали, надо его

выручить.

Однако Мельгар своего добился, Олегарио кости положил, когда Культия с Касуалидоном ему пообещали, что играть они будут, пока оба мула не окажутся в одних руках.

Но только он положил кости, Мельгар незаметно смахнул их култей на пол; и, только они упали, петух подскочил к ним и проглотил.

- И как вы его обучили? - взъярился Порфирио, которому все это казалось дьявольскими кознями.

- Как обучил?! - рассмеялся Культия. - Голодом морю, вот он и думает, что это ему зерно сыплют.

Объяснение было разумное, да и

петуха зауважали - как-никак помощник. Хотя и тощ не в меру, а полезен: и еды не ест, и караулит, и сообщит вовремя, что бесшумно приближается вредоносный отряд, только и мечтая пристрелить их. А все же, решили погонщики, играть при птице опасно. Пришлось ее выбросить. Дон Касуалидон положил на стол другие кости, и Олегарио с Культей встали друг против друга. Олегарио быстро отыграл первого мула и выиграл еще двух. Теперь Культя просил и молил: «Хватит!» В конце концов он даже выкинул конку, но и это ему не помогло. Везет так везет, а не везет - пиши пропало.

Бог пожелает - солнце в дождь

сияет, как в тот день, впрочем, и было.

- Ну, братцы, задали вы мне страху! В глотке пересохло, - говорил Порфирио. - И главное, мулы только что куплены, плачено втридорога, а он, гадюка, одного у нас выиграл!

- Все Иларио, тоже игроком заделался! - ехидно приговаривал Олегарио то ли в насмешку, то ли со зла.

- Ха-ха-ха! - заливался Иларио. - Ха-ха-ха, петух его одолел, петуха испугался!

- Теперь ты ржешь, а не осени меня тогда, топали бы мы пешком. Мы бы и коней проиграли, чего мелочиться - где два, хам и пять!

- Хотели с этим петухом нас обжулить. Да, истинно говорят, - перебил его Порфирио, - бог шельму метит.

- Иларио нашему пить, а не кости кидать, - продолжал Олегарио. - Выпьет он, высосет бутылочку и давай стихи чесать. Он их столько знает, кого хочешь с ума сведет... Нет, это я зря, если б не его стихи, он бы мне кости не отдал. Ему сказки-то важней яви, он у нас пуэт. Не сообрази я помянуть Мигелиту, голыми бы ушли.

- Ха-ха:ха... - не унимался Иларио. - Петух его спугнул, Мигелита выручила! Ах ты, культя гадючья! Ах ты, свинья!

- Ладно, ладно, теперь ты его обзывай! Тоже мне игрок нашелся!...

- Сами сказали, я поэт. Увижу мула - тянет меня в путь... Увижу святого - стану я добрым и молюсь, хоть бы у него и были такие глаза, как им теперь ставят... Увижу кости... играю, увижу бабу - сами знаете... Не дай мне бог костыль увидеть, сразу охромею!...

Их нагнал дон Касуалидон на коне с белой звездой во лбу. Уздечка, поводья, стремяна были самые лучшие. Глаза у испанца блестели, как обсосанный леденец, шляпа трепетала на ветру. В народе поговаривали, что он расстрига: и впрямь, большая шляпа, застегнутый

до самой шеи темный пиджак, рыжая грива и свежее немолодое лицо отдавали чем-то церковным.

Священником он был, авантюристом или тем и другим сразу, но он добровольно схоронил себя в краю, где мелкий сухой песок губил легкие, пришельцы боялись задохнуться и никто надолго не задерживался.

Дон Касуалидон ерзал и мялся, когда Культя называл его Сикамбром. При каждом слоге этого слова он сжимался, словно зверь под бичом укротителя. Живя день за днем, он забывал свое прошлое, но слово это, будто заклинание, вызывало кислосладкую тошноту: он вспоминал, что

по своей вине доживает жизнь в краю, куда только людей ссылать. Скотина тут тощая, земля голая, выжженная ветром, зелень жидкая, чахлая, всю попопало, дичи нет. Что таиться, он сложил сан, когда понял, что любостяжание несовместимо со служением богу, а ирландская совесть вконец изгрызла его. Ирландкой была его мать. Ах, родиться бы ему испанцем, чистым испанцем! - медленно, смакуя слова, думал он. Чистый испанец умастит себя гордыней и корыстью и не станет мучиться страхом, ненавидя свою алчность. А в нем испанские черты сочетались с ирландскими, чувства боролись, обрекая его на

жалкую участь. Смешанная кровь - причина его изгнания, лишь по ее вине он ждал смерти там, где и смерть не засидится - костяки угасших людей и зверей обнажаются быстро, истончаются, и буйный ветер уносит кости, словно листья по осени.

Расскажем историю с самого начала, с той поры, когда Касуалидону дали приход в красивой, небогатой, населенной испанцами деревне. Таких деревень немало в холодных горных краях, а в каждой деревне - много гонору, ибо люди тут худо-бедно обучены грамоте и потому отличаются важностью и печалью. Добрая сельская скудость,

прикрытая изящным обращением, чистоплотностью и подношениями, встретила новоиспеченного пастыря, едва оторвавшегося от вкусных яств, ученых книг, развлекательного чтения, визитов, веселых сборищ, карт и пикников.

Однажды, когда дон Касуалидон сидел в кресле, попивая чай на сон грядущий, к нему зашел прихожанин и поведал, что священник из деревни, где жили индейцы, промывающие золотой песок, болеет и хочет уйти на покой. Ирландец, убаюканный чаем, не успел и охнуть, как испанец, обуянный корыстью и гордыней, одним глотком выпил всю воду, и золотые песчинки захрустели

у него на зубах. Куры, какао, гренки замелькали перед ним.

Из дона Касуалидона он мигом обратился в епископа Бернардино Вильялпандо, который правил здесь в 1567 году в окружении португальских и генуэзских клириков, собственных родичей и наложниц.

Бумага все терпит. Дон Касуалидон написал больному собрату, предлагая его сменить и сетуя, что не знал о его невзгодах. Если бы он знал, он предложил бы свои услуги раньше. Ему, Касуалидону, не стоит труда отказаться от богатого и благочестивого прихода.

Больной священник, святой с деревянным лицом, изъеденным годами, поблагодарил его в письме за доброту и великодушие, но услуги не принял, ибо в приходе его проживало тысяча пятьсот равнодушных к вере индейцев, пожертвований почти не было и нищета там царила страшная.

Читая письмо, испанец шарил в кармане, где еще оставалась щепотка табаку. По алчности своей он не поверил чистой правде, которую сообщил ему больной священник, и решил, что тот лукавит, чтобы самому попользоваться от своих прихожан. К вере они равнодушны, но ведь золото моют... В мозгу его забила фонтаном, весело запенилась

вода и засверкали песчинки. Испанец видел, как могучие темные индейцы носят ему по воскресеньям золото. Неверы они или кто, а толку от них больше, чем от этих набожных душ, у которых все заложено-перезаложено.

«Совесть моя не принимает вашего милосердного предложения, - писал ему во втором письме индейский пастырь, - и потому предоставим курии решить наш спор».

Дон Касуалидон отправился в столицу поговорить с архиепископом, который подивился его бескорыстию и жертвенности, и ясным мартовским днем прибыл в

золотое индейское селение, обрекая собрата на богоугодную бедность просторного дома с мягкими креслами, электрическим светом, прекрасным видом на площадь, ванной, запасом воды, попугаем и женоподобным служкой.

Вступивши в свою резиденцию, дон Касуалидон не без труда выглянул в оконце, по милости которого комната походила на погреб, и чуть не зацепился затылком за раму. Дом был сложен из речных камней, кое-как скрепленных известью, стены его давно покрылись грязью, балки прокоптились. Мебель состояла из кожаной раскладушки и хромого

стола. Людей нигде не было. Испанец покликал их, но никто не явился. Погонщик, прибывший с ним, уехал сразу. Провоппиявши в пустыне с полчасца, священник увидел индейца. Тот пожелал ему доброго вечера - уже стемнело - и спросил, что ему нужно.

- Пришел бы кто-нибудь помочь... - отвечал испанец.

- Не-ту...

- Надо бы огонь разжечь, поесть мне чего-нибудь...

- Не-ту...

- Я ваш новый настоятель, скажи народу. Кто у вас тому священнику прислуживал?

- Никто...

- Ну, в церкви у него есть пономарь?

- Не-ту...

Дон Касуалидон с помощью индейца кое-как распаковал вещи. Он не верил своим ушам. Взъярившись, как заправский конкистадор, он влез на колокольню по скрипучей лестнице, и неумолчный перезвон, словно пожарная тревога, возвестил о его прибытии. Пробравшись вниз сквозь паутину и полчища летучих мышей, он увидел индейца, которого посылал к прихожанам.

- Сказал ты им? - спросил он.

- Да...

- Всем сказал?

- Да...

- А они что?

- Они и так знали...

- И не пришли меня встретить?

Не спросили, что мне нужно?

- Нет...

Тьма ползла черепахой с каменных стен храма, который был гордостью зодчества в XVI веке. Тысяча пятьсот индейцев, укрытые в лощинах и скалах от мирской суеты, спали под звездным небом, как спят после непосильных трудов люди побежденной расы. Улицы скалились волчицами на нового настоятеля, когда он обходил селение, стучась во все дворы. Народ невнятно отвечал ему со сна, и лишь из нескольких

домов на его отчаянные вопли выглянуло медное лицо, и ровный голос без приязни и без злобы поздоровался с ним.

В ту ночь он и понял все. Звезды золотыми песчинками сверкали в небе, но он золотого песка не жаждал. Христианские страны поднимались с карты Европы и всей своей тяжестью ложились ему на плечи, пригибая его к земле. Гордый испанец, словно раненый бык, на колени вставать не хотел и тяжело дышал, поводя горящими красными глазами. И все же совесть сломила его, колена он преклонил, простоял на каменном полу всю ночь. Горнила его лба и век покрылись холодным

светлым жемчугом; ледяной пот струился по его согбенной спине. С рассветом он вошел на колокольню, созвал народ к мессе, открыл храм, зажег свечи в алтаре, облачился сам и вышел. Никогда еще молитва восхождения не тянулась так сильно к покаянной молитве. При словах «Confiteor Deo...» [«Исповедую Богу...» (лат.)] священник сморкался и плакал. В храм заглянул вчерашний индеец, и пастырь подозвал его на помощь. Кое-что индеец умел. Он крестился, когда надо, вставал на колени, поднимался, подавал требник, даже подал кувшинчик с вином и водой. Когда месса кончилась, пришлось разводить

огонь, чтобы стряпать завтрак. Индеец раздобыл кофе (скорее, то был жареный маис), черствый хлеб, несколько апельсинов, и больше испанец не ел до полудня, когда снова получил кофе, хлеб, а вместо апельсинов - два банана. Днем не было ничего, а вечером - еще хуже: ему дали холодного кофе. Пост и покаяние длились долго. Священник голодал, холодал, ни с кем не разговаривал, но духовно рос: благочестивая испанская гордыня пала под ударами ирландской веры. В нищете он стал смиренным, приноровился к простой жизни, и отсюда, из тихого пристанища, цивилизация казалась ему пустой

суемой. Индейцы были бедны, многодетны, во многом нуждались. Золото, проходившее через их руки, не принадлежало им. Денег им хватало лишь на то, чтобы хворать да пить. Поначалу дон Касуалидон хотел встряхнуть их, оживить, дать им здоровье, которого, как сказал бы Дон-Кихот, не было у него самого. Он возмущался тем, что они живут созерцательной жизнью, отрешены от земного, ни к чему не стремятся, молчат, мечтают. Но теперь, через много лет, он их не только понимал - он сам погрузился в полудрему, и его призрачная жизнь стала простой, как у растения.

Он не решался заглянуть в свою

душу, не решался разобраться во всем, все объяснить себе, и смутное видение маячило перед ним, словно зыбкие пятна, словно всадники, пробиравшиеся сейчас между гривой радуги и тяжелыми тучами. Ему виделось, что он причастен радостям этих добрых людей, крепко связанных с землей, козами, майсом, тишиной, водой, камнем и не ставящих ни во что золотой песок, которому они знали цену.

Казалось бы, странно - знать песку цену и не ставить его ни во что. Голые индейцы трудились в реках, паутиной дельт, пучком кровеносных сосудов спускавшихся к морю, и, словно слепая сила,

бросали в печь мира сего топливо, чья цена - полная гибель человека. Они мстили палачам, отдавая им пагубный металл. На это золото покупали ненужные вещи, заводили в городах фабрики, где трудились смрадные рабы, ради него суетились, страдали, убивали, забывали жить. Дон Касуалидон закрывал ладонями уши при одной мысли о том, что ему пришлось бы выслушать исповедь столь гнусного ему цивилизованного человека. Куда лучше его индейцы, со всеми своими языческими празднествами, бесовскими плясками и пьянством.

Каждый вечер дон Касуалидон повторял слова святого Реми-гия,

которые тот сказал королю Хлодвигу, когда крестил его в Реймском соборе: «Склонись, гордый сикамбр! Поклонись всему, что ты сжигал, сожги все, чему поклонялся». Он повторял их, пока из-под век не начинали струиться черные в темноте слезы, смывая с голубого фарфора глаз видение сокровищ, и радовался, что беден среди божьих бедняков. Здешних людей он называл «настоящими», чтобы отличить их от тех, других, поддельных.

- Ты платы не возьмешь, - сказал ему как-то воскресным утром индеец, принесший крестить сына, - так я тебе это дам...

Дон Касуалидон чуть не

отказался от круглого свертка, похожего на огромную грушу, но, на его беду, индеец принялся разворачивать тряпки, и что-то зазвенело, будто монеты.

Вильялпандо, сребролюбивый епископ с двенадцатью, а не одним племянником, потянулся к приношению. Дар весил немало. Не иначе как деньги, старые монеты... золотой песок!... Он резко встряхнул загадочный предмет, внутри зазвенело, и звук этот угодил прямо в сердце его нищеты, особенно тяжелой оттого, что он понимал значение звона. Священник окрестил Хуаном младенца, которого держала на руках индианка с глубокими глазницами,

длинными косами и кожей цвета отрубей. Когда муж и жена вышли из крещальни в сопровождении глуповатого на вид крестного отца, испанец, не снимая епитрахили, поспешил встряхнуть тыковку. Сомнений не было. Серебро, серебряные монеты. Именно так они звенят друг о друга. Он впился ногтями в круглую, плотно пригнанную крышку и оторвал ее, чтобы на них взглянуть. Вся приветливость мгновенно ушла с его лица, сменившись горчайшим раздражением. Он спрятал то, что нашел, и отправился искать лошадь. Лошади нигде не было. Тогда он сказался больным, чтобы индейцы

понесли его до первой деревни, где есть лошадь или врач. Так, на носилках из листьев, покинул испанец Касуалидон индейское селение. Несли его четверо мальчишек, пыхтели, болтали, пыхтели и снова болтали, а за ними шествовал усатый старик, который иногда подходил к больному и проверял, не застыл ли он у них. В первой же деревне, где был врач, шествие остановилось. «Не надо мне врача, - сказал испанец индейцам, целовавшим ему на прощание руку, - разыщите мне лошадь». Ему, испанцу из испанцев, представлялось, что его принесли в паланкине, как носили в Эскуриал усопших королей. Им,

индейцам, он напомнил вождей, прибывавших на плетеных носилках к Великой Пирамиде. Дон Касуалидон сошел на землю, простился с носильщиками, одолжил у кого-то лошадь и направился в свой прежний приход. Ботинки, лишившиеся подошв, мягко прошлепали по блестящим плитам его бывшего дома. Там жил священник, которому он коварно подсунул погрязших в долгах богомольцев в обмен на индейских богачей.

Священник радостно похлопал его по спине, заверил, что он «у себя дома», и велел служанке подать ему какао и приготовить постель. На

ночь глядя он гостя не выпустит!...

Дон Касуалидон не принял ничего, кроме радости. Сперва, сказал он, ему надо поведать, зачем он явился. Глаза у него ввалились, он оброс бородой, вконец исхудал. Он долго добирался сюда, полпути - в носилках, полпути - в седле, чтобы просить великой милости. «Все, что вам угодно, - отвечал священник, в котором была индейская кровь. - Только бы это служило вящей славе божьей».

Дон Касуалидон стал вынимать из тыквы какой-то странный предмет. Чтобы вытащить его, он долго искал, за что бы его взять, а священник тем временем с

любопытством глядел на него. Наконец испанец извлек, что хотел, но дело ясней не стало. То была узда. Дон Касуалидон вручил ее собрату и сказал: «Взнуздайте меня, отец! Взнуздайте!» Он наклонялся к нему, он открыл рот. «Взнуздайте меня, я строптивая лошадь! Я скотина! Я гордец!»

Дон Касуалидон сложил сан, убедившись, что не сумел сжечь то, чему поклонялся. Его прозвали Сикамбром, и под этой кличкой он скитался в покрытых прахом землях, где не держалось ничто - все сметал ветер.

Вместе ехать веселее, тем более что дон Касуалидон на белолобом

коне все еще походил на заправского разбойника. Незадолго до Акатана он попрощался с погонщиками. «Все границу ищет», - подумал Иларио Сакайон... «И то, что за ней», - подумал Порфирио Мансилья, - широкие реки, леса, где живут обезьяны и люди, плеск весел, бег каноэ, лучших на свете диких уток с черными перьями и красным хохолком, черепах, драгоценные деревья, плывущие в дивные руки пены. То же самое подумал Олегарио. Они думали, не говорили. Их охватило молчание, предшествующее любви. Иларио глядел на Порфирио со своего седла. Редко мужчине так сильно нравится

другой. Порфирио превзошел все и
вся. Подумать только - сам угадал,
что он не нагнал письмоношу,
потому что тот обернулся койотом!...
Иларио выслушал догадку, но не
ответил и никому ничего не сказал,
даже Алехе Куэвас. Он боялся, что,
если она узнает про встречу на
Вершине Марии Текун, с ней что-
нибудь случится, стрясется. Между
ним и почтальоном, обратившимся в
своего оберега, установилась тонкая,
священная связь; откроешь ее - не
миновать беды, ведь ты нарушишь
тайну, сорвешь покров с
сокровенного естества глубоких и
неблизких уз. Когда Иларио
оставался один, он что-то бормотал,

а пить почти что бросил, чтобы не болтать лишнего. Шесть стопок анисовой, два пива - и ни капли больше. Даже нрав у него изменился: он утратил смешливость, перестал балагурить и шутить на сборищах. Он владел темной истиной, молчал о ней и, засыпая, видел сбежавшего письмоношу, о котором так ничего и не знали, в образе неуловимого, как бы текучего койота, тьмы на четырех лапах, сквозь которые виднелись две почтальоновы ноги.

XVIII

Не волосы - звуки тростниковой

флейты, тонкие нити. Не рука - пальчатый лист расчесывает их, едва касаясь, ибо, если запустить в них ногти, звук обрушится водопадом. Он слышал, как рушатся скалы, катятся камни, и плоть его, подобная незрелому плоду, хищно содрогалась, а под шерсткой, мхом покрывшей тело, пробежали мурашки. Клетки помолодевших крепких мышц омывала с яростью крови огненная лава, она и на кровь походила только красным цветом, а ненасытностью - на блестящую ртуть, пожирающую собратьев, когда они льнут к ней, ища защиты. Он дернул носом, вырываясь из рыхлого облака, пахнущего ипекакуаной. Нужно добраться,

выйти из сети запахов туда, где сейчас жена - ведь след ее он давно учуял. И штаны и пиджак лохмотьями осыпались с него, и черная вода унесла их. Земля чесалась без рук, как и сам он, просто встряхивалась. Вокруг росли сосны, а внизу лежали колкие иголки. Он выдвигал длинные зубы из ярких арбузных десен и, словно машинка у парикмахера, споро проскребал брюхо, спину, лапы, светло-бурое, как подгнившая айва, место под хвостом. Звук этот напоминал его прежний смех. Удивительно стать зверем, просто зверем. Глаза у тебя круглые, слишком круглые, ужас как круглы, и

видишь ты все кругом. Этого не объяснишь. Потому он и петлял. Не прямо бежал, а маленькими кругами. Он говорил, бормотал, голосил, словно воду всю сразу выпил или взвопил от удивления и проглотил свою плотку, словно город, онемел, издавая лишь призывный вой, сражающийся на лету с ветром. Опасность он чуял, как зверь, и вел его зверский голод, который сохранился в футляре обернувшегося мордою рта. Сверкающие цепочки слюны падали с его губ, снедающие его желания были темней и тише, чем самый мрак, таящийся в косточке плода. Ему все время хотелось поточить когти, спрятанные

в резиновых луковичках. Вытянутая вперед голова вертелась, как топор на топорище. Он не понимал, кто же это бьет его по спине, что это за два грузных чудища без лап и без голов? Он погрыз их, обнюхал, обмыл смехом. Он бы съел их, если бы мог. Надо их сбросить, избавиться от них. Что за зверь без лап, без головы, без хвоста, одно туловище? Смешно, право!... Хи-хи-хи... хи-хи-хи!...

Он дернул лапой, словно у него резинка лопнула, он дернулся, хотел от них сбежать, но на спине у него лежали мешки с почтой - звери без лап и без головы, одно туловище...

Он заметил, что-то быстро-быстро семенит, бежит зигзагами, то

еле ступает, словно в луковичках не когти, а свинец. Когда ему снова стало трудно идти, он скатился вниз по склону, причем не ударялся о землю телом и головой, а ехал на лапах, цеплялся когтями.

Рядом с ним был чернорукий старик, провожавший его, от селения, - тот самый, что обещал сказать, где жена. Он был рядом, но исчез, растворился в густой пыли. Как удержать его, как оберечь, как сказать, чтобы не исчезал? Все это было невозможно, только пес бежал за ними, а невидимый старик вел и его и пса к какой-то пещере.

Ему стало страшно. Болели ноги, исколотые кустами. А ведь

прошел он совсем мало, со стариком они почти сразу свернули вниз, к пещере. Нет, почему же мало! Он повсюду ходил, где только не был. Сеньор Ничо присел на камень огненного цвета, такого самого цвета, как холодный огонь земли. Он присел подумать, что с ним. Значит, сперва он вышел на большую дорогу и сейчас, припомнив ее, обрадовался. Ему смутно чудилось, что он добрался по ней до текущей вершины. Да, он там был, и старик тоже все время был с ним, хотя он того и не хотел. Он сбегал туда и вернулся, взглянул и вернулся. Сеньор Ничо Акино сидел между входом в пещеру и колючими

зарослями. На песке, как на солнечных часах, острые тени скал гонялись друг за другом, отмечая время. Для него время кончилось. Ворон, похожий цветом на старый ключ, пролетел над ним, клюнул его в плечо и удивился, что он живой. Сеньор Ничо спал с открытыми глазами на своих мешках. Он решил войти в пещеру, но почти сразу испугался, что беззубая пасть проглотит его и захлопнется за его спиной. Чтобы увидеть свет, он высунулся и увидел ворона. От голода ему мерещились запахи жаркого и лепешек, черные буковки бобов на плотной бумаге пирога, сладкое печенье, мед с молоком и анисом,

коричный напиток. Мерой голода он измерял, до чего дошел, куда скатился в поисках беглой жены. Он платил за собственную глупость. Нет, это не глупость. Ну, за прихоть. И прихотью это не было. Ладно, за то, чтобы жена снова билась в его объятиях. А почему другую не найти? Потому что другая - не она. Ага, вот в чем суть: почему ему не все едино?

Когда убегает текуна, в сердце остается острый шип, и тут не подойдет поговорка «С глаз долой...». Текуну ищешь, как жаждущий - воду, пьяница - водку, курильщик - сигару. Сеньор Ничо Акино отшвырнул мешки и пошел дальше, глядя, нет ли где еще одного

камня, чтобы присесть. Он и впрямь утомился, хотя вроде бы и не так много прошел - от деревни Трех Вод до того места на большой дороге, где они с черноруким стариком свернули вниз. Правда, он смутно помнил, что проходил Вершиной Марии Текун. Он присел на низенький, почти плоский камень. Здесь, под землей, в темноте и одиночестве, он и подумает, тучему не может жить без жены.

У текун (о них легче думать обо всех сразу) сидит внутри трепещущая птица или мохнатое морское растение, дрожащее, когда неподалеку прокатится мощная мужская волна. В самой своей

глубине любовь бессердечна, как текуна. Ее невидимая острая мордочка вынюхивает корень жизни. Только тогда ты и живешь, живешь с избытком. Текуна плачет, вьется, бьется, кусается, хочет вырваться, бормочет, стонет, обливается потом, царапается и в конце концов затихает осой, погибшей от боли. Но жало ее осталось в том, кто держал ее в объятиях. Она свободна - он связан навек.

Теперь камни знают, зачем он ее ищет. Теперь деревья знают, зачем он ее ищет. Теперь звезды знают, зачем он ее ищет. Реки знают, зачем он ищет ее.

Черно-красными

камнями, рассыпанными по полу пещеры, он нарисовал себе глаза на лице, на руках, на ногах, на самых ступнях, чтобы его разглядел чернорукий старик, похожий на цветочную гусеницу, который увел его пса. Весь в глазах, он пошел дальше, таща мешки с письмами, и встречал на пути лишь белых раков, летучих мышей да слепых жуков с длинными усиками.

«Куда ты идешь, Ничо Акино?» - спрашивал он себя, проходя под землей, где капли капали с камня, а корни пели, втягивая, будто лоно текуны, всю жизнь земной толщи, от благоухания до вони, от сладости до горечи, и боль, и яд, и огонь, и едкую

печаль, и грязь. Невидимые метеоры гнали его, как колдуны. Так неслись под землей, от селенья к селенью, вести касиков. Письмоноши - сыны засеянных полей. Поля бегут, бегут туда и сюда, день за днем, ночь за ночью, и те, кто ведет их, легче солнца, и те, кто ведет их, легче тени. Он добрался до места. Старик, похожий на гусеницу, говорил ему, что он придет в Разноцветный Дом, обиталище одинокого света. Он отступил в удивлении, разинул рот, замедлил шаг. Из высокой расщелины лился солнечный свет и, падая ему на голову, обращался в воду, неподвижную, застывшую алмазами, сверкающую бриллиантами. Не

только сверху - снизу лилась и вилась причудливая хрустальная зелень. Ему показалось, что он попал в жемчужину. Иногда - наверное, когда солнце сверкало ярче - свет пробивал густой свод ветвей, склонившихся хам, наверху, и алмазный, светлый мир темнел и зеленел, словно холодный сон лианы или зеленый мрак ящерицы. Сперва камни становились зелеными, как тина, потом - как чистый изумруд.

Сеньор Ничо Акино положил мешки с письмами и снял шляпу, как в храме. Он поглупел от удивления, он наглядеться не мог! Кто-нибудь должен тут жить - не пропадать же такой красоте! Надо бы вернуться в

Сан-Мигель Акатан и позвать всех, пускай тут поселятся. Это не пещера из детской сказки, это явь. Быстро, словно пугаясь, что все исчезнет, как во сне, он потрогал сверкающие иглы. Они были холодней земли, хотя на вид казались горячими, как солнце. Наверное, таким бывает солнце на самом верху неба, потому оно и светит так сильно. Сеньор Ничо трогал и трогал сотни, тысячи драгоценных камней, светлых, словно стекло, разве что бледно-желтых, будто месяц. Ему стало холодно. Он поднял ворот пиджака. Надо было выбраться, найти большую дорогу, отнести письма на Главный почтамт. Если жена

поселилась в таком распрекрасном краю, она не пойдет за ним в селение, где одни некрасивые дома да печальная церковь. Почему бы всем не перебраться сюда, а в Разноцветный Дом ходить, как в храм? Тут бы самое место божьему алтарю. И отцу Валентину, и роялю дона Деферика, и его белокурой супруге, ей в таком сверканье и жить, и толстому начальнику почты, от которого несет свечным салом, и погонщикам, чьи кони станут еще горделивей в сверкающей сбруе.

Размышления его прервал человек с иссиня-черными блестящими волосами. Руки у него были темные, как у старика,

загнавшего письмоношу в это таинственное место, ногти блестели, словно светляки, взор влажно поблескивал.

- Если вам так нравится здесь, - спросил он, - почему бы вам не остаться?

- А что, стоит? - поспешил ответить письмоноша, радуясь беседе, радуясь звуку голоса в этом замкнутом мире. К тому же вопрос еще раз доказывал, что это не сон и не сказка.

Таинственный незнакомец сделал знак, и он пошел за ним в другой конец Разноцветного Дома. Птичий щебет звенел столь громко, будто птицы тут и летали, но они

были далеко, неизвестно где. Люди болтали, словно попугаи, и весла огромными крыльями били по воде.

Разноцветный Дом стоял на берегу подземного озера. Островки водорослей зеленели на темной воде, сливались и дробились под мягкими ее ударами. Сеньор Ничо Акино касался воды снова и снова, и явь была больше похожа на сон, чем самые сны. В воде отражались апельсиновые дольки сталактитов и сталагмитов, а в глубине, синей и блестящей, как птичьи перья, словно драгоценности в футляре, сверкали сокровища земли, индианки из индианок - ослепительные початки, усыпанные крупным зерном.

- Прежде всего, - сказал ему провожатый, - ты должен знать, кто я такой и куда ты попал.

Мимо проплыла лодка. В ней сидели призрачные, в белых одеждах мужчины и женщины.

- Я один из великих колдунов-светляков, которые живут в шатрах из шкуры девственной лани, а род свой ведут от тех, кто высекает кремнем искры, от тех, кто сеет искры в черный воздух ночи, чтобы зимою звезды указывали нам путь, от тех, кто разжигает костры, с которыми можно потолковать о зное, сжигающем землю, когда он прильнет к ней всей своей желтой силой, и о клещах, сосущих скот, и о

саранче, иссушающей небо, и о безводных лощинах, где глина с каждым годом все больше похожа на доброе старческое лицо.

Проплыла еще одна лодка, груженная золотыми бананами, золотым сахаром, кровавыми и сочными сливами, сладкими, словно мед, полосатыми баклажанами - только зебрам и есть, ананасами с чистейшей плотью, каймито, похожими на аметист и на цветок, манго в корзинах - маленькими вулканами, нансе - каплями слез золотого божества...

«Еду везут...» - подумал сеньор Ничо, глядя на огненные плоды, лаву под шкуркой, родившуюся в древнем

мире, где наяву и в отражении, снизу и сверху - повсюду сверкают и льются минералы.

- Ты знаешь, кто я. Теперь я скажу, куда ты попал. Ты шел на запад, минуя земли мудрости и маиса, спустился под усыпальницы тех, кто владел горами Чама, и теперь направляешься к устьям...

- Я жену ищу...

- Все ищут ее с тобой, но, прежде чем идти дальше, надо уничтожить то, что ты несешь в этих холщовых мешках...

Помня свой долг, письмоноша закрыл мешки телом и не дал их сжечь. Лучше пойти по большой дороге, решил он. Они направились к

западу, выглянули в огромное окно, обрамленное черными скалами, и увидели молочную голубизну поднимавшегося над морем тумана. Облачка с паучьими лапами проносились сквозь золотую пыль солнечного света, а пыль эта оседала в воду, чтобы вода стала светлой, пресной, печальной. Дождевые капли - вестницы тоски. Те, кто их выпьет - и женщины и мужчины, - мечтают о невиданных лугах, о небывалых странствиях, о потерянном рае. Истинный мужчина, истинная женщина (а они есть, вернее, были в каждом) покидают их, оставляя по себе оболочку, просто куклу, которая живет как живется.

Почтальон обязан защищать свои письма, на то ему и нож дают, он обязан доставить их и вручить в целости и сохранности, но пустые обязанности исчезают, когда под оболочкой возродятся человеческая печаль и звериное чутье.

Провожатый, чье лицо было невесело, как вырванный корень, протянул в зеленую тень, соединяющую землю и море, черные илистые руки с блестящими ногтями и сказал так:

- Брат письмоноше - морской оком, теряющийся в бесконечности, ибо он, словно письма, несет облакам и звездам небесных птиц и полевые цветы. Братья письмоноше -

метеоры, ибо они носят вести от
звезды к звезде, а звезды - крестные
текунам, ибо, медленно высосав
небо, они падают, исчезают,
обращаясь в метеоры. Брат
письмоноше - ветер, вестник
времени года. Время меда - весна,
время соли - лето, время рыбы -
зима, а осень - время земли, ведущей
счет мертвым на кладбище... два...
три... четыре... десять... сто...
тысяча... и там... и здесь... и по
всему свету. Если плоть пригубила
бродяжьего зелья, вкусила пыли с
паучьим следом, рано или поздно
она сбежит, словно метеор, словно
беглая жена, вырвется из объятий
скелета, к которому ее навек

приковали, уйдет, исчезнет, ибо она - текуна...

Когда колдун замолчал и приблизился к письмоноше, тот онемел от страха и прижался спиной к мешкам, чтобы защищать письма, как собственную плоть. Но это не помогло. Рок сильнее смерти. Он был мужчиной, и ему так захотелось найти в глубине своей плоти жену-щекотунью, что он уступил. Холщовые мешки, украшенные таинственными знаками, полетели в костер из сухих сучьев.

Холст занялся не сразу. Зубы огня никак не могли ухватить мокрую линкую ткань, вобравшую горестный пот сеньора Ничо, когда

он метался между пустым служебным долгом и щекотуньей-женой. Ягуарьи зубы пламени, тапирьи языки, золотая львиная грива одолели полосатую холстину, откусили кусок и сквозь первую дырку, искрящуюся чернью и золотом, проникли внутрь. Тогда и заплясали пригоршни горячей бумаги, письма в квадратных конвертах, пакеты в цветной обертке. Куски сургуча таяли, словно струпья, трещал картон, пылали марки...

Сеньор Ничо Акино закрыл глаза. Он не хотел смотреть. Он боялся увидеть, как горит то, чего он не защитил, как высовывается кроличьим ухом угол партитуры,

которую дон Деферик послал в Германию, как корежится, словно живая, фотография офицера, как тлеют бумажные деньги, начиная с грязных краев, замусоленных и захватанных руками тех, кто эти деньги считал, копил и утратил, как трещат костяные судебские бумаги, как пылают исписанные мелкими буквами письма отца Валентина - призывы о помощи против текущей хвори.

Закрыв глаза, сеньор Ничо слышал, как пепел писем пускают на четыре стороны света. Пепел всего дурного. Вокруг собрались загадочные, скрюченные колдуны, волосатые, бородатые, без возраста и

пола, скорее растения, чем люди. От них сеньор Ничо должен был узнать, где его жена, бесследно сбежавшая из дому.

...Буль-буль-буль, буль-буль-буль... кипит вода. Белеет тряпка. Ключок белой тряпки застрял, как в петле, во дворике. Темно. Колокола отзвонили, призвав к вечерней молитве. Пес тревожно ищет хозяйку, кружит там, откуда она ушла. Бегает, нюхает, лает, плачет, крутит головой, становится на задние лапы, чтобы подальше заглянуть, скребется, кружится, несется туда, несется сюда и не находит ту, кого потерял. Женщина пошла по воду, положив себе на голову, под кувшин, белую

свернутую ткань, а он семенил за ней, обнюхивал ей юбки и пятки. И вдруг она исчезла, ее не стало. Пес не видел, как ни искал, ни кувшина, ни осколков - все исчезло разом с лица земли. Сперва пес подумал, что она остановилась, нагнулась, хотела что-то поднять или почесать ногу; но нет - ее не было совсем, ничего от нее не осталось. Он посомневался немного и долго, искал ее, тревожился, печалился, грустил, пугался, не знал, что делать. Один за другим обнюхивал он участки земли, поднимал голову, нюхал ветер и не мог поймать запаха той, что шла с ним и в минуту, в секунду, в миг оставила его, бросила, словно

спряталась куда-то. Он бегал вприпрыжку, он лаял и скулил - звери боятся за хозяев, - он сбился с пути и только к ночи вернулся домой, где вода из кипящего котелка убежала, погасив огонь, а тряпка все так же белела в темном дворе.

Сеньор Ничо собрал все силы, чтобы взглянуть в лицо беде. «Все ж собака...» - только и сказал он, как бы благодаря верного Жасмина, который один в том пустынном, огороженном проволокой месте видел несчастье и вернулся домой. Он искал хозяйку и дома, но не нашел, даже голоса не услышал, даже не учуял темной тени, которую отбрасывает только что помывшаяся

женщина, когда выходит на солнышко расчесать волосы. Всю ночь он безутешно провыл.

Глаза сеньора Ничо Акино наполнились битым стеклом. Понемногу осколки растворились в бездонных колодцах. Что ж, и ее придется пожрать глазами. И ему придется. Пожрать. Сожрать возлюбленный образ, как сожрала его земля, даже пыль не поднялась над мокрой глиной. Ничего не осталось. Жена упала в глубокий колодец - их прокопают, воды не найдут и дыру не засыплют, ни знака не поставят, ни ограды. Сколько в нем глубины - шестьдесят вар, восемьдесят, сто? Вода в тех местах - глубокий корень.

Колодец лежит в травах, как беззубая дохлая змейка. Слова обращались в слезы; из памяти, как живая, вставала она во всей своей красе и падала сквозь мокрые колодцы глаз туда, в его измученное тело. Он никак не мог привыкнуть, хотя и привыкал понемногу к мысли о том, что больше не увидит ее, не тронет ее рук, не ощутит запаха волос, вымытых дождевой водой и просушенных утренним солнцем, не схватит, как хватал, когда, играя, отрывал от поглотившей ее земли и куда-нибудь нес, а она пиналась и сердилась, пока на щеках ее от смеха не появлялись ямочки. От горя ноют и болят самые глубокие корни.

Сеньор Ничо вынести не мог, что с ним больше нет нежной подруги, чье платье благоухает, как теплая тряпка, в которой завернуты лепешки, кроткой подруги душных ночей, когда ему только и хотелось поскорее схватить ее в объятия. Слезы рождались на краешке век, в ресницах, наполняя глаза прозрачными трепетными блестящими кругами. Лицо темнело все больше. Он сбросил человечью оболочку, тряпичную плачущую куклу. Сбросил муку, которой мучается мужчина, когда не может отделиться от образа жены, а она грудой костей, волос, тряпок, осколков, холодных кос, звонких

серег, смятой кувшином ткани лежит на дне колодца, где думала найти воду и нашла смерть. Сеньор Ничо Акино сбросил человечью оболочку и прыгнул на теплый песок, слишком колкий для ноющих мохнатых лап. Колдун светляков, не оставлявший его с самой их встречи в Разноцветном Доме, шел рядом и говорил, что имя ему - Лекарь - Олень Семи Полей. И впрямь, если присмотреться, тело у него было оленье, и голова, и ноги, и хвост, и круп, и повадка. Олень с семью серыми пятнышками, семью ожогами лавы чуть пониже острых рогов, а из темно-золотых глаз струится сладкий мед.

И сам он, Ничо Акино, хоть того и не сказал, - койот. Зубы у него белые, как зерна в початке, тело длинное, как пила, и рвется он вперед, будто пилит, все четыре лапы быстры, как ливень, глаза горят текучим огнем, и язык звериный, и нюх (внюхиваясь, он выговаривал: суфулуфулуфу), и слух, и осязание.

Там, за стеною гор, такая же самая жизнь. Мало кто прошел насквозь подземную тьму и выбрался в алмазные пещеры через поля светящихся желтых загадочных камней, через поля застывших радуг, поля холодных изумрудов, поля синей яшмы, алой яшмы, яшмы голубой и заросли сонных подводных

растений. Те же, кто прошли все насквозь, молчат по возвращении, давая понять, что им ведомы тайны мира, скрытого горами.

Туман под землей не так уж густ. Но он ослепляет вконец, от него засыпают пальцы, ноги, язык, и мысли выходят через уши и кровью сочатся из ноздрей у тех, кто, решившись на все, пойдет по лабиринту пещер, извилистому, как пустая и клейкая змеиная шкурка, одна шкурка, без змеи, и проникнет в сводчатые, словно храм, залы и дальше, туда, где стены окроплены чистой водой, и в самую глубь, где жара печет и щиплет, как перец, а сухой соленый зной пышет, как в

очаге

Те, кто, решившись на все, пройдут подальше в глубь земли, светя себе сосновыми факелами, долго движутся среди озер, пузырящихся тьмой или складчатых, словно черви; среди бездн, где похоронены селения, над которыми жалобно пищат птенцы; среди полчищ муравьев, ящериц и мелких зверей, безобидных на свету, но страшных в темноте. Почти у всех, кто вернулся отсюда живыми, глаза ввалились, губы потрескались, ноги дрожат от усталости, тело - от холода. Что с ними было? Болели они? Спали? Если бы они обрели звериные глаза, как Лекарь-Олень и

Койот-Письмоноша. они бы видели во тьме и добрались без страха до сверкающих пещер. Звериные глаза были у лекаря и у письмоноши. у оленя и у койота. Колдуны-светляки спустились оттуда, где ударяют друг о друга огромные кремни, и помазали им глаз, стеклянный шарик, светлячиной мазью, чтобы они видели в подземной тьме сокровенный путь, которым с ними идут сотни зверей, тени зверей-праотцев и зверей-отцов, спустившихся сюда, чтобы схоронить пуповину детей и внуков, родившихся у людских племен, тут, рядом с черепашьям сердцем, с улиточьям сердцем, с зеленым медом ила,

красным гнездом скорпионов, гулким барабанным эхом. Дети и внуки спустятся позже, если жизнь им разрешит, чтобы встретиться здесь с оберегавшим их животным.

Те, кто спускается в подземные пещеры, там, за стеною гор, за ядовитым туманом, встретят своего оберега. Их другое «я», их зверь-двойник явится им во плоти, такой самый, каким они его носят в темной и мокрой глубине тел. По воле праотцев зверь и человек живут в нас с самого рождения и связаны теснее, чем сын с отцом или брат с братом. Здесь они отделятся друг от друга, чтобы друг друга увидеть. Для того и совершают обряды в сводчатом

темном гулком мире, для того и приносят здесь жертвы, чтобы человек и зверь разделились, как лицо и отражение. Лекарь и письмоноша спустились вниз, чтобы присутствовать при обрядах.

Те, кто спускается сюда - а спустится лишь тот, у кого смазаны глаза светлячиной мазью, полулюди-полузвери, - садятся, как людские тени во тьме пещер, на мягкие листья или прямо на землю. Они не едят, не пьют, не говорят, не признают знакомых и друзей, ничего не видят.

Одинокие тени, черные мертвецы, равнодушно глядят они зажженными невесть когда глазами

на сиротливую тьму,
простирающуюся окрест.

Девять дней томятся они по доброй воле. Многие, тронувшись умом, бегут искать солнца, громко плачут и, выскочив на свет божий, говорят, что заблудились в пещерах. Лишь те, кто по смелости своей тихо отстрадает срок, выйдут потом туда, где все сверкает.

Те, кто не сбегут и выдержат, переходят, отстрадав долгую ночь о девяти темных днях и темнейших ночах, в едва освещенную пещеру. Они дрожат, они еще не вырвались из мрака, они запутались в нем, словно летучие мыши в волосах тьмы. Смертный холод сотрясает их, хотя

на них шерстяные пончо и плетеные шляпы, остроконечные, как крыша, и они громко сетуют, что созданы из глины, а жажда расколется на куски. Плача и жалуясь, ходят они по скалам и камням просторной пещеры, освещенной слабым светом. Падают, прыгают, скользят, опрокидываются на спину, ползут на брюхе по краю пропасти, цепляясь локтями, ногтями, коленями, только бы, как велит обряд, испытать опасность и не свалиться в страшную пропасть или в стоячую воду, в которой не отражались женские глаза. Они устали, они не могут двигаться, им часто не хватает воздуха, они хватают его ртом, их тошнит. Одни теряют

сознание, другие, утратив разум, кидаются в пропасть и падают медленно, как листья, и разбиваются внизу. Четыре дня движутся они в этой неуклюжей пляске, падая, будто спьяну, жуя отдающую корнями землю, слизывая мочу с влажного песка, стеная и мучаясь. Сильные шатаются от слабости, слабые забываются тяжелым сном. Колдуны-светляки приходят им на помощь и сообщают, что они созданы не из глины. Глиняных людей, кукол из печального праха, давно разбили. Те, кто выдержал, выходят темной благоуханной ночью и ждут солнца. Драгоценный свет орошает их, проникает сквозь окна глаз, ушей,

бесчисленных пор, радостно открытых ему, пока не пропитает красный песок их сердца, и вернется уже не тем светом, который освещает камень, растения и зверя, а тем, который светит человеку, побывав в человеке, стал человеческим. В таком свете можно различить себя и своего оберега. И себя увидишь, какой ты есть, и тот свой первообраз, который скрывается в тебе и выскакивает в звериное тело, становится зверем, оставаясь тобой.

Молния сверкнет перламутром, ударит солнце. Тех, кто увидел своего оберега, не победить мужчине в битве и женщине в любви. С ними хоронят их оружие, богатства у них

сколько хочешь, их почитают змеи, их не берет оспа, а когда они умрут, кости их, если верить слухам, крепки, словно камень, и светятся в темноте.

Тогда их ждет третье испытание. Они поднимаются в холодные леса сквозь белый сплошной туман, где разглядишь не больше, чем в темных пещерах. Словно плывя в воде, пробираются они сквозь листья огромных деревьев, сплетшиеся в огромную зеленую равнину, под которой далеко внизу простирается зеленая земля. Воздушная равнина ветвей висит над земной равниной. Все испаряется здесь, как облако: неподвижные белые орхидеи;

кровожадные красные растения-звери с зеленой шкурой и воспаленной пастью; мохнатые сороконожки; сбесившиеся пауки; сверкающие жуки; текучие шнурки гадюк, которые и во сне будто слушают звон кимвалов; юркие мыши; барсуки, полощущие свою пищу; длиннохвостые кинкажу; подслеповатые медведи; горлицы в гнездах, где пахнет известью и перьями; сладость бабочек и чистая роса на сломанных побегах бамбука; петушья кровь растений на цветущих огненных гребнях; зеленое пламя листьев, усеянных жгучими шипами; гривастые, кудрявые папоротники; улы; пенистый гул пчелиного роя...

Четыре дня проводят на зеленой равнине, висящей в воздухе меж стволами сейб над равниной земли, те, кто вышли из черного мрака пещер в белую мглу тумана. Четыре дня и четыре ночи не спят непобедимые, не пугаясь ни сетей усталости, ни хищных птиц. Едят они листья, объясняются знаками, движутся, держась за ветки, низко опустив голову, склонив шею, с трудом сохраняя равновесие, ступают они и ногами и руками, одежды на них почти нет, весь срам наружу. Их разбирает смех, у них все чешется, им хочется спать. На четвертый день, к вечеру, колдуны возвещают им, что они не созданы из дерева, не

вытесаны из леса, и пускают их на равнину, где ждет маис. Все тут маисовое - и плоть их детей, созданная из маиса; и кости мертвых, сухие початки, маисовый прах; и тело женщин, нежные зерна, набухшие им на радость, ибо в молодом женском теле маис - как набухшее в земле зерно, которое вот-вот прорастет. Совершив ритуальное омовение, они вкушают маис, чтобы восстановить силы: лепешки в девять слоев, переложенные черными бобами - за девять дней в темноте пещер; лепешки круглые и белые, как солнце, в четыре слоя, Переложенные светлыми цветами айоте - за четыре дня в землях белого

тумана; лепешки из старого маиса, лепешки из молодого маиса, маис вареный, маис толченый, маис жареный.

Когда Лекарь и сеньор Ничо, олень и койот, прибыли туда и увидели все это, они отряхнули по четыре лапы каждый, словно вырванные из земли корни. Непобедимые омылись в подземных реках, холодных, как железо, насытились, облачились в праздничные одежды и плыли на легких лодках к сверкающим пещерам.

Тебя возвещает мой кремневый нож! Тебя возвещают мои умащенные водой волосы! Я - вокруг тебя, ты -

вокруг меня! Стройно дерево неба, и, прежде чем на земле, чем в озере, чем в сердце, в нем свершается все: и победы и поражения. Руки твои полны, лоб твой зелен, и плоть цветка расцветает между коленями вод, когда ты стоишь на коленях!

В первый же день крестьяне, пустившие в землю целебные корни, встали городом, чтобы защитить тебя от летучих мышей! Они встали, чтобы солнечная и прямая флейта початка, окутанная светлыми волосами, словно детородный член, была обезглавлена в срок среди пирамид змеиных звеньев, под рыбой луны в тумане ушедших.

Песнь колдунов-светляков

повторяет весь подземный мир. Губ у него нет, голос выходит из горла в полость пещеры, сотрясая алмазный язычок. Голос взрывается шутихой в сокровенном слухе камня, эхо подхватывает его и лепит заново из глины переливов, пока он не превратится в звонкую чашу. Те, кто не пали побежденными в земной глубине, пьют из нее напиток птичьего полета, чтобы и в небе их никто не победил.

Лекарь указывает оленьей ногой на одного из непобедимых - Гаспара Илома. Его нетрудно узнать: он ест много перцу, взор у него загадочный, волосы седые, как солома.

Койот-Письмоноша Ничо Акино

видит касика среди непобедимых, а
Лекарь -Олень Семи Полей
объясняет ему:

- Люди пришли к ним на
праздник во мраке и отравили его.
Он медленно выпил из тыквенного
сосуда водку с белым ядом. Жена его,
Вшивая Краса, увидела яд у него на
губах и кинулась прочь. Гаспар хотел
ее убить, но у нее за спиной сидел
его сын. Тогда он выпил целую реку,
промыл кишки, победил смерть - его
ведь победить нельзя - и вернулся
поутру к своим, но нашел лишь
изрубленные трупы, обожженные
порохом, потому что каратели
стреляли в упор. Каратели стреляли в
него, чтобы взять его живым или

мертвым, и он бросился в реку, его унесло течением, его не победили, он тут, с непобедимыми. Я спасся тогда, - говорил Лекарь, а москиты кружились над его оленьим ухом, - потому что успел обернуться собой, выпустить все четыре ноги, а то бы они меня порешили, как моих светляков-собратьев, которых изрубили во сне, пока они не превратились в кроликов. Они ведь кролики с ушами из маисовых листьев. Их изрубили в куски, но куски сползлись вместе, от каждого кролика ожил кусок, а из всех кусков сложился колдун, колдун из кровавых кусков, и все колдуны, в один голос, устами многорукого чудища,

множеством языков прорекли:
«Лесной пожар пожрет
отравителей!» Так и было: сгорели и
Томас Мачохон и жена его Вака
Мануэла. «Семь раз сожгут поля, и
умрет полковник Годой!» Он и умер,
наверное - сгорел в Трясине, хотя и
командовал отрядом.

- Наверное... - начал Койот, он
хотел что-то сказать, или хотел что-
то сказать спрятанный в нем сеньор
Ничо.

- Да. Колдуны-светляки,
родившиеся там, где ударяют друг о
друга огромные кремни,
приговорили его к сожжению. По
всей видимости, так оно и вышло,
ибо глаза филинов, горящие перцем и

солью, пригвоздили его к доске, пору за порой, и он, какой был, какой есть, вместе с конем, стал маленьким, как сахарная фигурка. Он хотел застрелиться, но пуля не убила его. Игрушечный полковник. К тому он и призван, ведь военные - это игрушки.

Койот-Письмоноша поерзал хвостом. Непросто слушать такое и видеть, словно это сейчас проходит перед взором, у входа в сверкающие пещеры, когда причаливают таинственные лодки, груженные благовониями, а непобедимые, словно во сне, усеяли искрящиеся камнями скалы. Непобедимые вкушают лишь дым благовоний и

легкие цветы с нитью вместо корня. Цветы эти кидали им с лодок, они взлетали в воздушной струе, попадали в алмазное и жемчужное кружево, сыпались вниз, летели вверх, тянулись друг к другу длинными усиками мертвой бабочки.

- Когда колдуны прорекли проклятия, - важно говорил Олень-Лекарь, и черная губа поднималась, обнажая белые зубы, - сразу, как гаснет пламя, угас весь дурной род, весь плод их чресел, ибо люди эти злы, как кремень, который холодит зимой и обжигает летом. В них и в их детях угас свет племени, свет рода. Мачохон, сын Томаса Мачохона, передавшего яд, обратился в

небесное светило, когда ехал просить руки у Марии Канделарии, а братья Текун обезглавили Сакатонов, вырвали их, как траву, со всем потомством, до третьего колена, ибо аптекарь Сакатон продал яд, которым отравил до этого шелудивую собаку.

Молнии солнечных лучей сверкали в листве, проникали сквозь своды, и пещеры стали изумрудными, переходя от голубоватой, воздушной яшмы к густой и плотной зелени глубоких тусклых вод.

Надо было еще о многом спросить, но одно волновало его всего сильнее, и он решился, хотя по хребту его пробежал недобрый, хищный холодок.

- А камень Марии Текун?

- Вопрос твой, свитый из крепких, колких волос, - стремя, в которое я вдену ногу, чтобы вскочить в седло ответа.

- Крепкий волос, колкий волос спрашивает тебя, потому что всякое говорят о Марии Текун и обо всех текунах, беглых женах, и много мужчин пропало на текуньей вершине... - Он втянул слюну койота, смесь горьких слез и воздуха, который воем рвется из пасти, и только тогда смог сказать: - И еще потому, что оттуда пошло мое горе. Как я мучался, поймет лишь тот, кто и зверь и человек, как мы. От ревности кровь свернулась у меня в

голове, темные сгустки удушили меня, растаяли, обожгли мне лицо, облепили меня всего и застыли в срамном месте, будто я болен дурной болезнью. Под ревностью таился гной жалости, и я решил жену простить - ее ведь, бедную, опоили паучьим зельем, но жалость исчезла, у меня просто щекотало шею, давило, я чуть не сблевал, и вокруг сосков зачесалось, словно прибыло молоко, и пояс как будто охватило струей. Я готов был не простить ее, любить, теща тайные страсти, радоваться, что беглянку познает другой, насладится ее телом, войдет в сверкающую пещеру, во влажную пещеру лона, где камни шевелятся, словно корни.

Меня поймут лишь те, кто побыл и человеком и зверем. Потом я узнал, как все было. Только собака видела, как жена моя вышла по воду, не заметила в травах колодца и упала в него. Но прежде чем вкусить печального утешения, я много перемучился. Наверное, я кусал безответных зверьков, пугал народ в деревнях, выл на кладбищах, свивал клубок безумия о четырех лапах в тенях и тумане, у камня Марии Текун...

- Выйдем отсюда, из-под земли. Идти нам мало, рассказ велик, и все объяснится, когда мы с тобой вернемся на текущую вершину.

Сеньор Ничо Акино не мог вернуться в Сан-Мигель. Его бы сожгли там живьем, как живьем сожгли письма, которые он нес на почтамт, чернорукие колдуны с блестящими ногтями. Он бегал по разным землям то в койотьем виде, то в человеческом и добрался до селения, построенного на всяком хламе. Вернее, если верить глазам, стояло оно на листах железа, досках, кусках цемента, выловленных из моря стволах, и все это было покрыто солью и липкой грязью, пропитано болотной лихорадкой. Домики еле держались, входили в

них по шаткой лестнице на ветхую галерею. Кое-где в окнах были стекла, падавшие вниз ножом гильотины, а решетки были везде. Чаще всего домик просто лепили из глины, воняющей рыбой, крыли, соломой и проделывали кривую дверь. Воздух в домах был такой, что и кошки кашляли. Черные от копоти хозяйки стряпали на керосинках, хотя кое-где стояли божеские плиты с конфорками и топили их дровами или углем.

Люди жаловались на холод - сеньору Ничо Акино было жарко. Он явился сюда с гор, избегая кары. Обвиняли его в нарушении служебного долга и в убийстве жены,

о которой не было ни слуху ни духу. Нелегко привыкнуть к побережью. Его приютила, взяла в рассылные хозяйка жалкой гостиницы, больше похожей на больницу. Номера были оклеены выгоревшими цветастыми обоями. Повсюду кишели кошки, собаки, куры, в клетках сидели попугаи, а два из них сверкали, словно радуга, на фоне застарелой грязи и предохраняли дом от пожара.

Жил тут один-единственный постоялец. Имя свое он скрывал. Каждую неделю он возвращался из плавания с трубкой в зубах и пиджаком через руку. Кожа у него была белая, только, лицо обгорело, волосы светлые, и ходил он

прихрамывая. За каждой едой ему меняли салфетки, чтобы он отирал усы, и сеньор Ничо передавал ему блюда: бульон, мясо, рис, бананы, бобы, а на сладкое - персик. Он знал, что постоялец родом из Бельгии, но никак не мог узнать, зачем он ходит в море. Рыбы он не ловил, контрабандных товаров не возил. У него ничего не было, кроме мешка и трубки. Хозяйка сказала сеньору Ничо, что, по ее мнению, постоялец измеряет глубину моря, чтобы узнать, пройдут ли здесь английские суда, если будет война с Англией. Жизнь тут катилась медленно, как вагончик, который возит туда и сюда товары в порту. Вечерами, после заката,

сильно и сладко пахло свежим бамбуком.

Сеньор Ничо помогал хозяйке во всем («Только женщиной еще не заделался!» - говорил он), но главной его обязанностью было два, а то и три раза в неделю плавать с гребцом на лодке в портовый замок.

На берегу - и у пристани, и рядом - росли пальмы. Они отражались в воде, и казалось, что из моря выходят змеи. А вдалеке, за волнами, виднелся замок, словно иволга сидела на воде.

Хозяйка дала сеньору Ничо Акино часы величиной с небольшую черепаху - у моря, как у всякого зверя, жизнь идет по часам, а ночью

оно ярится, - и он носил их на цепочке, тяжелой, как у каторжника, которую продел во вторую петлю своей буро-зеленой рубахи. Тикали они ему прямо в грудь, и понемногу эта кость привыкла к двум ритмам - часов и крови. Когда узкая лодка, груженная товарами, иглой врезалась в волны, горизонт уходил все дальше, а из воды там и сям высовывались акулы морды и хвосты. В тихой воде, под тихим небом прыгали, скалились, кувыркались, зловеще плескались акулы.

Иногда он привозил в отель «Кинг» мужчину или женщину. Они договаривались с хозяйкой, чтобы

она сдала им лодку, и плыли в замок к кому-нибудь из заключенных. Сеньор Ничо отправлялся с ними и присмотреть, и помочь, и отвезти заказы, раз лодку все равно оплатили.

Ничо Акино вырос в горах и надивиться не мог на здешних узников. Ему казалось, что, живя в самом море, они из людей ушли, до рыб не дошли. Цвета они стали рыбьего - и кожа, и волосы, и ногти, глядели по-рыбьи - бессмысленно, двигались по-рыбьи - медленно, даже смеялись по-рыбьи. Человеческими остались лишь облик да дар слова, хотя некоторые только открывали и закрывали рот, как бы пуская пузыри.

В замке этом была тюрьма, и там, среди человекоуб, отбывали наказание Гойо Йик и Паскуаль Револорио - самогонщики, контрабандисты, лжесвидетели, воры и бунтари. Дали им по три года и семь месяцев, не считая дней, проведенных в сельской тюрьме. Кумовья покупали у хозяйки отеля «Кинг» пальмовое волокно. Целыми днями сидели они друг против друга на давно протершихся камнях и плели из волокна бесконечную ленту, сворачивали ее, ждали, пока она станет совсем хорошей, шили шляпы и продавали их дюжинами. Закончив тулью, Револорио упирался локтями в колени и, глядя на море, говорил о

том, что хотел бы сделать шляпу величиной с небо. Гойо Йик, вращая готовую шляпу, предавался мыслям, они плавали в его мозгу, как в перевернутом рыбном садке, разные - от акул до мелких рыбешек. В голове нашей как в море: большая дума пожирает маленькие. Засядет в мозгу, и ничем ее не насытишь. У Гойо Йика акулой была жена с детьми, такая самая, как в то утро, когда она покинула дом на окраине Писигуилито. Сколько лет пробежало! С коробом он ходил, можно сказать, до тюрьмы, повсюду искал, всех спрашивал, всем поручал сообщить ему, если ее встретят, и ничего не узнал - ни слова, ни звука.

Много лет ушло, и сердце его вслепую выкрикивало ее имя, как сам он еще слепцом кричал на дороге у дома: «Ма-рия Теку-у-ун!... Мария Теку-у-ун!...»

В тюрьме сидели человек сто двадцать, но человеческий облик они давно утратили, ибо не делали ничего, только ели да спали. Им вечно хотелось пить, воздух тут был соленый, прокаленный солнцем. Они жирели, становились какими-то мокро-рыхлыми, словно рыбы без чешуи. Те, кто сходил с ума, бросались в море с башен. Вода поглощала их, за ними головой вниз ныряли акулы, а в тюремный журнал заносили «убыл» и не ставили числа.

Число ставили, когда мертвец объявлял голодовку перед посещением какой-нибудь шишки. В прочее время мертвецы исправно ели, что было на руку начальнику тюрьмы.

Особого назначения у тюрьмы не было. Их просто забыли и порой присылали к ним тех, кто не умещался в других тюрьмах. Дело случая... Иногда тут чистили дышащие на ладан пушки, и одних это отвлекало, а других сердило. Бессмысленная работа хуже безделья. Бронзу оттирали тряпками и салом, пока львы и орлы не начинали сверкать, как на старинных монетах.

На одной доске раскаленным гвоздем процарапали странную надпись: «Про женщин говорить воспрещается». Доска почти истлела, высохла от солнца и соли, осыпалась пеплом. Когда же написали эти слова? По слухам, кто-то воплотил свою волю в буквах очень давно, на пиратском корабле, который плавал по всему свету. В лучшие времена здесь, в замке, карали смертью за нарушение этой заповеди. Когда же солдаты сменились тюремщиками, не только говорить, но и думать о женщинах стало просто невыносимо, словно ворон тебе глаза выклевывал. Доска висела в одном из самых дальних уголков, где пахло мочой.

- Счастье твое, кум, что ты тут не жил, когда за эту надпись строго спрашивали.

- А что бы мне сделали? - любопытствовал Гойо Йик.

- Да ничего: камушек на шею, и в воду.

- Я вот что скажу, кум...

- Говори, кум, только не про женщин...

- Если кто мать вспоминал, ему ничего не бывало, это и у них разрешалось - мать превыше всего.

- Нет, кум, бывало, потому и мать божью запрещалось поминать. Ловко это они, мудро... Про матушку свою поговоришь - и вконец ослабнешь. Опасно

вспоминать о счастливых днях. Был ты солдат, стал младенец...

Навстречу им вышел тюремщик, похожий лицом на погнутый ключ. Он указал рукой на чистое небо и на душную бескрайнюю синеву океана.

- Небо ясное, может, другой остров увидим. Он большой. Игропа называется.

Кумовья и тюремщик взобрались на башню и увидели черную точку на морской глади. Это возвращался из замка на землю сеньор Ничо Акино. Лодочник и бывший письмоноша перебрасывались словечком-другим. Звали лодочника Хулиансито Кой, но сам он выговаривал «Хулиансико». Ходил он голым, в одной

набедренной повязке. Знал он много и мало, читал еле-еле, лодкой правил на славу. Об этом и говорил ему Ничо Акино, а он скалил рыбыи зубы, греб и приговаривал: «Акулы тут, а там, на земле, - ящерицы. Мы для них - еда, так и норовят сожрать». Они взобрались по лесенке на пристань, где стояла малая таможня, и каждый направился к себе, сеньор Ничо - с пакетами, корзинами и пустыми ящиками, Хулиансито - с веслом на плече. Теперь им не было дела друг до друга.

- Эй, кум, вон остров Игропа... - сказал Револорио, подталкивая локтем Гойо Йика.

- И верно, кум! Как ты только

увидел?...

Подслеповатый и усатый тюремщик сощурился, вглядываясь в даль, не увидел ничего, спустился вниз и поведал, что, если то была не Куба, они хорошо видели самый остров Игропу.

Гойо Йику (и куму, конечно!) оставалось досидеть пять месяцев, когда, плетя на заказ шляпу, он ясно услышал, как у ворот выкликают его имя. Привезли новую партию, узники сходили по трапу с паровой лодки под охраной солдат со знаменем и трубами, а начальник тюрьмы принимал их, вызывая каждого по списку.

- Гойо Йик, - пропел начальник

тюрьмы.

Кум Двуутробец положил шляпу и пошел посмотреть, не родич ли какой прибыл. Как-никак, и фамилия, та же, и самое имя...

Гойо Йиком звался высокий черный паренек с живым лицом, ясным взором и важной повадкой.

Двуутробец спросил его:

- Ты Гойо Йик? А паренек ответил:

- Да. Вам что-нибудь нужно?

- Нет, я так. Услышал имя и фамилию, пошел поглядеть. Не устали с дороги? Вас как, пешком вели? И нас пешком. Ничего, тут отдохнете, будто покойнички на кладбище.

Как только Двуутробец увидел новенького, он понял, кто это. Глаза его налились слезами, горло сдавило, он качал и качал седой головой, стоя рядом с парнем. Горечь поднялась из самой утробы, но была в ней и сладкая капля надежды: сын скажет ему, где Мария Текун.

Он пошел рассказать все это куму Паскуалю и попросил его помолиться Двенадцати Эммануилам. Молитву эту мало кто знал, а укрепляет она и вразумляет на диво, только ты обратишься к первому Эммануилу, святому Харлампию.

Кум Паскуаль сказал Гойо Йику, что Гойо Йик Двуутробец - его отец.

Еще там, у ворот, пареньку показалось, что среди чужого, враждебного мира он увидел что-то свое, но не мог понять, в чем тут дело. Теперь же, когда понял, он лег с ним рядом спать, и спал как следует, первую ночь спал хорошо под защитой родного отца. Он сам не заметил, как перестал бояться, и мирно смежил веки.

Зато Двухтрубец, спрашивая о матери, боялся сильно - ему было страшно, что все его мысли о ней лопнут как воздушный шарик. Сын ответил ему, что сперва она увела их в горы, полагая, что отец будет искать их на побережье.

- В горы... - сказал Двухтрубец. -

А куда это?...

- Туда, повыше. Мы там жили шесть лет. Матушка работала в большой усадьбе. Ей дали домик, и выросли мы в тех краях.

- Отца другого завели?...

- Да нет, куда там! И нас много, и матушка наша очень страшная.

«Страшная», - повторил про себя Дзуутробец Гойо Йик и чуть не сказал: «Как же это? Она была красивая!», но вспомнил, что никогда не видел ее, просто все говорили, что она красива.

- Потом мы вернулись в Писигуилито, отца искали, значит вас, и не нашли. Мы думали, вы ушли, а то и печалились, что умерли.

Тогда матушка вышла замуж. Нам сказали, что вы искали ее и свалились в пропасть, потому что не видели ничего.

- За кого она вышла?

- Да за одного... Про него ходил слух, что он в сговоре с чертом. Так оно и было, наверное. Странные дела у нас творились: какие-то люди приходили на матушку взглянуть, а он их не гнал и не звал, ничего. Они хотели узнать, хорошая ли она, доброго ли нрава, следили за ней.

- Хорошая, какая же еще! - воскликнул Двуутробец.

- Потом мы один за одним стали сбегать из дому, только Домиансито, самый младший, остался при ней и

рассказал нам, что в матушку влюбился сам черт и сделал ее красивой, чистенькой, молоденькой, прямо картинка. А муж ее черта избил, придет - избитый уходит. Мертвым боем бил, и черт ничего не мог поделать, у них был уговор: если матушка кого не любит, отчим наш может его бить, а тот его не может. Матушка черта терпеть не могла, вот отчим и колотил, а сатана его не трогал.

- А за что тебя посадили?

- За гордость... Заставляли нас работать без денег... Что на свете творится, нету правды...

Двуутробец Гойо Йик рассказал сыну, как он прожил жизнь, тщетно

разыскивая их по деревням и дорогам. Сперва - про лечение, как Чигуичон Кулеб्रो вылечил ему глаза. Потом - про короб. Наконец про дурацкую затею с водкой и про тюрьму. Он, когда искал их, боялся, как бы они не пошли к морю - там водится червяк, от которого люди слепнут. Но слава богу, матушка ихняя - женщина умная. Себе жизнь загубила, а детей подняла.

Гойо Йик рассказал отцу, что матушка у них боевая, посмелей иного мужчины, прямо воин, и хотела его выкрасть из замка. Но теперь, когда он знает, какие тут волны, сколько акул и прочей дряни, он просил передать ей, что не надо.

Ночью в море опасно.

- Приедет она тебя навестить...

- Ясное дело, белья мне привезет - переодеться не во что.

- Ты ей и скажи, сынок, пускай сама посмотрит, какое тут опасное море, какие страшные скалы, какой наш замок проклятый.

- Вы с ней повидаетесь...
Двуутробец неуверенно махнул рукой.

- Там посмотрим... Не завтра она приедет, время есть. Лишь бы приехала.

Занавес черных туч отделил от них землю. Темную его ткань сотрясали раскаты грома, а молнии золотыми шипами впивались в море.

- В такие дни, сынок, и акулами не утетишься.

Ветер ревел. Ливень лил. Волны высотой с церковь вздымались и рушились. Остров и замок на нем отделялись от земли.

- Не дай бог, отец, оторвет нас и угонит в море...

- И причалим мы к острову Игропе. Только тогда ты матушку не увидишь.

- Значит, еще один остров есть?

- Тут тюремщик говорил, мы его зовем Португалец. А я так думаю, ничего за морем нет. Мы в горах росли, нелегко нам море представить, оно как зверь.

В плохую погоду страдало и

производство шляп. Когда солнце не светит, пальцы не двигаются, словно их сплели в косу, а пальмовое волокно совсем сырое, трудно его плести.

- Долго тут сидишь, - сказал Двухтробец, меняя тему, - и скрючит тебя ревматизма. Руки не слушаются. Нам, старикам, и боль в радость.

Буря бушевала на берегу и на море. Даже в самых дальних уголках замка на скале, защищенных толстыми старыми стенами, где за века окаменела известь, что-то хрустело, как будто и хрупкое и крепкое. Стало почти совсем темно. Голоса стражников, солдат и заключенных заглушали порой

беспомощный вопль, раздававшийся в самом сердце бури. И солдаты и узники глядели на разбитое бурей судно, мечущееся по волнам.

Подойти к нему не удалось. О нем ничего не знали. Заключенные сжались от страха, почти исчезли под натиском разбушевавшихся стихий. Волны ударяли топорами, а в глубине - ломом, сотрясая море, и белая пена боевым петухом взлетала до мрачных тихих башен.

Оба Гойо Йика всю ночь не смыкали глаз и в сырой темноте Думали об одном. Разбилось судно. Они не спешили поведать друг Другу свои страхи и предчувствия, но среди ночи больше не смогли молчать, тем

более что оба не спали. Слова вырвались как лай, когда собака сама пугается, что лает. Нет, это не она, не может такого быть. Сперва она привезет белье сыну, потом потолкуем, как его выкрасть.

- Разве что этот, который с чертом... - едва выговаривал Двуутробец.

- Да нет, отец, - не сразу отвечал Гойо-сын. - Вроде бы черт его отпустил...

- Как, ты сказал, его звали? Не все имена держатся в голове...

- Бенито Рамос его зовут...

- А черт его, значит, бросил?

- Да, освободил...

Они закутались потеплее,

поговорили еще и уснули. Двухтрубец нет-нет да протягивал руку, чтобы потрогать сына, а тот от этого лучше спал. Старая кровь и кровь молодая, а все одна. Ствол и ветка, бревно и щепка в бурю.

На берегу, в отеле «Кинг», сетки от москитов промокли и просолились, как рыболовные сети. Хозяйка глядела на Ничо Акино, а Ничо Акино что-то чувствовал, но ответить ей не смел. Он боялся, что, если его подозрения отольются в слова, уже ничего нельзя будет сделать, нельзя будет разрушить то, что обретет плоть.

Гонимый хозяйкиным взглядом, он все так же молча поднялся на

верхний этаж. Винтовая лестница скрипела под его ногами. Сжимая липкие от соли перильца, он прошел шага два и толкнул дверь. В номере никого не было. Никого. Никого. Только шлепанцы, фетровая шляпа (сеньор Ничо вперил в нее взор и прикинул, что она достанется ему по праву родства, которым связаны слуга и хозяин), подсвечник с оплившей свечой, несколько спичек.

Хозяйка ни о чем не спросила его, но он сказал сам:

- Нету...

- Вот видишь... - Хозяйка стояла к нему спиной, у бара, когда он вошел в зал. - Так я и знала... затянула его буря... - Она закинула

голову, потом обернулась с пустой стопкой в руке. - Вот видишь... вот видишь...

- Он что, в опасности?

- Теперь уже нет...

Хозяйка поскорей налила себе коньяку и снова хлопнула стопку.

- Значит, и горевать нечего.

- Если он в море, с ним уже ничего не будет, а если на берегу - тоже не будет. Богу угодно, чтобы он ушел в горы, где золото есть.

Весть о том, что у портового замка разбился корабль, дошла до отеля «Кинг» через несколько дней, когда буря унеслась в Карибское море. Хозяйка выпила бутылку коньяка. Ничо Акино эту бутылку

открыл и отнес к ней в комнату. Хозяйка лежала в постели голая до пояса, словно престарелая сирена. И, входя и выходя, Ничо Акино пожелал ей доброго здоровья. Она не ответила. По-видимому, она сошла с ума - даже не замечала, что лежит с голой грудью при чужом человеке. Более того, она без зазрения совести почесывала эту жалкую, сочащуюся морской водой грудь. Слуга поставил на ночной столик бутылку и чистый стакан. Повсюду валялись окурки постояльцевых сигар, от них несло надушенным калом. Хозяйка не видела сеньора Ничо или притворилась, что не видит. Из облака дыма она еле-еле пошевелила

желтыми от табака пальцами, попросила другую сигарету. Выйдя за дверь, сеньор Ничо прислушался, но услышал только, как булькает коньяк у хозяйки в горле. Потом она встала и кинулась к двери, за ним. Он отпрыгнул, она его изловила у перил галерейки. И сейчас все так же она не видела его. Она истошно вопила, ругалась, обзывала бога дурными словами. У сеньора Ничо волосы встали дыбом. Море вздымало волны, словно уши, и уносило крики в глубь мира, где и таился бог.

На следующий день в отеле «Кинг» творилось черт те что. Буря ушла. На берегу валялись тысячи рыбешек. Древесные стволы,

облепленные илом, торчали, как искалеченные ноги, или плясали на воде корнями кверху, словно обутые утопленники.

- Боюсь я... - сказал сеньор Ничо хозяйке, засунувшей в лифчик все, что болталось вчера наружу.

- Чего тут бояться, лей в кокосы...

- А чем я их заткну?

- Черным воском замажешь. Так я и разбогатела - на кокосах нажилась. Дни стояли холодные, в тюрьме* что хочешь дадут за кокос. Ты прямо трус какой-то, не мужчина! ... Без риска не проживешь... - И хозяйка подумала о корабле, разбившемся о скалы, о своем

постояльце... - А еще женщину ищешь, которая в колодец свалилась! ... Трусу ничего не найти... Богатые оттого и богаты, что не боятся красть у других, комбинировать, торговать. Да что хочешь! Когда у человека много денег, он непременно кого-нибудь да обдурил...

- Если кокос будет как настоящий, кто же станет из него пить?... Нет, только вам в голову придет после бури торговать кокосами!

- А ты подмажь начальнику руку. Возьми сто песо, будешь входить, сунь ему незаметно. Ну а потом кричи: «Кокосы! Кокосы!...» Они там знают... Увидишь, как

обрадуются, и поймешь, что ты и дельце обделал, и добро сотворил.

Все вышло на славу. Каждый купил по кокосу. Вместо молока внутри были водка или ром. Ромовые шли дороже. После бури и тело и душа томились, их без питья не уймешь.

Паскуаль Револорио купил кокос с ромом и понес его к Гойо Йику угостить кума, но заметил при этом, что даром пить не даст, как и тогда, с бутылью, за которую они так поплатились. Оба изобразили, что пьют и отсчитывают деньги. Двуутробец рассказал сыну, как все было. «...Продали мы по шесть монет чашек двести, не больше, что-

то у нас пролилось, но и так, шесть раз по двести, это не меньше тысячи двухсот; а когда нас взяли, разбудили, у нас не было ничего, только шесть песо...»

Гойо Йик оторопело на них глядел - что за дьявольские козни! Они поставили опыт. Стали по глотку продавать ром. Йик-отец заплатил Паскуалью одну монету. Паскуаль спросил глоток и заплатил монету, ту же самую. Каждый купил по три глотка, и кокос опустел. Казалось бы, должно накопиться шесть песо, а накопился один, с которого начали. Колдовство какое-то!... Пили, платили, товар прикончили, а суммы нужной не

набрали и дохода нет.

Солнце расплавленным свинцом струилось на портовый замок. Мелкие зверьки, задыхаясь от зноя, выползали подышать на песчаные насыпи, поросшие серой, как паутина, травой. Заключенные ловили их, швыряли рыбам и хохотали, глядя, как мыши и ящерики падают в чистую сине-зеленую воду, прозрачную до той глубины, где фарфором отсвечивает мрак и живут холодные медузы.

Солдатам запрещалось тратить пули, и они не стреляли в акул, хотя у них руки чесались нажать курок и - если ты меток - поразить одну из великолепных тропических хищниц.

Тут просто роем кишела заманчивая дичь с радужными плавниками и двойным рядом острых зубов. Среди заключенных было два или три негра, и они иногда устраивали «бой акул» без ножа, без ничего, просто голые. Перед прыжком туда, вниз, на арену моря, они издавали запах сухой горчицы, как тореро перед боем быков. Это запах смерти, он от страха бывает, объясняли тюремщики. На одной из башен становился лучший стрелок с маузером, чтобы стрелять в акулу, если что, хотя, если верить слуху, очень давно одна акула кинулась на негра под прикрытием пены и хапнула его, словно кот. Зрелище

бывало - лучше некуда, зрители в воду падали от восторга, и никто не замечал, никто не смеялся - не до них, все глядели как прикованные на смертельную игру. Каких только поз не принимал человек, дразня своего врага или уворачиваясь от рыбы, окутанной негустым мраком моря. Акула упрямо кидалась на ракету в человеческом образе, сплошь покрытую пузырями, и не могла ее изловить. Темное рыбье туловище, сдавленное водой, двигалось как-то тупо по сравнению с лакированным черным телом, так и сверкавшим перед зачарованными зрителями. В напряженной тишине было слышно, как капает пот узников в жидкое

зеркало прибрежной воды и как разрезают водную толщу негр и акула, скользившие так близко друг от друга, что казалось - вот-вот они столкнутся, но ты и подумать об этом не успевал, снова сверкали на темном, как черное дерево, лице белые зубы, то ли смеясь, то ли стуча от страха, а униженная, но непобежденная рыба кидалась вглубь, прочерчивая пенную спираль, и становилась боком, покачиваясь среди звенящих колец воды.

После «боя акул» офицеры, солдаты и узники с трудом возвращались к будничной жизни. Нервы у них вконец развинчивались - одних чуть удар не хватал, у других

дергалась рука или глаз.

Тяжелые морские птицы, с трудом махая крыльями, неспешно спускались с небес, касались воды и взлетали снова, а летающие рыбы кусками бильярдного стола прыгали им вслед.

- Отец... - сказал Гойо Йик, подходя к отцу светлым и ясным днем, - вон матушка пришла...

- Не дай господь, не скажи ей, что я тут!

- Я сказал...

- Ой, что ты наделал! Не хотел я, чтобы она знала... А она тебе что ответила?

- Ничего. Заплакала.

- А что я зрячий, ты не говорил?

- Нет, не говорил.

- Тогда я глаза прикрою, а ты меня води...

- Она думает, вы слепой...

Мария Текун была все так же веснушчата, а в жидких рыжих косах белели седые пряди. Она припала к воротам, чтобы вытереть слезы и высморкаться по-старушечьи громко. Ноги у нее под юбками дрожали, пока слепой отец и сын-поводырь шли к ней.

Неуверенно, как слепой, Двуутробец подошел к ней поближе, чуть не наткнулся на нее, чуть не толкнул. Она отодвинула его немного, взяла за руку и стала пристально на него глядеть, хотя

крупные дрожащие слезы ей мешали.

- Как живешь? - спросила она, и голос ее пресекся.

- А ты как?...

- За что ты тут сидишь?

- За контрабанду. Мы с кумом купили бутылъ водки, хотели ее на празднике продать, а бумагу потеряли.

- Вон как... А нам - верно, сынок? - нам сказали, ты умер. Давно ты тут?

- Хватает...

- Сколько же?

- Два года. Мне три дали...

- Господи!

- А ты как живешь, Мария Текун?... Замуж опять пошла...

- Да, тебе Гойо сказал. Все думали, ты умер, и выдали вот меня. Мальчикам отец нужен. Женщине с ними не справиться. Мужчину к мужчине тянет... Слава богу, все хорошо вышло. С ними он хороший был. Бросила я тебя...

Гойо Йик дернулся от боли, и глаза у него приоткрылись. Она могла бы заметить, что они другие, чистые, если бы не думала о своем.

- Разреши, я тебе все скажу. Хорошо, так вышло, мы при сыне нашем говорим. Я не потому тебя бросила, что разлюбила. Если бы я осталась, было бы у нас еще десять сыновей - и тебе хуже, и мне, и им самим... Что бы они делали, если бы

я умерла? Ты незрячий...

- Ас тем мужем у вас детей нет?

- Нет. Его, дурного человека, колдуны заколдовали. Мне один прорицатель сказал. Они где-то там индейцев много убили, и проклинали его колдуны, иссушили ему семя.

- Если б я прозрел, ты бы меня любила?

- Может, и любила бы... Да ты бы меня не любил, страшная я, некрасивая. Ты сына спроси. Правда, сыновьям мать всегда хороша.

- Матушка, - перебил ее смеясь Гойо-сын, - ты же все заметила...

- Верно, я сразу поняла, только притворялась, что не знаю. Ты, отец, хотел меня обнять, когда ко мне

подошел...

Двуутробец поднял веки. И у него и у нее задрожали глаза, прежде чем слиться, встретиться, обменяться светом взгляда.

- Как хорошо, что ты зрячий... - сказала Мария Текун, сминая в кулаке платочек.

- Да, вижу вот... а прозрел я из-за тебя, хотел тебя увидеть, искал... Где я тебя только не искал!... Думал, по голосу узнаю - я же тебя не видел, - и стал ходить с коробом, всюду побывал, женские голоса слушал...

- Ты бы узнал мой голос?

- Да нет, наверное...

- Меняется он. Вот хоть я тебя слушаю, а кажется мне, что ты не так

разговаривал...

- И ты не так говорила, Мария Текун...

Двуутробец подозвал кума Паскуалья, и тот подошел познакомиться.

- Иди сюда, кум...

- Мы с ним бутыль крестили! - весело объяснил Паскуаль. - Вы не думайте, сеньора, больше у него детей не было...

- Значит, и я вам кума...

- А то как же! Кумушка...

- Раз мы крестили большую бутыль, - вмешался Двуутробец, лопаясь от радости, - она тебе не кума, а кумища.

- Что ж, тогда и ты мне

кумище...

Спускался вечер. Менялся цвет моря, менялся цвет неба, алели облака, тихо и важно входили в закат стройные пальмы. Горизонт сразу стал темно-лиловым, и на нем иногда появлялись точки кораблей. Бутылочно-зеленые воды углублялись в себя, и от этого еще таинственней казался миг сомнения, предшествующий темноте.

Уже обо всем поговорили и обо всем помолчали. Сына решили не выкрадывать - слишком опасно.

Когда старая женщина прощалась с сыном, челюсть у нее дрожала, а губы дергались. Мария Текун не хотела плакать, чтобы не

огорчить своих мужчин. Часто мигая, она сморкалась трясущейся рукой. Тряслось все - и веснушки, и перекошенный горем рот, и веревки кос, и пустые груди. Мария Текун уткнулась сыну в плечо. «Вернусь. Хорошо, есть что продать. Шесть свиней привезла. Заколем их завтра, и вернусь». Сказала она все это или подумала?

Подошел Ничо Акино с хозяйкиными часами в руке напомнить гостье, что пора им на берег. Они вошли в лодку, он - с грузом свертков, она - с грузом печалей, и лодочник поднял весло. С земли дышало зноем, но легкий прохладный ветер прорезал духоту.

Волны мягко плескались в тихой и теплой бухте, окруженной черными пальмами, словно большая лужа золотистого скипидара.

Ничо Акино спросил молчаливую спутницу, которая казалась неприветливой, хотя кроткие слезы высыхали на ее щеках:

- Почем свиней продадите?

- Не знаю... Если маис тут не очень дорог, возьму побольше... Вообще-то нынешний год свиньи в цене. Там, у нас, хорошо платили.

Лодочник Хулиансито греб и греб. Волосы его словно карабкались по голове, в глазах голодного Христа-младенца отражались огни, зажигающиеся на темном берегу.

Ничо Акино не выдержал и неловко спросил о том, о чем думал с тех пор, как сели в лодку. Он кое-что знал, до него донеслись обрывки беседы, которую вели там, в замке, Революрио и оба Йика.

- Значит, вы и есть та самая Мария Текун?

Ему было трудно это выговорить, но она не рассердилась.

- Скажите, - ответила она вопросом на вопрос, - а почему я «та самая»?

- Ну, камень... вершина... текуны... - растерянно забормотал тот, кто был акатанским письмоношей, а стал никем. Хозяйка не может без него обойтись, он с ней

спит, а все же с тех пор, как он не носит почту, он - никто.

- И вы вот про камень знаете... да, это я. Камень - там, я - тут...

Сеньор Ничо плыл по морю рядом с Марией Текун, человек человеком, и в то же самое время шел койотом по ее вершине вместе с Лекарем - Оленем Семи Полей. Два зверя с короткой жесткой шерсткой двигались сквозь густой туман по губчатой земле. Они недавно покинули сверкающие пещеры, мертвые кремни, где видели непобедимых, и теперь беседовали, чтобы Лекарь-Олень не растворился в нежно-белой мгле горной вершины, подобной смерти, а Койот-

Письмоноша - в синей и теплой мгле моря, где он плыл, как человек. Если бы они замолчали, Лекарь-Олень растворился бы в тумане, а Койот-Письмоноша стал бы просто человеком, весь вошел в тело, сидящее в лодке рядом с Марией Текун.

Лодка покачивалась, и это располагало к учтивости. Приближалась вонючая, смрадная пристань, в маслянистой воде плавал мусор.

Мария Текун сказала, что она не Текун, а Сакатон, и сеньор Ничо, который в одно и то же время плыл человеком с ней в лодке и шел койотом по ее вершине с Лекарем-

Оленем, провыл тому в ухо: «Она не Текун, она - Сакатон, она из Са-ка-то-нов!...»

Лекарь - Олень Семи Полей, который шел с ним рядом сквозь прославленную белую мглу текунъей вершины, приблизил оленью мордочку к покрытому колючей шерстью уху. Белая пена пузырилась под его черной губой.

- Далеко тебе до провидца, койотий ты койот! Много еще тебе пройти, много увидеть и узнать! Ешь жареных перепелов, жуй белый копаль и слушай допьяна медовый голос птиц, летающих над зеленью деревьев, подобной зелени горы. Провидцем ты станешь тогда, когда

не будет никого, кроме тебя и солнца. Мария Текун, сидящая рядом с тобой, не Текун и не Сакатон. Потому она и жива. Если бы она была из Сакатонов, ей бы в младенчестве отрубили голову, когда я, Лекарь-Олень, велел устами Калистро Текуна перебить весь их род, чтобы выгнать сверчка из брюха больной. Сакатонов порубили за то, что они - дети и внуки аптекаря, который, зная, что делает, приготовил и продал яд. Если бы не он, непобедимый Гаспар бился бы с теми, кто сеет маис на продажу. Можно ли обрюхатить женщину, чтобы торговать мясом детей, собственной плотью и кровью? Так и маис нельзя

сеять ради выгоды, он - для себя, для еды, для семьи, а не для наживы. Тех, кто сеет его, чтобы выйти в богачи, преследует беда. Одежда их рвется в лохмотья, как листья под ветром ненастья, руки их темнеют, как рачьи клешни, которые могут стать белыми лишь в священных пещерах.

- Если она не Мария Текун и не Мария Сакатон, что же это за камень, Олень Семи Полей?

Сеньор Ничо услышал, что слова эти заглушает плеск волн, но голос Лекаря вернул его на вершину. Лекарь сказал, что в камне скрыта душа Марии - Дождевой Воды.

- Мария - Дождевая Вода стоит здесь до будущих времен! Лекарь

раскинул руки, коснулся камня и посмотрел на скрытый в нем человеческий облик, прежде чем в человеческом облике уйти навсегда в тишину.

- Мария - Вшивая Краса кинулась от смерти, как вода с обрыва, в ту ночь, когда люди Гаспара Илома пировали последний пир. За спиной у нее сидел сын непобедимого, и она застыла, где была, между небом, землей и бездной. Мария-Вода прольется дождем. Вшивая Краса - это дождь. Тело ее - воздух, волосы ее льются ливнем, за спиной у нее - дитя, сын Гаспара Илома, человек Илома, сын маиса, иломский маис. И до

грядущих времен она простоит на вершине, между небом, землей и бездной.

ЭПИЛОГ

Маяки сходили с ума от комариных укусов, комары и москиты - от света маяков. У сеньора Ничо Акино свернуло лицо на сторону, словно каблук на поношенной туфле. Что поделаешь, годы... И одиночество давит свинцом. Подкова морщин кое-как удерживала его челюсть, но она вырывалась и висела им назло. Мухи залетали ему в рот, он их выплевывал

живыми. Хозяйка умерла от малярии, а перед тем почернела, как скорпион. Когда она причесывалась в последний раз, у нее выпали все волосы. Сеньору Ничо остался отель «Кинг» с шестнадцатью тысячами крыс. Двуутробец Гойо Йик и Мария Текун вернулись в Писигуилито. У нее умер второй муж, ненастоящий. Настоящий муж - один, все остальные - ненастоящие. Бенито Рамос, заключивший договор с чертом, умер от грыжи, и они вернулись домой. Они снова вбили в землю бревна и построили дом побольше, потому что сыновья переженились, нарожали детей и приехали к ним жить. И мужчине

хорошо, и женщине, когда детей много. После жатвы, чтобы таскать маис, и старики, и дети, и мужья, и жены оборачивались муравьями. Муравьи, муравьи, муравьи, одни муравьи...